

Павел Басинский

Страсти по Максиму

Документальный роман о Максиме Горьком



Сканирование, вычитка: Chernov Sergey (chernov@orel.ru), Орел, сентябрь 2007 г.
Основано на издании: Павел Басинский *Страсти по Максиму*; М., «Роман-Газета» № 1, 2007 г.

Девять дней после смерти

Булычов. Стой! Как по-твоему — умру я?

Глафира. Не может этого быть.

Булычов. Почему?

Глафира. Не верю.

*Булычов. Не веришь? Нет, брат, дело мое —
плохо! Очень плохо, я знаю!*

Глафира. Не верю.

Булычов. Упряма.

Горький. «Егор Булычов и другие»

Официальная дата смерти М.Горького (Алексея Максимовича Пешкова): 18 июня 1936 года.

«Пешков-Горький Алексей Максимович. Умер 18/VI—36 г.»

Так написано синим карандашом, наискось, на истории болезни Горького. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным, фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни:

«18.VI.1936. 11 час утра. Глубокое коматозное состояние; бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось.

Клопочущее дыхание.

Пульс очень мал, но считывается, в данный момент — 120. Конечности теплые.

11 час.5 мин. Пульс падает, считался с трудом. Коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.

11 час.10 мин. Пульс стал быстро исчезать. В 11 час.10 мин. — пульс не прощупывается. Дыхание остановилось.

Конечности еще теплые.

Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания».

«Заключение к протоколу вскрытия А.М.Горького:

Смерть А.М.Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доли легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца.

Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких — бронхоэкстазы (расширение бронхов), склероз, эмфизема, — а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей.

Эти хронические изменения легких, плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции.

Вскрытие в присутствии всех семи лиц, подписавших заключение о смерти А.М.Горького (крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые, а именно: нарком здравоохранения Каминский, начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Сперанский и доктор медицинских наук Левин. — *П.Б.*), произвел профессор И.В.Давидовский».

По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие проводили прямо в спальне Горького, на столе. Врачи ужасно торопились.

«Когда он умер, — вспоминал секретарь и поверенный Горького П.П.Крючков, — отношение к нему со стороны докторов переменялось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие...» Когда Крючков вошел в спальню, то увидел «распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи». «Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро...»

Это ведро, предназначенное для Института мозга, секретарь Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было «неприятно».

Неоднозначное отношение горьковского секретаря (вскоре осужденного и казненного за будто бы убийство Горького и сына его Максима Пешкова) к обычным манипуляциям медиков показывает, что вокруг умиравшего Горького бушевали какие-то темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной и в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь содрогание от ужаса перед тем, во что способны превратить политические интриганы самый главный после рождения момент жизни человеческой — умирание, уход из земного бытия. Но правды ради надо сказать, что Горький сам запутал себя в этих интригах, сам позволил чужим, враждебным его писательской, артистической природе силам вмешаться не только в его жизнь, но и в смерть. Трагедия Горького во многом была подготовлена им самим. Нам остается лишь изумляться мужеству человека, который не испугался стать центральной личностью своей эпохи, не спрятался от ее противоречий и умер все-таки достойно, как настоящий мужчина и великий русский человек, «застегнутый на все пуговицы», бесстрашно ожидая смерть и глядя на все происходившее вокруг него даже с некоторой иронией.

«Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?»

Олимпиада Черткова была не просто медсестрой. Она любила Горького, считала себя любимой

(«Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой», — по ее воспоминаниям, будто бы шутил он¹) и утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булычова в пьесе «Егор Булычов и другие». Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека. «Чтобы я пошла посмотреть, как его будут потрошить?» — вспоминала она.

Этот крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине, который несколько минут назад был еще жив, и вот теперь его, беспомощного, пластают хладнокровные анатомы, невозможно сымитировать. Эти слова трогают и сегодня. Тем более что записывались воспоминания Олимпиады Дмитриевны (Липы, Липочки, как ее называли в семье Горького) А.Н.Тихоновым в той же самой спальне и на том же самом столе в бывшей казенной даче писателя в Горках-10.

Правда, записывались спустя девять лет после кончины Горького. Порой самые банальные чувства трогают живее самых драматических страстей. И спустя девять лет воспоминания Липы дышат жалостью земной женщины. Уже немолодой — когда Горький умирал, ей самой было за пятьдесят. Она говорит о смерти не всемирно известного писателя, основоположника социалистического реализма, но несчастного, измученного предсмертными страданиями человека.

Того самого, который воспел Человека как бога, как Титана.

Олимпиада что говорит?

«А.М. любил иногда поворчать, особенно утром:

— Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный...»

В последние дни своей бурной, путаной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее «Липка — хорошая погода» и утверждал, что «стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце».

В ночь, когда умирал Горький, в Горках-10 разразилась страшная гроза. И об этом тоже «Липка — хорошая погода» вспомнила спустя девять лет так, словно это произошло вчера. Пожалуй, только из ее воспоминаний можно *прочувствовать* предсмертное состояние Горького. Чем-то они похожи, как это ни покажется странным, на записки доктора Даля, находившегося при умиравшем Пушкине в последние часы его жизни.

Раненный в живот, Пушкин физически страдал ужасно. «П[ушкин]... взял меня за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого», — отвечал я. «Даль, скажи же мне правду, скоро я умру?» «Мы за тебя надеемся, Пушкин, — сказал я, — право, надеемся». Он пожал мне крепко руку и сказал: «Ну, спасибо!» <...> «Скоро ли конец? — И прибавлял еще: — Пожалуйста, поскорее!» <...> Когда тоска и боль его одолевали, он крепился усиленно и на слова мои: «Терпеть надо, любезный друг, делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче», — отвечал отрывисто: "Нет, не надо стонать; жена услышит..."»

О.Д.Черткова: «За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Матерится и матерится. Вслух. Я — ни жива ни мертва. Думаю: "Господи, только бы другие не услышали!"»

«Однажды я сказала А.М.: «Сделайте мне одолжение, и я вам тоже сделаю приятное». «А что ты мне сделаешь приятное, чертовка?» — «Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, два яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек (внучек, Марфу и Дарью. — П.Б.)». Доктора девочек к нему не пускали, чтоб его не волновать, но я решила — все равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о бабушке».

Внучек привели. Он с ними «хорошо поговорил», простился. Волнующая сцена. Особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма.

Сам виноват?

Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал. Задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его,

¹ Первая гражданская жена писателя Ольга Юльевна Каменская, как и Олимпиада Черткова, окончила акушерские курсы.

разумеется, предупредили. Тем не менее — своенравный старик! — «к ним тайком прорвался». На следующий день поехали в Горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким, а в Москве шумно, пыльно. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло.

«У машины задержался, — вспоминает комендант дома на Малой Никитской И.М.Кошенков, — с трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело, после большой паузы протяжно сказал:

— Все печёт».

Тем не менее — на Новодевичье! Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать:

— После посмотрим.

— Черт с вами, поедемте!

Вечером И.М.Котенкову позвонили из Горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких при температуре 38 градусов...

Чудо воскрешения

В воспоминаниях секретаря Крюčkова есть странная запись: «Умер А.М. — 8-го». Но Горький умер 18 июня!

Вспоминает Екатерина Павловна Пешкова: «8/VI 6 часов вечера. Состояние А.М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен и их дальнейшее вмешательство бесполезно». И — дальше: «Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли».

Пешкова: «А.М. — в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыханье слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движенья руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то...»

«Мы» — самые близкие Горькому члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького по прозвищу Тимоша), Липа Черткова, Петр Крючков (прозвище — Пе-пекрю) и Иван Ракицкий (прозвище — Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции). Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает. Будберг: «Руки и уши его почернели. Умирал. И умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании». Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» — на нее посмотрели с неодобрением. «Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать» (из воспоминаний самой Пешковой).

Две главные женщины в жизни Горького (третья — его бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева — отсутствует), Пешкова и Будберг, в наговоренных воспоминаниях как бы не могут «поделиться» покойного. Будберг утверждает, что Горький простился в первую очередь с ней. «Он обнял М.И.² и сказал: «Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это? «Удалось», — ответила М.И. «Ну и хорошо!» А Пешкова говорит, что это ее вопрос: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» — который не понравился всем — вернул умиравшего к жизни. «После продолжительной паузы А.М. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас, и с трудом, глухо, но раздельно, каким-то странно чужим голосом произнес: "Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться"».

Но вопрос ли «вернул» его? Или укол камфары, который сделала Липа, вспомнив, что подобным образом когда-то спасла Горького в Сорренто? «Я пошла к Левину (врач Горького, потом казненный. — П.Б.) и сказала: «Разрешите мне впрыснуть камфару двадцать кубиков, раз все равно положение безнадежное». Без их разрешения я боялась. Левин посоветовался с врачами, сказал: «Делайте что хотите».

² Говорит о себе в третьем лице, потому что это запись устных воспоминаний, сделанная А.Н.Тихоновым.

Я впрыснула ему камфару. Он открыл глаза и улыбнулся: "Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?"»

Черткова тоже не может «поделить» Горького с другими. Понятно, что ее положение в семье несравнимо с правами законной жены и законной подруги. Не она, а Пешкова — жена. Не ей, а Будберг посвящен «Клим Самгин». Тем не менее Липа пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой А.М. простился «по-мужски», была она. «16-го мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди — послушать — правда ли? Вдруг как он меня обнимет крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил».

Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой, не все, наверное, было так. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфары, поверить придется. Крючков вспоминал, что и доктора сперва думали сделать то же. Но врач Кончаловский сказал: «В таких случаях мы больных не мучаем понапрасну». Он понимал, что ударная доза камфары в принципе способна оживить Горького. Но только на короткое время. Зачем напрасно его мучить?

Медсестра решила иначе.

Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскресшего Елиазара, но только Горький... ожил.

Его вернули с того света. Ему «подарили» еще девять дней бытия.

Потом Екатерина Пешкова назовет это «чудом возврата к жизни»...

Трагический кордебалет

Да простит автора читатель за чрезмерные медицинские подробности, но после первого укола ожившему Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это соглашается.

Пешкова: «Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: «"Не надо, надо кончать"». Крючков вспоминает, что «впрыскивания были болезненны» и что хотя Горький «не жаловался», но иногда просил его «отпустить», «показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты». Будберг: «Он колебался, затем сказал: "Вот здесь нас четверо умных, — поправился, — неглупых людей (М.И.³, Липа, Левин, Крючков). Давайте проголосуем: надо или не надо?"» Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании.

Конечно голосуют «за»!

И вдруг мизансцена меняется. Появляются новые актеры. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они спешат проститься. М.И.Будберг: «Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрим видом».

Где-то за сценой — Генрих Ягода. Ягода прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось. Олимпиада: «В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», — сказал он Крючкову. Генриха он не любил».

Ягода был почти свой в доме писателя. Недаром Липа всеильного руководителя карательных органов, от одной фамилии которого трепетала вся страна, называет панибратски: Генрих. Но при Сталине он тушует. Сталин ведет себя в доме Горького по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пе-пе-крю. В воспоминаниях последнего этот момент не пропущен. «Сталин удивился, что много народу: «Кто за это отвечает?» «Я отвечаю», — сказал П.П. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» — «Знаю». — "Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!"»

А сколько, собственно, было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького — его семья. Плохая или хорошая, но это — его семья. Сталин членом этой семьи не был.

Пешкова: «Через некоторое время (после первого впрыскивания камфары. — П.Б.) Ал.М. поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: "Как

³ Будберг. — П.Б.

хорошо, что всё свои, всё свои люди...»

Это немного напоминает смерть Тургенева в Буживале близ Парижа, в окружении семьи Виардо (своей семьи у Тургенева никогда не было). Тоже — свои. Хорошие, плохие, но — свои. Умиравший Тургенев впал в полузабытье и вдруг вообразил себя простым крестьянином. Напутствовал родственников Виардо по-русски: «Живите мирно! Любите друг друга!» И сказал — последнее: "Прощайте, мои милые, мои белесоватые!"»

Так бы вот Горькому умереть. «Прощайте, мои милые...» Да, может быть, он, как и Егор Булычов, «не на своей улице жил». Но любил-то он многих. И его любили. Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Но не так, как Гоголь, в коляске, с сундучком, а со всей семьей, с врачами. Из Сорренто — в Москву. Из Москвы — в Сорренто. И еще — Горки. И еще — Крым, Тессели. Потом Сталин запер его в СССР. «В Крыму климат не хуже». И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море «смеется» под солнцем, остался вдали навсегда.

Вспоминает писатель Илья Шкапа:

«— Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»

Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым.

Но вот он, последний час. Все-таки свои вокруг. Пешкова, мать двух его детей. Обоих уже нет (младшая, Катя, умерла в младенчестве). Будберг. Он любил ее ревниво. Особенно когда не жила в его доме постоянно, как в Петрограде, в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную «лишнюю» информацию. То есть был как раз одним из тех, кто его «окружил и обложил». И все равно свой, еще с петроградских времен. Липа. Тимоша. Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть...

Зачем ему делали второй «удар» камфары? Ведь просил же не делать.

«Хозяин» едет! И свои становятся только кордебалетом.

Будберг: «В это время вошел, выходящий перед тем, П.П. Крючков и сказал: «Только что звонили по телефону — Сталин спрашивается, можно ли ему и Молотову к вам приехать?» Улыбка промелькнула на лице А.М., он ответил: «Пусть едут, если еще успеют».

Будберг: «Потом вошел А.Д.Сперанский со словами: «Ну вот, А.М., Сталин и Молотов уже выехали, а кажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфары, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними». Позвольте! Только что доктора сказали жене, что «дальнейшее вмешательство бесполезно». Только что, посоветовавшись — и Сперанский не мог оставаться в стороне, — они согласились «не мучить больного понапрасну».

«Уже я настаиваю»...

После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит совсем по-другому. Не разыгрывали ли Старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с их коллективными голосованиями, выносящими то оправдательные, то смертные приговоры своим «товарищам»?

Старик — прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо: Дука. «Старик» — одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на главного персонажа повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького двадцатых годов — «Отшельник», где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще, образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами в себе не понимают, начиная с Луки в «На дне», сопровождал Горькому всю жизнь. Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую превращали его смерть? Разумеется, это лишь версия.

Дело врачей

Крючков: «Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы».

Доктора виноваты?

Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-«большевиков», предпочитая

швейцарских профессоров⁴, то Сталин вообще их не любил как факт. Во-первых, он решительно не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством: ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики (самая неприятная сторона профессии) каждому человеку с возрастом сообщают о его здоровье все менее и менее утешительные вещи. Вот за это Сталин особенно их ненавидел.

Почему из докторов, которые лечили Горького, пострадали Л.Г.Левин, Д.Д.Плетнев и А.И.Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда (не путать с В.Н.Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина)? Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, «под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением» которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Г.Ф.Ланга, как и затем расстрелянного Л.Г.Левина, стоит в газете «Правда» от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг «непрерывно и тщательно», как утверждает газета «Правда», наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как Л.Г.Левин безжалостно «убивал» писателя «неправильным лечением», в чем Левин признался на суде. Почему он молчал все время?

Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945-м стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году был посмертно удостоен Государственной премии. Конечно, это не в осуждение говорится действительно крупному научному работнику.

Почему не арестовали А.Д.Сперанского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)? Ему Горький особенно доверял, он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, вспоминает П.П.Крючков, вспыльчивый Сперанский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде (входивший тогда в моду метод лечения воспалительных процессов), которую Сперанский тайно собирался сделать Горькому, и даже выписал для этого специальные шприцы.

На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое «злоумышленники» — Левин, Плетнев и Виноградов — не позволили применить к больному сыну Горького Максиму, тем самым, по приказу Ягоды, будто бы ускорив его смерть.

Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, но просто внимательного к фактам, могут возникнуть вопросы. Ведь речь идет о том самом Сперанском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в «Правде» историю его болезни, где писал, что «двенадцать ночей ему пришлось быть при Горьком *неотлучно* (курсив мой. — П.Б.)». Значит, он неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно «убивают» Левин и Плетнев? В том числе вводя больному чрезмерные дозы камфары.

Процитируем протокол судебного заседания.

«**Вышинский.** Уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького.

Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая: применять ряд средств, которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились: камфара, кофеин, кардиозол, дигален. Эти средства для группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфары».

Сперанский дожил до 1961 года, в 1939-м стал академиком, в 1943-м — лауреатом Государственной премии.

Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик

⁴ В известном письме Горькому из Кракова в начале ноября 1913 года Ленин пишет: «Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! <...> Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелких случаев) надо *только* у первоклассных знаменитостей. <...> Знаете, если поедете зимой, *во всяком случае* заезжайте к первоклассным врачам в *Швейцарии* и *Вене...*».

Е.И.Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключение вскрытия. «В принципе, — пишет он, — можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания А.М.Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу».

Не будем забывать и о том, что Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма в последние годы сопровождался пневмонией. При этом он до конца жизни выкуривал по несколько десятков папирос в сутки.

Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина Надежды Аллилуевой от аппендицита (на самом деле застрелилась).

Левин лечил родственников Сталина, маячил перед его глазами и одним этим раздражал. Плетнев был строптивым человеком и вдобавок личным врагом ректора МГУ А.Я.Вышинского, обвинителя на процессе 1938 года. Вот одни из причин для их ареста.

Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Боялись! Торопились убедиться в верности диагноза, лечения.

Тем не менее загадочная фраза Крючкова («Если бы не лечили... может быть, и выздоровел бы»), а также та поспешность, с которой делали вскрытие врачи, наводит на нехитрую мысль. Да, в самом деле — не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды и не по желанию Сталина. Из-за чрезмерного энтузиазма. Из-за той чудовищной нервозности, которая творилась в Горках-10 в последние дни жизни писателя. Из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций (17 врачей, и все лучшие, все «светила»). Из-за понятного страха ошибиться или «недолечить» государственно важного пациента, за которого голову снимут.

О страхе советских врачей перед властью пишет в своем «Московском дневнике» Ромен Роллан, летом 1935 года посетивший СССР и гостивший у Горького. В Москве и подмосковных Горках занедужившего Роллана наблюдали доктора Левин и Плетнев, лечившие Горького. «До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи, я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне: "К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении. Это позволяет мне высказаться в том же смысле"».

Ну и все доктора прекрасно понимали...
Сталин не любил врачей.

«Надумали болеть!»

Вспоминает Пешкова:

«Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, А.М. уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваяву — и сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать...»

«Хозяин» беспокоится:

— О деле поговорим, когда поправитесь.

Горький переживает:

— Ведь сколько работы!

«Хозяин» строго шутит:

— Вот видите... а вы... Работы много, а вы надумали болеть, поправляйтесь скорее.

Наконец — последний аккорд.

— А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику.

«Принесли вино... Все выпили... Ворошилов поцеловал Ал.М. руку или в плечо. Ал.М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками. Когда они вышли, А.М. сказал: "Какие хорошие ребята! Сколько в них силы..."»

Насколько можно доверять этим слишком уж бодрым воспоминаниям Пешковой? Надо учесть, что в 1939 году она выправила свой устный рассказ, записанный летом 1936-го с ее слов в Барвихе сразу после

чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936-го, 37-го и 38-го годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького внедрен в народное сознание в качестве «жертвы» этой оппозиции и «друга» вождя.

В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького Пешкова отвечала уже иначе: «Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом».

Ее можно понять. Можно понять Будберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, до того, как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, что она скажет, и ее отъездом существует прямая связь. Будберг утверждает, что в течение дарованных девяти дней жизни Горький постоянно думал о «сталинской» Конституции, проект которой был опубликован в эти дни. «Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку, в надежде прочитать «после». Говорил: "Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверно, камни от радости кричат"».

Через девять лет Липа Черткова резонно возразит: «Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела...»

Но в воспоминаниях Будберг проскальзывают и жесткие замечания: «Приехавшие (Сталин, Молотов и Ворошилов. — П.Б.) с деланой бодростью (курсив мой. — П.Б.) заговорили о текущих делах». Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в два часа ночи. Но зачем?! Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина «не пустили». Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг, а вот доктор Левин (впоследствии расстрелянный) «лебезил и говорил Сталину: «Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь» (что попытается? разбудить больного? — П.Б.)».

Визит Сталина с членами Политбюро в два часа ночи к смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным коллективным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может, в этот раз, 10 июня ночью, они решили изменить маршрут и заехать к Старику? Вино в доме есть. Подали же им шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького. Почему бы еще раз не выпить шампанского с умирающим?

Согласно воспоминаниям Крюčkова, третий — и последний — визит Сталина состоялся 12-го. Горький не спал. Однако врачи, как ни трепетали они перед «Хозяином», дали на разговор только десять минут. О чем они говорили? О книге Шторма про восстание Болотникова. Затем перешли к «положению французского крестьянства» (воспоминания Будберг). Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света Горького были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне.

Будберг утверждает, что 12 июня Горькому было плохо. То же подтверждается врачебными хрониками: «...значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. <...> Сидит. Время от времени дремлет. <...> Около 1 ч. дня вырвало свернутым молоком. <...> Дремлет сидя. Отек нижних конечностей»...

Однако после посещения Сталина, как вспоминает Будберг, Горькому стало лучше. И доктора это подтверждают: «Сознание ясное <...> Пульс правильный».

Создается поразительное впечатление, будто приезды Сталина волшебным образом оживляли Горького. (Если на минуту забыть об ударных инъекциях камфары.) Горький словно не смеет умереть в присутствии Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом пять дней спустя, после кончины писателя: «Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и 12-го». Именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней.

Семнадцать врачей бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его... мудрая беседа со Сталиным о женщинах-писательницах и французских пейзажах. Выходит, главный его врач — Сталин.

«Надумали болеть!»

«Максимушка» и «товарищи»

Что-то здесь настораживает. Как бы ни был Сталин грубоват в отношении ближайшего окружения, как бы ни любил посиделки за полночь, но тот кордебалет, который он организовал вокруг умиравшего Горького, либо вовсе выходит за рамки здравого смысла, либо требует какого-то иного истолкования.

«Были у Вас в два часа ночи. Пульс у Вас, говорят, отличный (82, больше, меньше). Нам запретили эскулапы зайти к Вам. Пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет. И.Сталин».

Эскулап в римской мифологии — бог врачевания. Соответствует греческому Асклепию. В переносном, ироническом смысле — врач, медик. Кстати, Асклепий в греческой мифологии воскрешал мертвых.

Да, «Хозяин» умел быть ироничным.

Что же все-таки происходило?

Горький до конца не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть (и даже считать) его своим соратником, бывшим товарищем по партии. Он мог называть (и даже считать) его своим другом. Но — не частью окружения. Положение Горького в СССР и в мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел без необходимости «вламываться» к нему ночью в дом, прекрасно зная о его состоянии.

Впрочем, Ромен Роллан в «Московском дневнике» с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья в Горках-10: «Кто тут секретарь, Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?»

Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме «Девушка и Смерть», начертанной во время визита Сталина осенью 1931 года. Вот ее точный текст: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть). 11/X—31 г.». Иванов: «Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валялись дурака...»

Вообще-то «валять дурака» было нормой как раз в семье Горького. Там ценились острые шутки. Особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи. Как и Бухарин, который (что с не меньшим изумлением замечает Роллан) во время завтрака в Горках летом 35-го «в шутку» «обменивается с Горьким тумачами (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)». И дальше: «Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал».

Горький никогда не был *вполне* человеком партийного круга. Его культурный и нравственный авторитет был совсем иным. Поэтому он мог свободно общаться с пушкинистом Ю.Г.Оксманом, физиологом И.П.Павловым, востоковедом С.Ф.Ольденбургом, писателем Вяч.Ивановым.

Сталин (человек очень умный) не мог этого не понимать.

Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. Ему, Сталину, это было зачем-то нужно. И 8-го, и 10-го, и 12-го ему был необходим или откровенный разговор с Горьким, или стальная уверенность, что такой же разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном.

Отношение Сталина к чудесному воскрешению Горького не совсем понятно. Ясно, что он смущен. И страшно недоволен, что вокруг Горького, по его мнению, слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным. Кому же еще, как не главе НКВД, сторожить последнее дыхание (и последние слова!) государственно важного человека? С которым (это уже не секрет) у вождя с некоторого времени возникли разногласия. Который дружит с его противниками — Рыковым, Бухариным, Каменевым. К которому даже старый враг Горького Григорий Зиновьев обращается за помощью из тюрьмы, зная, что в обычае Горького прощать своих врагов и помогать им в безнадежных ситуациях.

«Алексей Максимович!

Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь

писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, — убийство С.М.Кирова, того Кирова, о котором Вы так прекрасно сказали, что «убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим и — страшным для врагов» (цитата из статьи Горького «Литературные забавы», опубликованной в газете «Правда» 24-января 1935года. — П.Б). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по Вашему выражению, «идиотским и подлым преступлением». А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове «Киров» мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). <...>

Два дня суда⁵ были для меня настоящей казнью. До чего дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. Страшно это берedit. <...>

Вы — великий художник. Вы — знаток человеческой души, Вы — учитель жизни, Вы знаете и хотите знать всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. <...>

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше — на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам.

Если позволите, жму Вашу руку.

Г. Зиновьев

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ, и сегодня же меня, как мне сказано, увозят... Куда — еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!»

Ни письмо Зиновьева, ни письмо Каменева с такой же просьбой о помощи, посланные из тюрьмы, не были переданы Горькому. Это были гласы вопиющих в пустыне, «увы, не безлюдной», как любил говорить Горький.

Обратим внимание, что Зиновьев отделяет Горького от непосредственного окружения Сталина. В глазах Зиновьева Горький — последняя сила, не только не подчиненная «Хозяину», но способная сама повлиять на него. Оставим историкам революции и большевизма разбираться в стилистических, психологических и, разумеется, политических тонкостях письма Зиновьева. Понятно, что оно написано эзоповым языком, с недвусмысленными намеками, по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Ясно, что Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький (например, во время дружеского застолья) передаст «Хозяину» лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко.

Но сравним это письмо с посланием бежавшего после революции из Петрограда в Сергиев Посад писателя-философа В.В.Розанова. Розанов погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917-го обратился за помощью к Горькому. «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза... и я, глупый... Максимушка,

⁵ В январе 1935 года в Ленинграде состоялось заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР по делу так называемого «Московского центра» — всего 19 человек, обвинявшихся в убийстве СМ. Кирова. Зиновьева, как главного организатора, осудили на 10 лет тюремного заключения. Лев Каменев получил 5 лет, но вскоре после суда по так называемому «Кремлевскому делу» ему добавили еще 10. В августе 1936-го Каменев и Зиновьев были в последний раз осуждены за участие в так называемом «Троцкистско-зиновьевском «Объединенном центре» и казнены.

родной, как быть? <...> Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну...»

Жертвы и палачи революции на краю могилы — как они похожи друг на друга! Как новорожденные дети, которых только родные матери способны различить. И как это всё разительно противоречило горьковской мечте о гордом Человеке! Вот они, «человеки», умоляют его, «Максимушку», который еще чем-то может помочь. А чем «Максимушка» может им помочь? Он сам бессилен.

Впрочем, в 1918 году он помог Розанову. Передал через М.О.Гершензона 4000 рублей, позволившие семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917—1918 годов.

Но спасло ли бы Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет, не спасло. Обречен был не только Зиновьев. Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если б не грипп, не пекло, не майский ветер... И не смерть сына Максима...

«Погубили, плохо»

«Председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях».

Крючкова обвиняли в том, что он вместе с Левиным по заданию Ягоды «вредительскими методами лечения» «умертил» сына Горького Максима. Но зачем? Если верить показаниям других подсудимых, политический расчет был у «заказчиков» — Бухарина, Рыкова, Зиновьева и остальных «оппозиционеров», которые таким вот иезуитским способом стремились ускорить смерть самого Горького и тем самым выполнить задание их «главаря» Троцкого. У Крючкова, если опять-таки верить его признаниям (а верить им практически нельзя), были «экономические» задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником всего огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и Е.П.Пешкову, невестку Тимошу и внучек Марфу и Дарью. Этого вполне естественного вопроса А.Я.Вышинский, который допрашивал Крючкова, подсудимому не задал.

«Крючков. Он (Ягода. — П.Б.) тогда говорил мне так: дело тут не в Максиме Пешкове, — необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает «большим людям» — Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота, эту активность нужно уменьшить.

«Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы», — сказал он».

С одной стороны, налицо самооговор. Крючков говорит как по писаному. Причем писанному плохим литератором. С другой стороны, если на время принять правила игры, заданные на этом суде, возникает впечатление, что между этой «плохой» литературой и реальной жизнью имеется прямая связь. И эта связь является самой жуткой в этом деле.

Проблема в том, что Горький относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, знавший Горького с давних пор, не мог этого не учитывать.

Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти. В том числе и к судьбам близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил (внешне) со странным хладнокровием.

Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твенем, давал интервью журналистам, собирал деньги для московского восстания и писал «Мать». Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Е.П.Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери, но и оставленной жены, которую Горький бросил ради актрисы Московского Художественного театра М.Ф.Андреевой. Она и была с ним в американской поездке как его

гражданская жена. Всякий мужчина (если он не циник) растерялся бы в этой ситуации. Только не Горький.

«Я прошу тебя — следи за сыном, — пишет он Пешковой. — Прошу не только как отец, но — как человек. В повести, которую я теперь пишу, — «Мать» — героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера <...> говорит:

— В мире идут дети... к новому солнцу, идут дети к новой жизни... Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди, идут в мире — не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы».

Но ведь это как раз Горький «бросил кровь свою вне заботы». И потом — каким образом и за что обречена на страдание пятилетняя девочка? «За все люди?» Вот пропасть, отделявшая Горького от Достоевского с его слезинкой ребенка, не оправданной «светлым» будущим.

Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с довольно злой и обидной иронией писал Маяковский, вспомнив (возможно, присочинив⁶) в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы «Облако в штанах».

Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького — «Страсти-мордасти». В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом, с которой сын живет в подвале. Покидая эту семью, автор от имени своего героя говорит: «Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь».

Ну и почему бы не зареветь?

Рассказ автобиографичен. Эту семейку Алексей Пешков встретил, когда ему был двадцать один год и он разносил в Нижнем Новгороде «баварский квас». Очень может быть, что в реальности он и заплакал, наблюдая сцены нежности пьяной больной проститутки к своему сыну-калеке, слушая ее страшенькую колыбельную:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Сердце автора (и героя) разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но здесь именно важно, что слезы *нужно* сдерживать! Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми. Тем более умершими. Даже если это твои дети.

22 мая 1934 года, через одиннадцать дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

Согласно разрешению Вашему посылаю Вам письма изобретателей Пospelова и Львова. Пospelов утверждает, что устрашающий шум — треск пулеметов, крики ура, топот конницы и т.д. — можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно — с техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов — конструктор аэроплана «Сталь-2», имеет орден Ленина. Болен: туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу Вас предложить Сергею Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем, он человек высокой ценности.

Будьте здоровы».

А.Д.Сперанский вспоминает: «В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын — Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливый, искренний, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний

⁶ В письме И.А.Груздеву, написанном после самоубийства Маяковского, Горький вспоминал, что это как раз Маяковский рыдал от избытка чувств, когда гостил у Горького в Финляндии в 1915 году.

день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы — о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института <ВИЭМ>. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготавливалась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через 2 часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: «Это уже не тема». Также Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность».

В воспоминаниях Сперанского (кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года, то есть до суда над «убийцами» Горького и Максима) бросается в глаза фраза: «мне было трудно говорить, *так как я знал, какая трагедия подготавливалась наверху* (курсив мой. — П.Б.)». Если это не случайный неуклюжий оборот речи, можно предположить, что Сперанский в самом деле намекает либо на сознательное умерщвление Максима «вредительскими методами лечения», либо на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького, которые находились с Максимом «наверху», пока Горький со Сперанским скрепя сердце обсуждали проблемы ВИЭМ (Всесоюзного института экспериментальной медицины), проблемы долголетия, а может быть, и бессмертия человека. Но почему Сперанский не спешил «наверх», где умирал Макс?

«Крючков: Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил — нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Сперанского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Сперанский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Сперанского. <...>

Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Сперанского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11-е число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Сперанского, но сам Сперанский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать».

Таким образом, всё более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Сперанский и сочувствующий ему (но не желающий возражать Левину и Плетневу) Горький, понимая, что «дело кончено» и Максим обречен, ведут беседу о том, что, по убеждению Горького, важнее смерти сына. О жизни и долголетию человека. Когда «старшие товарищи» (так не без иронии называет Сперанский врачей: Левин старше его на восемнадцать лет, Плетнев — на шестнадцать) приходят выразить свое сочувствие, Сперанскому остается развести руками. А Горькому с хладнокровием сказать: «Это уже не тема».

Но все это не доказывает убийства Максима врачами и Крючковым, а только свидетельствует о разногласиях среди врачей.

Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преображения действительности, в том числе и ставшей прошлым, то есть своеобразная мифологизация жизни и истории в творчестве, был излюбленным методом Горького. В 1938 году на «бухаринском» процессе этот метод применили на живых людях, принудив их стать творцами собственных мифологизированных биографий — убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои «злодеяния» прилюдно.

Все, что мешало этой мифологизации, на суде не принималось в расчет. Так, Сперанский, который был бесценным свидетелем реальной смерти Максима, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так всё на себя взяли.

Это был суд, основанный на одном-единственном доказательстве — признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены... Отделить правду от самооговора в показаниях Крючкова трудно. Гибель Максима (якобы заказанная Г.Г.Ягодой), наоборот, могла помешать «заговорщикам», возбудив в Горьком ненависть к «врагам» и крепче привязав его к Сталину. Отчасти так и произошло.

Именно Сталину пишет Горький, едва похоронив сына, и в этом письме делает покойного Максима вроде как живым помощником в их со Сталиным общем деле — развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта по сварочной технике только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция: «Сделано. В мой арх[ив]. И. Ст[алин].», подчеркнутая рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет. Значит, не легли «под сукно», а были, по крайней мере, переданы кому надо. Вот «живой» итог смерти сына.

Есть несколько свидетельств того, как внутренне тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г.А.Пеширов (кстати, приглашенный на работу именно Максимом, который лично устраивал жизнь отца на даче в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: «Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, своими руками расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. — П.Б.), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что А.М. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег».

В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького комендант дома на Малой Никитской И.М.Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все же подозревал Ягоду с Крючковым в убийстве Максима Пешкова. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили малька окуня.

«— Где же рыба — мальки?

Я объяснил, что всё погибло.

— Погубили, плохо. — С этими словами он ушел в столовую пить кофе».

Впрочем, здесь же Кошенков объясняет и причину гибели мальков: рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть.

Потерянность Горького видна даже из таких, вроде бы незначительных деталей, как дважды повторенные слова «посылаю Вам» в цитированном письме к Сталину, а также в ошибке в подписи под следующим письмом к вождю: «М.Пешков». Свои письма к Сталину он подписывал либо «А.Пешков», либо «М.Горький», а в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое! «М.Пешков» (Максим Пешков) как бы пишет Сталину рукой отца через тринадцать дней после своей смерти. Есть отчего вздрогнуть!

И все-таки — убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. И едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами.

«В том, что Макса убили, сомневаться не приходится», — пишет Вячеслав Иванов. Эта его уверенность происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому, его семье и тем людям, которые семью контролировали. Так, Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца, писателя Всеволода Иванова, с самим Сталиным, Дзержинским и Ягодой. Но откуда эта уверенность?

Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения и потому не может жить свободно. Будучи сам, еще со времен ЧК, тесно связан с органами, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустроить и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. «Мы частная семья», — настаивал он.

В то же время Максим многих раздражал своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу же поехал к Сталину с извинениями.

Но все-таки главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал контролировать Горького через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был причастен к антисталинской оппозиции и ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к С.М.Кирову. Это было во время напряженной внутривнутрипартийной борьбы на XVII съезде

партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах.

«В день убийства Кирова, — пишет Вячеслав Иванов, — Горький был на даче в Тессели. Утром он вышел в столовую, где была одна В.М.Ходасевич (художница и племянница поэта Владислава Ходасевича, в семье Горького ее звали Купчихой. — П.Б.). Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут».

Максим мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то признания Крючкова на суде могли быть полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды «спаивал» Максима.

Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить не по слухам, а по косвенным свидетельствам. Например, покинув из-за разногласий с Лениным осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет своей жене и матери Максима Е.П.Пешковой: «Многоуважаемая мамаша! Приехав, после различных приключений на суше и на воде, в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидел на вокзале самое интересное для Вас существо — Вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно, а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдамменштрассе — по-русски: Фридриховых дам».

За внешней иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине и о встрече с сыном, легко не заметить важные слова, которых, очевидно, ждала от него Пешкова. Вот они: «В опровержение тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую: М.А.Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромен и даже более чем скромен. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела».

Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький выполняет настоятельную просьбу обеспокоенной Пешковой, до которой дошли слухи о пьянстве Максима за границей.

В данном случае не столь важно, пил ли недавно женившийся Максим в Германии. Важно, что проблема существовала.

У Горького, который довольно часто пил с гостями, такой проблемы не было. Ромен Роллан описывает пир, который устроили для него, а также для Сталина, Молотова, Ворошилова и Кагановича на даче Горького в Горках-10: «Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба — соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане — и все в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплывается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих — даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, — не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача».

Напомним, что Горькому остается год до смерти. Но его «пьянство» никого не волнует. «Я должен добавить, — продолжает Ромен Роллан, — что в обычное время Горький всегда трезв и ест на удивление мало, даже слишком, но доктора Левина это не беспокоит: у Горького вне сомнений конституция человека, лучше приспособляющегося к недостатку, чем к избытку». Иными словами, Горький даже в старости был способен перепить Сталина и такого любителя спиртного, как Ворошилов, но при этом не был алкоголиком.

С Максимом было сложнее... В своих воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький как будто невзначай приводит слова Андреева, сказанные ему: «Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик...»

Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких, —

такая комбинация была убийственной для него. Смерть Максима могла произойти и без непосредственного участия в «заговоре» врачей. Но если Сталин «заказал» Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков в данном случае мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не «большим людям» Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим, но самому-самому «большому человеку» — Сталину.

При этом, как показывают недавно обнародованные факты («Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности». — Казань, 1997), проблема состояла в том, что именно Генрих Ягода и был одной из главных фигур «правой оппозиции», а вовсе не исполнителем чужой воли. Об этом намекал уже Вячеслав Иванов в статье «Почему Сталин убил Горького?»: «Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и то же время связан давними политическими разговорами с «Ивановичами» (Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. — П.Б.). Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винули в его убийстве, говорить было нельзя».

Помощник Ягоды П.П.Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года (материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности) рассказал, что Ягода, в случае победы «оппозиции», видел себя в кресле премьер-министра: «Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так, о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благодурова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не назвал, на пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. Секретарем ЦК, говорил он, будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. <...> Бухарин, говорил он, будет у меня не хуже Геббельса».

Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в поистине гордиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела.

Самая непонятная фигура здесь — Крючков. Он — «крайний». Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького — тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы:

31 октября 1924 года — из Сорренто:

«Теперь, по тону письма вижу, что Вы на «посту» (в советском торгпредстве в Германии. — П.Б.) и что роль «Дизеля» продолжает увлекать Вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, Вы написали хорошо. Не хочу говорить Вам комплименты, — уже говорил, и очень искренне говорил, а все-таки скажу: настоящую человечью жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело, люди эти — редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот Вы один из таких художников и влюбленных. Да».

23 декабря 1926 года — из Сорренто:

«...желаю найти в России работу по душе и встретить людей, которые оценили бы Вашу энергию так высоко, как я ее ценю и как она того заслуживает. И чтобы Вы нашли товарищей, которые полюбили бы Вас, как я люблю».

Крепко жму руку, дорогой друг мой».

4 февраля 1927 года — из Сорренто:

«...когда я буду богат, я поставлю Вам огромный бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю Вас».

На плечах Крюčkова — невысказанный груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька для Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому разных людей. Особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Именно он кладет на стол Горького не все приходящие к нему письма. Если бы он отдавал все, Горький читал бы письма «трудящихся», а также «обиженных» с утра до ночи. А еще ему надо

было следить, чтобы Горький меньше курил и меньше «излишествовал». В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина и слушаться их указаний. Шутки и угрозы «Хозяина» («Кто здесь секретарь? Горький или Крючков?», «Кто за это отвечает?», «Вы знаете, что мы можем с вами сделать?») крутятся в его голове постоянно.

Чуткий к психологическим деталям Ромен Роллан глубоко понял жизненную драму Крючкова, которая затем переросла в трагедию. В своем «Московском дневнике» он отмечает, что Крючков любил Горького и понимал безнадежность его положения.

Вот 9 июля 1935 года в Горки приезжают девяносто (!) писателей Москвы. Список огромен. Но он был бы еще больше, если бы Крючков с Ягодой не сократили его. Отлученные от высокой встречи, естественно, ненавидят Крючкова. И пишут на него доносы. Не на Ягodu же!

«Оберегая больного А.М.Горького от натиска посетителей, — пишет побочная дочь Крючкова Айна Петровна Погожева, — его секретарь стоял между ним и армией молодых, напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль «фильтра», принимал «удар» на себя и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отольется...» — говорил он обреченно. В самом деле, и по сей день авторы статей о последних годах жизни Горького называют Крючкова «тайным агентом НКВД» и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ-ФСБ ни личного дела, ни удостоверения «агента» Крючкова никто не видел. Зато историк Шенталинский обнаружил следы «дела Крючкова», которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка».

«Личность несомненно загадочная, — пишет о Крючкове в статье с нравственно точным названием «Memento mori» Л.Н.Смирнова, — но не потому, что загадочность была свойством его натуры, а потому, что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького, — о нем даже нет сведений в четырехтомной «Летописи жизни и творчества А.М.Горького», вышедшей в 1958—1960 годах. Он был вычеркнут из жизни».

О Крючкове вспомнили только в конце 80-х годов, когда его посмертно реабилитировали. То есть де-юре признали его полную невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе. Но как вспомнили? «Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес, — пишет А. П. Погожева. — <...> На вопрос: какими документами располагают эти авторы? — они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного».

И — последнее слово о судьбе Крючкова. В связи с «делом Горького», сфабрикованным на процессе, пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог фамилии Крючковых. «12 марта 1938 года расстрелян П.П.Крючков (отец секретаря Горького), всю жизнь верой и правдой служивший своему Отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков (секретарь Горького). В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича, Маргарита Петровна».

Memento mori...

Не судите и не судимы будете.

Даже если Крючков был косвенно виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли. Или даже нескольких волей. В каких бы разногласиях в связи с надзором за Горьким ни находился он с Максимом, скорая смерть Горького никак не могла отвечать его жизненным планам. В качестве секретаря Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обыкновенного чиновника...

Версий о том, с кем именно пил Максим 2 мая 1934 года и кто именно «забыл» его в парке, существует несколько. В тот день в Горках-10, конечно, было много народу в связи с праздником. И пили с Максимом и Горьким все.

На процессе Крючков заявил, что он напоил Макса и оставил спать на открытом воздухе. Но в недавно опубликованных воспоминаниях близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой есть другая версия этой истории.

«Максим прожил на этой земле всего тридцать шесть лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непроницаемой после правотроцкистского процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех восьми лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в Горках не было, но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина (секретарь Оргкомитета Союза советских писателей. — П.Б.). — Любви Федоровны Юдиной, с которой я дружила.

В майский праздник 1934 года на даче у Горького в Горках собралось, как всегда, много гостей... Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве-реке. Дом стоял на высоком берегу, для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон — беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он «моржевал», купался в проруби, что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был. Да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх, к гостям.

В это время из Москвы приехал П.П.Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил: «А где Макс?» Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали все, что было возможно, но спасти его не удалось. Ведь тогда не было пенициллина...»

Кому верить? По этой версии, Крючков не только не убивал, но, напротив, пытался спасти Максима. И если это правда, то самооговор на суде был для него вдвойне мучительным.

Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства Максима Пешкова. Документов такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями к героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос: кто был главным в той истории? Горький!

Трагедия Горького

Именно он был эпицентром трагических событий, которые разворачивались в семье и вокруг нее. Именно за его слово и дело сражались различные воли, интересы и честолюбия, стараясь перетянуть смертельно больного, но «застегнутого на все пуговицы» писателя на свою сторону. В этой драке не могло быть примирения, и когда Горький это понял, то «застегнулся» до упора. Однако спасти людей, так или иначе втянутых им в эпицентр своей невероятно энергичной деятельности, он уже не мог.

Горький — в «золотой клетке». Он мечется, но чаще старается убедить себя и других, что все в порядке. Л.А.Спиридонова в книге «Горький: новый взгляд» (М.: ИМЛИ РАН, 2004) приводит документ, обойти который, как это ни грустно, нельзя. Секретный лист хозяйственных расходов 2-го отделения АХУ НКВД: «По линии Горки-10. По данному объекту обслуживалось три точки: дом отдыха Горки-10, Мал.Никитская, дом в Крыму «Тессели». Каждый год в этих домах производились большие ремонты, тратилось много денег на благоустройство парков и посадку цветов, был большой штат обслуживающего персонала, менялась и добавлялась мебель и посуда. Что касается снабжения продуктами, то все давалось без ограничений.

Примерный расход за 9 месяцев 1936 г. следующий:

а) продовольствие руб. 560 000

б) ремонтные расходы и парковые расходы руб. 210 000

в) содержание штата руб. 180 000

г) разные хоз. расходы руб. 60 000 Итого: руб. 1010 000

Кроме того, в 1936 г. куплена, капитально отремонтирована и обставлена мебелью дача в деревне Жуковка № 75 для Надежды Алексеевны (невестка Горького. — П.Б.). В общей сложности это стоило 160 000 руб.».

Для справки: рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. Писатель за книгу — 3000 рублей. Годовой бюджет семьи Ильи Груздева, биографа Горького, составлял около 4000 рублей. Семья Горького в 1936 году обходилась государству примерно в 130 000 рублей в месяц.

Горький не мог не понимать своего трагического поражения, явившегося следствием его невысказанно сложной и трудной жизни, великих творческих замыслов и не понятых людьми духовных исканий. В результате оказалось погребенным самое ценное и труднообъяснимое в мировоззрении Горького — идея Человека, разменянная теперь на множество пострадавших и просто загубленных «человеков».

В ночь с 22 на 23 июля 1930 года, находясь в Сорренто, Горький оказался хотя и не в эпицентре, но недалеко от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с предыдущим землетрясением в Мессине, унесшим свыше 30 тысяч жизней. Горький ярко описал эту трагедию в письме к своему биографу Груздеву:

«Вилланова — горный древний городок — рассыпался в мусор, скатился с горы и образовал у подножия ее кучу хлама высотой в 25 метров. Верхние дома падали на нижние, сметая их с горы, и от 4 т<ысяч> жителей осталось около двухсот. Так же в Монте Кальво, Ариано ди Пулья и целом ряде более мелких коммун. Сегодня официальные цифры: уб<ито> 3700, ранено — 14 т<ысяч>, без крова — миллион. Но — это цифры для того, чтобы не создавать паники среди иностранцев <...>. В одной коммуне жители бросились в церковь, а она — обрушилась, когда в нее набилось около 300 ч<еловек>. Все это продолжалось только 47 секунд. Страшна была паника. Ночь, половина второго, душно, необыкновенная тишина, какой не бывает нигде, т.е. — я нигде ее не наблюдал. И вдруг земля тихонько пошевелилась, загудела, встряхнулись деревья, проснулись птицы, из домов по соседству с нами начали выскакивать полуголые крестьяне, зазвонили колокола; колокола здесь мелкие, звук у них сухой, жестяной, истерический; ночной этот звон никогда не забудешь. Воют собаки. На площади Сорренто стоят люди, все — на коленях, над ними — белая статуя Торквато Тассо и неуклюжая, серая — Сант-Антонино, аббата. Людей — тысячи три, все бормочут молитвы, режут дети, плачут женщины, суетятся черные фигуры попов, но — все это не очень шумно, — понимаете? Не очень, ибо все ждут нового удара, все смотрят безумными глазами друг на друга, и каждый хлопок двери делает шум еще тише. Это — момент потрясающий, неопишимо жуткий. Еще и теперь многие боятся спать в домах. Многие сошли с ума. <...> Несчастливая страна, все хуже живется ее народу, и становится он все сумрачнее и злей. А вместе с этим вчера, в день св. Анны, в Сорренто сожгли фейерверк в 16 т<ысяч> лир, хотя в стране объявлен траур».

Это страшное событие произошло за год до переезда Горького в СССР...

Официальная дата смерти М. Горького (Алексея Максимовича Пешкова) — 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии, очень близком к смерти. Девять дней его полубытия (не считая последней ночи, когда он был без сознания) за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа «застегнутого на все пуговицы» Горького была вне досягаемости. О чем думал он? Что вспоминал? Ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ПРОКЛЯТИЕ РОДА КАШИРИНЫХ

— Что, ведьма, народила зверья?!
— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!
— Я сама на всю жизнь сирота!

Горький. «Детство»

«А был ли мальчик?»

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода: «Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мешанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским».

Неужели никто при крещении младенца Алексея — ни восприемники его «Нижегородской губернии г.Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова», ни бабушка Акулина Ивановна и дедушка Василий Васильевич Каширины, ни братья матери Яков и Михаил — не задумался о поистине роковом и нехорошем совпадении: первого ребенка Варвары Кашириной-Пешковой окрестили в церкви Варвары Великомученицы?

Странная это была семья. И крестные у Алеши были странные. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести «Детство», и дедушка его, и бабушка, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми религиозными.

Станным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков, и дед по отцу, Савватий, человек столь крутого «ндрава», что в эпоху Николая Первого («Николая Палковича») из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь «за жестокое обращение с нижними чинами». К сыну своему, Максиму, он относился так, что тот не раз убегал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) матери невесты., Акулины Ивановны Кашириной. Как говорили тогда в народе, женились «самокруткой», Василий Каширин был в ярости. «Детей» он не проклял, но и жить их к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой...

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой Божье проклятие для этой семьи. И как всегда бывает в таких случаях, сначала судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что, впрочем, было едва ли не обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от белодеревцев, изготавливали мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепаховым рогом, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. Они изготавливали стильную мебель.

Кроме того, Максим Савватиевич отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал уважаемым человеком. Перед тем, как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра Второго и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим Савватиевич Пешков успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы.

В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними и весь каширинский род. В июле 1871 года (по некоторым данным, в 1872 году) маленький Алеша заболел холерой и заразил ею отца. Мальчик выздоровел, а отец, возившийся с ним, умер, не дождавшись рождения своего второго сына, названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле... По прибытии Варвары домой к отцу, ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она имела право претендовать. Дед Каширин был вынужден разделить с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных.

Единственным положительным итогом этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время и русская и мировая литература обогатилась новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной травмой, вскоре перетекшей в религиозную трагедию. Вот так началась жизнь Горького.

Научного описания ранних лет его жизни фактически не существует. Да и откуда бы ему взяться? Кому пришло бы в голову подмечать и фиксировать слова и поступки какого-то нижегородского пацана, полусироты, а затем и круглого сироты, рожденного в сомнительном браке в семье какого-то пришлого из Перми мастерового и мещанки, дочери сперва богатого, а затем разорившегося владельца красильной мастерской? Мальчика хотя и необычного, не похожего на остальных, но все же просто мальчика, просто Алеши Пешкова⁷.

Несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова, все же сохранились. Они были опубликованы в книге «Горький и его время», написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы «Серапионовы братья», куда входили М.М.Зоценко, Вс.В.Иванов, В.А.Каверин, Л.Н.Лунц, К. А. Федин, Н.Н.Никитин, Е.Г.Полонская, М.Л.Слонимский. Последний в двадцатые годы решил стать биографом Горького, из Сорренто всячески опекавшего «серапионов». Но потом Слонимский передумал и передал «дело» Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого.

Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые могут считаться научно обоснованными данными о происхождении и детстве Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву в двадцатых — тридцатых годах (по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал ворчливо-иронически, но подробно), а также в главной «автобиографии» Горького — повести «Детство». Некоторые сведения о детстве Горького и людях, которые его окружали в этом возрасте, можно «выудить» из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего времени. Но насколько это достоверно?

Происхождение Горького и его родственников, их (родственников) социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождения и смерти подтверждаются некоторыми метрическими записями, «ревизскими сказками», документами казенных палат и другими бумагами. Однако неслучайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей книги, в приложение. Как будто немножко «спрятал».

В приложении тактичный биограф невзначай проговаривается: да, некоторые из документов «отличаются от материалов "Детства"». «Детство» (повесть) Горького и детство (жизнь) Горького не одно и то же.

Казалось бы, ну и что такого? «Детство», как и две другие части автобиографической трилогии («В людях» и «Мои университеты») — художественные произведения. В них факты, разумеется, творчески преображены. Ведь не считаются «Жизнь Арсеньева» И.А.Бунина, «Лето Господне» И.С.Шмелева или «Юнкера» А.И.Куприна научными биографиями писателей. При чтении их помимо особенностей фантазий автора необходимо учитывать еще и временной контекст, то есть то, *когда* эти вещи были написаны.

«Жизнь Арсеньева», «Лето Господне» и «Юнкера» написаны в эмиграции, когда Россия рисовалась их авторам «подсвеченной» кровавыми сполохами революции, а на разум и чувства неизбежно влияли воспоминания об ужасах гражданской войны. Возвращение в детскую память было спасением от этих кошмаров. Так сказать, своеобразной душевной «терапией».

Повесть «Детство» тоже написана в эмиграции. Но это была другая эмиграция. После поражения первой русской революции (1905—1907 гг), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден был уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после политической

⁷ Существует разногласие: как произносить фамилию Пешков? С ударением на первом или на втором слоге? Чаще произносят с ударением на первом: Пёшков. Но в повестях «Детство» и «В людях» Горький в фамилии Пешков неоднократно ставит ударение на последнем слоге, тем самым указывая, что его и его отца следует именовать Пешкóвыми. В этом есть и определенный символический смысл. Отец и сын в молодости были бродягами.

амнистии, объявленной императором в 1913 году в связи с трехсотлетием царского дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912—1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант.

«Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет Горький, — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо — это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной».

Это не детский взгляд.

«И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолет их».

И это тоже слова и мысли не Алексея, сироты, «божьего человека», а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом «рабскую» природу русского человека, но и надеется на молодость нации и ее будущее.

«Без церковного пенья, без ладана...»

Чтение повестей «Детство», и «В людях» дело хотя необыкновенно трудное, но и увлекательное. В этих повестях заключен шифр ко всей биографии Горького.

Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма и относиться к ним как к реалистическим автобиографиям, то открываются вещи удивительные и...странные. Несомненно, что сам Горький, когда писал «Детство» и «В людях», именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и не всегда отождествлял его с собой.

Кстати, это раздвоение «я» вообще было характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е.П.Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених естественно слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией сквозило и нечто серьезное.

«Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, — пишет он в мае 1896 года, — он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем не похож ли он на людей на самом деле — это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, — а все остальные идиоты и болваны. <...> А главное — его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих, очень крупных недостатков есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому, что мне жалко Пешкова — я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить — ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще — предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, — вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное — он слишком непонятен, вот его несчастье».

Пристальное прочтение этих двух повестей производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю. Он словно говорит: «Черт знает что это за мальчик. Но мне кажется...» Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков.

На исповедь в церковь *крещеный* Алексей Пешков *впервые* попадает будучи подростком, когда работает прислугой в семье подрядчика, родственника своей бабушки. Как такое могло случиться? В семье В.С.Сергеева⁸, согласно «Летописи жизни и творчества А.М.Горького», он оказался примерно в сентябре 1880 года, а сбежал в мае 1881 -го. Следовательно, двенадцати-тринадцатилетний крещеный подросток ничего не знал ни о том, что такое исповедь, ни как совершается обряд причастия?

«Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил

⁸ Мать В.С.Сергеева приходилась сестрой бабушке А. Пешкова.

смотреть издали на иконостас — он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы».

Когда его отправляют исповедаться к отцу Дормидонту, мальчик почему-то страшно напряжен. А когда уходит от священника, то «чувствует себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно». Когда на следующий день его с пятиалтынным для пожертвования отправляют причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще и проигрывает деньги в «бабки». В панике, что в доме Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает «празднично одетого паренька»:

«— Вы причащались?

— Ну, так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я».

Неужели в православной семье Кашириных не знали того, о чем знали в православной семье их ближней родни?

В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька (кстати, он отказался рассказать о процедуре причастия), то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств. Так же, как не знал и того, что образ Богородицы на иконе не целуют в губы. Это Алеша в порыве любви к Богоматери сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Оранского монастыря:

«Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — всё благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке Ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол...»

Четыре факта, связанных с воспоминаниями о живых людях, событиях и впечатлениях (посещение церкви, исповедь, обман с причастием и целование лика Богородицы), как будто говорят о том, что в семье деда с бабкой Алешу вообще никогда не водили в храм.

«Через несколько дней после приезда он (дед. — *П.Б.*) заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома».

Главы-то видны. Но, оказывается, деду и бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвести исповедаться. Во всяком случае, в «Детстве» нет ни слова об этом. Сами-то супруги Каширины и их сыновья с семьями ходили в церковь исправно. «По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь», — пишет Горький. И рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка, подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали тройку архиерея, монахов. Почему Алексея дед не брал с собой?

Когда братья Каширины, Яков и Михаил, согласно повести «Детство», убили Цыганка (случайно или преднамеренно — не совсем понятно), задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабка находились в церкви, куда за ними посылают. В глазах же маленького Алеши православный крест, панихида, которую служат по жене Якова (будто бы замученной Яковым до смерти), дед с бабкой на церковном кладбище, странное поведение дядьев («Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток... Знаю я, — он вам поперек глоток стоял...») — кричит примчавшийся из церкви дедушка) и кровь, текущая изо рта Цыганка, связываются в единый образ.

Но главное, когда семья в храме, на кухне — двое: Иван и Алеша. Первый — подкидыш. Его любят дед и бабка. Но он — не свой. А Алексей? Вроде бы свой. Наполовину Каширин. Тем не менее его положение в доме очень напоминает положение Цыганка. Положение подкидыша.

Заглянем в первую известную автобиографию Горького под несколько вычурным, явно навеянным влиянием поэта Гейне названием — «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Эта автобиография обращена к некоей Адели, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить первую любовь и гражданскую жену Горького — переводчицу О.Ю.Каменскую, ради которой, видимо, писался этот автобиографический очерк в форме письма, при жизни автора не напечатанный.

Горький рассказывает о своем детстве и, между прочим, отмечает: «Очень не любил ходить в церковь с дедом — он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею». И в «Детстве» мельком говорится о том, что дед заставлял Алешу ходить в церковь: в субботу на всенощную и по праздникам на литургию. А про исповедь и причащение нет ни слова.

Значит, дед все-таки водил его в церковь. Но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься? В том же «Изложении...» говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась с Максимовым. (В «Детстве» это объясняется тем, что Алеша повредил себе заступом ногу, копая яму в саду.) По крайней мере, с отчимом перед свадьбой его познакомили, и тот даже поцеловал его и пообещал купить ему ящик красок.

«На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело — и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но покуда я раздумывал, как бы незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

— А где у нас Алексей? — спросила бабушка.

— Набегался и спит где ни то в углу, — хладнокровно отвечала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить...»

Первые церковные воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными (дедушка толкал в шею) и душевными (вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем сели за стол, а про мальчика забыли).

Не сложились у него отношения со школьным священником. Единственным светлым пятном в воспоминаниях о школе был проезд епископа Астраханского и Нижегородского Хрисанфа (В.Н.Ретивцева, 1832 — 1883), известного духовного писателя, автора трехтомного труда «Религия древнего мира в его отношении к христианству» (СПб.: 1872—1878). Хрисанф обладал умным внутренним зрением на людей. Он выделил Алексея из класса, долго расспрашивал его, удивлялся его знаниям в области житий и Псалтыри и, наконец, попросил его не «озорничать». Однако просьбу владыки Алеша не выполнил. Однажды он назвал деду изрезал его любимые святцы, отстригая ножницами головы святым.

Как сказали бы сегодня, это был трудный подросток.

«Сеяли семя в непахану землю»

Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, еще одного сводного брата Алеша. Варвара уже сгорела от чахотки. Алексей ее первенец. Его брат Максим умер сразу после рождения. Другой его брат, Саша, от второго мужа Варвары, «личного дворянина» Евгения Васильевича Максимова, «умер неожиданно, не хворая», едва начал говорить. Был и еще какой-то загадочный ребенок, рожденный Варварой между браками и отданный на воспитание. Вот и братик Коля «незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас», по словам Алеша.

Определенно над родом Кашириных висело проклятие дедушкиного Бога! Все дети красавицы Варвары, кроме нелюбимого Алексея, умирали, угасали, исчезали, будто тени.

Один Алексей жил.

Как будто ей назло.

Иногда появляясь в доме своих родителей, Варвара удивлялась, как Алеша быстро растет. Это говорит о том, что появлялась она не часто.

О каком «семени» шла речь? Почему смерть собственного внука воспринимается дедом Василием Кашириным равнодушно? Словно умер не родной человек, а сдохла больная курица?

«— Вот — родили... жил... ел... ни то ни се...» — бормочет дед о внуке.

Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец «Детства»:

«Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Ляксей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...»

Простору говоря, мальчика выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать и он окончательно стал сиротой.

Больше того. Отказ Алексею от дома Кашириных как раз и вызван кончиной его матери.

Почему?

Потому что со смертью Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах дедушки даже не «пол-Каширина», а чистый Пешков, сын человека без роду и племени, который к тому же увел его дочь.

Ради дочери (она после смерти отца Алеши, ее первого мужа, должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей мешал) дед Каширин еще мог потерпеть маленького Пешкова в своем доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша все больше становился обузой. Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки.

Дед Горького по материнской линии Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в Нижегородской губернии в семье солдата Василия Даниловича Каширина, был крещен в Покровской церкви в Нижнем Новгороде, а в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова.

Эти дальние родственные истоки Горького важны для выяснения подлинного, а не мифологического его социального происхождения. Социальные истоки Горького и по сей день вызывают у несведущих читателей разноречивые мнения. Остались люди, которые верят в миф о Горьком-босяке, трактуя это то в его пользу (бродяга, романтик), то в отрицательном смысле (хам, человек без почвы). Советский миф о «пролетарском писателе Максиме Горьком» породил представление о его «рабочей» и даже «пролетарской» закваске. В двадцатые годы, выступая в собрании эмигрантов, бывший соратник Горького по товариществу «Знание» Иван Бунин попытался развенчать миф о Горьком-босяке. И тотчас же создал новый — о Горьком-мещанине, вышедшем из богатой буржуазной семьи.

Бунин публично «удивлялся», читая свой очерк о Горьком. Вот, мол, открыл словарь Брокгауза и Ефрона, а там... Но, развенчивая действительный миф о Горьком-пролетарии, Бунин почему-то «забывал» о его действительно трудовом раннем детстве. Как будто не были еще написаны повести «Детство» и «В людях». Как будто, общаясь с Горьким в начале века, он не видел перед собой человека, который прошел не только сквозь медные трубы славы, но и сквозь огонь, и воду. Поставив перед собой задачу доказать, что слава Горького несоразмерна с его творческими достижениями, Бунин делал акцент на биографическом «трюке», который якобы проделал Горький. Внук богатого владельца красильной мастерской заставил публику считать себя изгоем и бродягой.

Бунин лукавил. Была в этом и естественная обида человека, который сам происходил хотя и из дворянской, но бедной семьи. Детство свое он провел в деревне, в небольшом имении отца на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии и елецкую гимназию не закончил в связи с неуплатой за учебу.

Отец Бунина крепко пил, проигрывал и без того небогатое состояние в карты, был необуздан в гневе и порой третировал свою жену.

Горький же (здесь Бунин прав) родился в самом деле в благополучной семье. Но беда в том, что семейных благ совсем не досталось на долю мальчика. А самое-то страшное, что едва ли не главной

причиной краха этого материального благополучия был он.

Этого ужаса — стать причиной несчастья родных тебе людей, долгое время из-за малого возраста не понимать этого, но чувствовать себя чужим и нелюбимым, — этого ужаса Бунин, слава богу, не пережил. Он рос в теплой и любовной атмосфере. В семье Буниных никогда не наказывали детей. Однажды папаша в шутку повел детей в сад и приказал им самим срезать розги для наказания... которое на этом и закончилось. Родители и старший брат Юлий всегда гордились талантливым Иваном. Отец не то шутя, не то серьезно говорил: «Иван рожден поэтом, ни на что другое не способен». А если сказал бы он ему: «Ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе». И выгнал бы из дома, как подкидыша?..

Но вернемся к деду Василию Каширину.

На основании документов Илья Груздев сделал вывод, что уже в Балахне Василий Васильевич «приобрел хорошую «оседлость» и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабка Алеши Пешкова Акулина была младше Василия на шесть лет.

Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно людная семья Кашириных зажила не бедно.

В данных «Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год» о Василии Каширине говорится: «Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах».

Купчая от 14 января 1852 года на приобретение Кашириным деревянного дома тоже подтверждает его состоятельность. А в «Списке цеховых служащих по выборам городского общества» сказано: «По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе». Для справки: Дума состояла всего лишь из шести гласных. Одним из них стал Каширин.

Как видим, документы отчасти разнятся в деталях.

Вершиной благополучия каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за три года до рождения Алеши.

Василий Васильевич Каширин был не бедным и уважаемым в Нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым старшиной и даже метил в ремесленные головы (не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия). Поднявшись со дна трудовой (трудовой, а не криминальной) жизни до относительно обеспеченного социального положения, он мечтал поднять род Кашириных еще выше. Сыновья, Яков и Михаил, для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и даже дрались на глазах у отца, так что он был вынужден разделить с ними. А вот красавица дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на мужа-дворянина.

Между тем сам Василий Васильевич когда-то бурлаком исходил всю Волгу. Но врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в водоливы. Водолив — старший рабочий на барке, старшина над бурлаками, наблюдавший за сохранностью груза и исполнявший обязанности «артельщика», то есть заведовавший артельным хозяйством, хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки. А почему «водолив»? Потому что обязан был следить за водотечностью барок и при необходимости еще плотничать.

Умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском нижегородском кладбище.

Неудачными оказались судьбы и почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет отдельный разговор.

Дядя Алеши Михаил был, как писал Горький Илье Груздеву, «тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек». Бабушка называла его «злоокиим». «Эх ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!»

«Глаза у него круглые, птичьи, белки — в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи, — так пьяные идут в драку. Работу не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой, бегал по двору, засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске, и матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: «Господи! Из-зувечила!»

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: «По-азбучному», наполняя это слово различным содержанием, произнося его то с иронией, то пренебрежительно или равнодушно, изредка — одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, — у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: «Отстань, пьяное чудище!» Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: «По-азбучному!» — и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: «Аг-га, по-азбучному!»

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, — ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке, принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

Ничего (или почти ничего) из этих живых и конкретных черт дяди Михаила мы не найдем в прозе Горького. Очевидно, когда писались повести «Детство» и «В людях», они были не важны для него.

Сын Михаила Саша стал босяком и пьяницей, трижды судился за кражи, но при этом, по воспоминаниям Горького в письмах к Груздеву, был романтиком по природе. Горький писал о нем: «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель — страстный — музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: «Зачем ты всё о страшном пишешь?» Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал всё и, являясь ко мне полуголый, говорил: «Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами». Товарищи — закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: «Не могу, — говорит, — жить без Волги». И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. <...> Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии».

Из писем к Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и младший брат Яков был женат на обедневшей дворянке. Это была семейная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род.

Мать второго двоюродного брата Алеши, тоже Саши, жена дяди Якова, умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести «Детство» есть намек на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну: «Помни, что в тебе течет дворянская кровь!» Судя по «Детству», дядя Яков пытался отмолить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище якобы задавил приемыша Ваню Цыганка.

«Якобы» потому, что вся история с убийством Цыганка была придумана Горьким. В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном виде, в отличие от его сына с «голубой кровью» Саши.

«Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же любил его, «души в нем не чаял», смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

— Саша-то, а Бар-рон...

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

— Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?»

Не этот ли Барон, который, по словам Сатина, «хуже всех» в ночлежке, появится в «На дне» в преломленном фантазией писателя виде? Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным

словам («По-азбучному!») Горький использовал для образа Сатина («Сикамбр!», «Органон!»), в чем сам признался в письме к Груздеву. Но опять-таки этих живых черт почти нет в «Детстве» и в повести «В людях». Нет там и речи о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но вскоре это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова. Потом он работал «сидельцем» в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать «Бюро похоронных процессий».

Зато в первых двух частях автобиографической трилогии Горького есть множество подробностей, не имеющих отношения к «прозе жизни». Например, в начале повести «В людях» говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда Каширина, обращенные к младшему сыну: «Фармазон!» В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами, как повар Смурый, приучивший Алексея Пешкова к чтению? Едва ли. Скорее, дед Василий называл Якова «фармазоном» просто потому, что так было принято именовать вольнодумцев вообще.

«Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, — обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их, — под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, — корень служил пещере сводом, — в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет» («В людях»).

На детском языке такие захоронки называются «секретками». Невинная традиция эта сохранилась, по крайней мере, до шестидесятых годов двадцатого века. Но тогда в «секретки» не прятали мертвых птиц, что считалось подобием церковного отпевания усопшего. Даже если похожая традиция и была у детей девятнадцатого века, все равно загадочными представляются слова Саши после того, как Алексей в результате ссоры между ними выбросил воробья через забор на улицу:

«— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это я всё нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага!»

На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Как тут не вспомнить «фармазона» и слова мастера Григория о Якове, отце Саши, сказанные Алексею:

« — Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!

— Как забил? — говорил он, не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает и бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает. <...>

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она всё скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко».

Насколько разительно не похож этот образ дяди Якова на тот, что нарисован в письме к Груздеву. И это не единичный пример. В повестях «Детство» и отчасти «В людях» Горький явно мифологизировал семейные линии Кашириных и Пешковых. И хотя положение его в семье Кашириных было таково, что он

почти никому (включая свою мать) был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве этой странной автобиографии главная схватка шла как раз за его душу.

Чья сила перетянет? Деда Каширина? Бабушки Акулины? Или кровь отца, Максима Пешкова?

Формально братья Каширины ссорятся из-за приданого вдовы Варвары. Изначальной причиной ее вдовства был Алексей. Свава ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив «дело» и став конкурентами, они разоряются, впадают в нищету.

Отношение дедушки к Алеше очень сложное. Он жестоко избивает его, до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он никак не может понять: кто Алексей — Каширин или Пешков? Вот их первая встреча на палубе парохода, на котором прибыли Алеша, Варвара, бабушка.

«Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы...»

Потом дед Василий будет не раз «придвигать» и «отодвигать» Алешу, пытаясь разобраться, чей он. Дядья же (особенно Михаил) невзлюбят его за то, что в доме появился еще один наследник. И все это — травля Алексея Кашириными, гибель (фактически убийство) любимого им Цыганка, отказ от дома странному человеку, которого Алексей называл «Хорошее Дело», отлучение от дома самого Алексея — в конце концов завершается крахом каширинской семьи.

«Сеяли семя в непахану землю».

Но для краха семьи все же был необходим какой-то внешний, последний толчок. Этим толчком стали незаконный, без согласия отца, брак дочери Варвары с пришлым мастеровым Максимом Пешковым и появление в доме Кашириных Алеша Пешкова. Инстинктивно они чувствовали это и почти все (за исключением бабушки Акулины) не любили этого мальчика. Даже родная мать. Хотя понимала, что Алеша ни в чем не виноват. Сердцу не прикажешь. Не сразу, но со временем он стал понимать это и заплатил родне той же монетой. Лишить душу ребенка любви — нет ничего страшнее этого. Ибо, оформляясь и развиваясь в этой атмосфере «без любви», разум начинает делать свои непредсказуемые выводы о мире, о Боге, о людях.

Бабушка Акулина

А Акулина Ивановна?

Разве она не любила Алексея? Но она *не Каширина*. Она Муратова. Она добрая. Она святая. За нее советует «держаться» мастер Григорий.

Мифологию образа бабушки Горький прописывал с особой тщательностью и любовью. Поэтому как художник именно здесь он превзошел самого себя. Ничего более нежного, поэтичного, чем этот образ, Горький не создал ни до, ни после повести «Детство». И если бы, кроме этой повести, он не написал ничего, мировая литература все равно пополнилась бы великим писателем, а этот шедевр остался бы не только художественной, но и психологической Загадкой.

В ее внешности было что-то «темное», языческое. Недаром в своей семье ее называли «ведьмой».

« — Что, ведьма, народила зверья?!»

Это кричит Василий Каширин после безобразной потасовки Якова и Михаила прямо во время обеда. Можно не обратить внимания на этот странный крик дедушки и принять его просто за бессмысленную брань раздраженного главы семейства. Но в «Детстве», повести невероятно плотной по обилию всевозможных «знаков», намеков, символов, почти нет случайностей. Потому задумаемся: почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи? Только ли потому, что она «потатчица», по словам Василия, и выступает за раздел имущества Кашириных между детьми? Но причем тут «ведьма» и «зверье»? Вот еще одна загадка «Детства», не разгадав которую мы многого не поймем в этой повести.

Зададим себе простой вопрос: каким образом в семье хотя и скуповатого, но честного, трезвого,

трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина народились такие непутевые дети? Это пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил. Это непослушная и недомовитая дочь Варвара, которая, потеряв первого мужа, бросает ребенка в семье родителей и живет как ветер в поле, не неся за мальчика никакой ответственности.

«Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них, — жалуется дедушка. — Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали, — в лукошко кладем, а Господь-то вложил в руки нам худое решето...» И снова в недостатках детей он винит мать: «А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты, ведьма!»

Если смотреть на бабушку глазами Алеши, то она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная богородица. И это понятно. Бабушка для Алеши, если можно так выразиться, первое и даже единственное «теплое» место, которого коснулась его детская, но уже навек травмированная душа. Это даже не любовь, а просто спасение в холодном безлюбивом мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений более или менее отчетливого детского самосознания вокруг него трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу. Мертвый младший брат. И даже мать, хотя и живая, выглядит как мертвая на корабле из Астрахани в Нижний.

«Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас (Алексея и бабушки Акулины Ивановны. — П.Б.). Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, — вся она мощная и твердая...»

Одно из самых первых жизненных впечатлений маленького Алеши: «В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами».

«Второй отгиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер...

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно».

В «Детстве» все пронизано сложной символикой. На гробе отца две лягушки, и обе обречены на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты унесут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему:

— Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, — вон как ее горе ушибло!

Отца, братика и даже лягушек «прибрал» Господь. Потом он «приберет» к себе мать, брата Колю и отчима. Алеша Пешков останется на земле исключительно благодаря бабушке: «...сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни (курсив мой. — П.Б.)».

Если бы не она, в нем вовсе не было бы сил для жизни.

Бабушка не просто заменяет Алеше мать, но становится для него единственной опорой в мире, где Бог бросил его на произвол холодной судьбы. Ничего странного, что этот Бог, «Бог дедушки», не нравится Алексею.

Мережковский называет этого Бога дьяволом, но это неверно. Бог дедушки — Бог истинный, Бог настоящий. И мальчик чувствует Его присутствие в мире, но он обижен на Него. Сознательно или нет, Горький обыгрывает в «Детстве» слова Ивана Карамазова о «слезинке ребенка», из-за которой Иван готов «почтительно» вернуть Творцу билет в Царство Небесное. Только в «Детстве» ребенок не пассивный, но активный персонаж. Подобно третьей лягушке, он брошен, но не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и отныне должен месить окружающее его холодное чужеродное

пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу.

Но хватит ли сил?

Сила идет от бабушки.

Она — «как земля».

Такова мифология образа бабушки. А какова была Акулина Ивановна в реальности?

Наша задача не развенчание мифа, тем более такого поэтического и, значит, художественно состоявшегося, а попытка пробиться к истокам непростой души (по мнению Корнея Чуковского, «двух душ») Максима Горького, на формирование которой оказал влияние не образ бабушки, созданный писателем гораздо позднее, а живая Акулина Ивановна Каширина.

Во-первых, она была пьяница.

В «Детстве» и «В людях» Горький предельно бережно касается этой больной проблемы, поскольку она звучит в контексте его размышлений о русском человеке как отрицательный момент. Но и скрыть очевидного доя семьи Кашириных факта он не может. «Правда выше жалости».

Для Алеши бабушка сродни Божьему явлению. Но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит «от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены», потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело. Но Варвара сердится:

« — Смеются люди над вами, мамаша!

— А Господь с ними...»

Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши бог един — бабушка. Настоящий Бог обидел его. Бабушка оказывается единственным устойчивым смысловым центром мироздания. Все прочее страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жметя к бабушке. Да, но в глазах-то остальных, и даже собственной дочери, это просто добрая, смешная, шалопутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом.

Задним числом Горький понимает это и оставляет этот образ как бы на втором, непроявленном плане.

Бабушки стыдится не только дочь.

Странно! Время от времени Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости. Но законную супругу он с собой не берет. Почему?

«... В праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов».

Есть в музыке понятие контрапункта, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из «Детства», как и многие другие в повести, построен по принципу контрапункта. Фраза начинается в одной тональности, затем на нее накладывается другая. И взрывает гармонию.

С уходом деда, с его жестоким, но ясным и понятным Богом, в доме Кашириных начинается языческое, русское «дионисийское» действие.

Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостливые песни, такие, что Алеша плачет «в невыносимой тоске», а Цыганок весело, ухарски пляшет, «неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...»

Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгенья и «волосатый успенский дьячок». Но остальные, «какие-то темные, скользкие люди», уже вовсе неразличимы, а только похожи на «щук и налимов». Между тем они тоже составляют окружение бабушки Акулины. Это ее «мир», это омут, в который бабушка непременно утянет за собой Алешу, как ведьма утащила братика Иванушку в русской сказке, если Алеша останется верен своему богу.

Ценой убийства в себе этого милого, доброго и очень русского бога Пешков станет М.Горьким.

Когда Горький писал «Детство», «В людях» и «Мои университеты», он это прекрасно понимал. Тем более что уже в 1895 году в «Самарской газете» он опубликовал первый набросок к будущему «Детству» (изначально повесть замысливалась под названием «Бабушка»), очерк «Бабушка Акулина», который с тех пор благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений, как бы похоронив в прошлом образ реально существовавшей Акулины Ивановны, чтобы затем воскресить его в мифотворческом образе Бабушки.

В очерке «Бабушка Акулина» рассказывается о нищей старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя городскую шваль, отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распушенных до такой степени, что они не стесняются жить за счет нищей старухи.

«Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла, иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят «внучат», и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. «Внучатами» являлись самые отчаянные пропойцы-босьяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. <...> Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, «попасть во внучата» значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой, крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей».

Вот куда утащил бы Алексея этот добрый бог, если бы он прислушался к совету тоже очень доброго, но полуслеплого (что символично!) мастера Григория «держаться» бабушки.

«Мои университеты», начало повести, отплытие Алеши Пешкова в Казань:

«Провожая меня, бабушка советовала:

— Ты не сердись на людей, ты сердисься все, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты одно помни: не Бог людей судит, это — черту лестно! Прощай, ну!»

«За последнее время, — признается Горький, — я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне».

В сердце Кая благодаря слезам Герцы тает льдинка Снежной Королевы. Алеша Пешков, напротив, «с болью» вырывает из сердца «теплого» бога, зная, что с этим «теплым» богом он пропадет и «Бог дедушки» надежнее. Беда в том, что он не любит дедушкиного Бога и не понимает Его.

Через некоторое время он попытается создать нового бога и назовет его «Человек». Но даже гуманист Владимир Короленко смутится, прочитав поэму Горького с одноименным названием и увидев этот поистине ледяной образ Человека, одиноко шествующего во Вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о «теплом» боге — своей бабушке и поэтично воскресит ее в «Детстве». Но убийство в себе живого бога не пройдет бесследно.

В начале девяностых годов Горький еще не понимал этого. В очерке «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца» (1893 г.) бабушка Акулина названа просто «бабкой», и никакой идеализации ее там нет: «Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами».

Сравните это с началом «Детства», написанного двадцать лет спустя, где тоже изображена пьяная бабушка: «...вся сияет, а глаза у нее радостно расширены...»

Во-вторых, у этой бабушки нет своего бога.

Да и откуда бы ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного «по-церковному» Василия Каширина? Илья Груздев считает, что замуж она вышла четырнадцати лет от роду, а в одном из писем к Груздеву Горький сообщает: «Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротою. Возможно — внебрачной, на что указывает «бобыльство» ее матери и раннее нищенство самой бабушки...» Что означает — «раннее нищенство»? Значит ли это, что

четырнадцатилетняя Акулина Муратова была, по сути, профессиональной нищенкой? «Хорошо было Христа ради жить...» — так рассказывает она Алексею о своем прошлом.

Так или иначе, но ее поведение еще до краха каширинского благополучия совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного Городской думы, метящего на место главы ремесленников. И ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий, тоже. Зато истинно русская «мощная» красота дочери Варвары, у которой «прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки», тяжелые светлые волосы и свободолюбивый нрав, говорят о том, что эти черты достались ей не от «сухого», «с птичьим носом» Василия, книжника и начетчика, а от матери-«ведьмы», Акулины Ивановны. Как и, увы, склонность ее сыновей к водочке.

Бабушка странно молится, и это объясняет тот факт, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует иконный образ Богородицы в губы.

«Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делать!»

Поначалу можно подумать, что у бабушки и в самом деле какой-то «свой» бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической православной молитвы.

«Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомни, Господи, Григорья, — глаза-то у него всё хуже. Ослепнет, — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи!»

«— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру, окаянную, прости. — Ты знаешь: не со зла грешу...»

«— Всё Ты, родимый, знаешь, всё Тебе, батюшка, ведомо».

В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик, вроде дедушки Василия, заподозрит ересь.

Совсем иное — молитвы бабушки, обращенные к Богородице.

«Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица Преславная, подай милости Твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячее и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!»

Дедушка злится, слыша все это:

«— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая! Эх вы-и...»

Вот еще одно возможное объяснение странной «религии» бабушки. «Чуваша!» Языческая кровь бродит в ней и в детях, взрывая когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы, плодоносящей силы, ближе ей, чем суровый Бог, которому молится дед Василий. Да она просто не понимает Бога как первооснову мироздания. Кто Его-то родил? Понятное дело, Богородица! Бого-родица.

И хотя Алеша, уже обученный дедом церковной грамоте, объясняет ей, что это не так, бабушка все равно сомневается. Она язычница чистой воды. Восприняв от христианства идею милосердия, она так и не стала церковной христианкой в строгом смысле. И вот это нравится Алексею! Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога Богородицей, Матерью мира, а значит, и его Матерью! Вот почему он целовал Богородицу в губы.

Но это, в конце концов, означало страшное. Отодвигая от себя бабушку, «теплого» бога, «убивая» этого бога в себе, он «убивал» в себе Мать и такой ценой становился самостоятельным человеком. О да, конечно, эта дорогая «могила» оставалась в его душе! Она питала его творчество, причем лучшие его стороны. Но «отсохшие», по его выражению, части сердца были уже невосстановимы. Отправляясь в Казань, Пешков заключал договор с новым богом, упрямым, любопытным и жестокосердным. Да, этот новый бог был ближе к «Богу дедушки», как Его понимал Алексей. Но и ближе к тому, о чем писал Мережковский, глубоко понявший религиозный дуализм Горького.

«...отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. *Всё об отце* (курсив мой. — П.Б.). Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере). Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность...» («Изложение фактов и дум...»)

Став невольным отцеубийцей (когда отец заразился от него холерой), маленький Алеша лишился не только отца, но и матери.

«Я лежал в саду в своей яме (снова яма! — П.Б.), а она гуляла по дорожке невдалеке от меня со своей подругой, женой одного офицера.

— Мой грех перед Богом, — говорила она, — но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим <...> и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его — я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..»

«Колодка на ноге»... «Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, — жестоко замечает Горький, — ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне]...» («Изложение...»)

Сколько же «могил» было в сердце этого юноши, когда он отправлялся на пароходе в Казань, оставляя в Нижнем погибать проклятый каширинский род, так и не найдя живого человека, который на полных правах поселился бы в его душе, где не нашлось места ни Богу, ни отцу и ни матери? Единственный человек, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была Акулина Ивановна. Зимой 1887 года она упала и разбилась на церковной паперти и вскоре скончалась от «антонова огня». На ее могиле рыдал дедушка. Алексей Пешков узнал об этом спустя семь недель после похорон.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: СИРОТА КАЗАНСКАЯ

Физически я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно — в Казани.

Из беседы М. Горького с Н.Шебуевым

Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время.

Из предсмертной записки Алексея Пешкова

То «люди», а то «человеки»

«Что не от Бога, то от дьявола...»

Эта простая и великая истина в позапрошлом веке была известна любому неграмотному русскому мужику. Знали о ней и дедушка Василий Каширин, книжник и начетчик, и бабушка Акулина, полуязычица, последовательница культа Богородицы. Эту истину она и пыталась внушить Алексею, провожая его в Казань: «Ты — одно помни: не Бог людей судит, это — черту лестно!»

Хотя дедушка Василий не согласился бы с этой мыслью супруги и обозвал бы ее «ведьмой» и «еретицей».

Только Бог людей и судит, полагал дедушка. Страшно, до полусмерти выпоров Алешу, дед не считал это своим судом над полусиротой, а только исполнением необходимой обязанности, в которой он, увы, несколько переусердствовал, за что и пришел к внуку виниться: «Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень: укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зачет пойдет!»

Вот бесхитростная вера дедушки. «Перетерпел» — значит, Бог другое простит.

Не злой Он, дедушкин Бог. «Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что, поди-ка, Сам Господь Бог глядел — плакал!»

Между религией дедушки и религией бабушки не было существенной разницы. Но Пешкову-писателю было нужно показать, как он, подобно хитроумному Улиссу, миновал Сциллу и Харибду бабушкиного и дедушкиного религиозных влияний и потому стал Горьким, самостоятельной духовной фигурой. Он и сам не понимал, что он за фигура. Но что ему предстоит особый, и не только биографический, но и духовно-философский путь, Пешков стал подозревать рано. Почистим потускневший за много лет смысл названия второй части автобиографической трилогии и задумаемся: что значит быть «в людях»? Есть ли альтернатива? Можно ли быть не «в людях»? И что имел в виду дед, отправляя внука, круглого сироту, «в люди»? Несомненно, что понимание этого слова у дедушки Василия Каширина и у автора «Детства» и «В людях» было различным.

Дед, отправляя Алексея во внешний мир, как бы отпочковывал его от семьи. Смысл его жесткой, но и мудрой фразы был такой: ступай «в люди» и стань человеком. Вот как я, Василий Каширин, из бурлаков, из этой серой и неразличимой массы, выбился в заметного человека, цехового старшину, так и ты (черт тебя разберет, кто ты такой — Пешков или Каширин?) потришь «в людях» и стань человеком.

Однако дед Василий не мог предполагать, что Алешино понимание отличия «людей» от «человеков» зайдет столь далеко. Что внук попытается создать свою религию, в которой его человек (как духовное существо) не только не будет совпадать с людьми (как природной и социальной средой), но окажется в жестокой войне с ними.

Однажды, уже отходя от доброй религии бабушки и больше прислушиваясь к дедовым рассуждениям о «людях» и «человеках», Алексей вдруг приходит к мысли, которая навсегда определит его духовную судьбу: «Человеку мешают жить, как он хочет, две силы — Бог и люди» («В людях»).

В «Детстве» он сводил счеты с обидевшим его Богом, непочтительно возвратив Ему законное право несчастного сироты на Небесное Царство.

Бог изгнан из души его. Даже добрый (слишком добрый для этого жестокого мира) бог бабушки. Тем более, что, обладая цепким умом деда (и, возможно, отца), он быстро понял, что нет этого «доброего» бога вовсе, а есть бабушка Акулина, жалостливая старуха, «мать всем», отзывчивая, большая и щедрая, «как земля». Зато Бог дедушки, Бог настоящий, Творец и Судия сущего, Он есть! И этот Бог несправедливо наказал Алексея. Он еще не осмыслил всей обиды до конца, не претворил ее в свою «правду», духовную философию. Алеша еще не знает, что в далекой Германии «базельский мудрец» Фридрих Ницше уже обмакнул перо в чернила и вывел страшные слова: «Прочь с таким Богом! Лучше без Бога! Лучше на свой риск и страх устраивать судьбу!»

Но в душе его эта мысль уже горит тем же фосфоресцирующим светом, что и зеленые глаза бабушки во время молитвы.

Он еще не переосмыслил на свой лад библейскую книгу Иова. Через много лет он напишет философу В.В.Розанову: «Любимая книга моя — книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнением, а особенно 40-ю главу, где Бог поучает человека, как ему быть богоравным и как *спокойно* встать рядом с Богом».

Но Иовом, которого за что-то жестоко наказал Бог, он почувствовал себя слишком рано. Только в отличие от Иова Горький доведет свой бунт до конца. Если Господь бросил людей на произвол дьявола, что ж, отвернемся и мы от Него, «встав рядом». Да Он Сам, создав для человека несправедливые условия бытия, обидев человека по всем статьям и сделав игрушкой дьявола, намекает на это. Изгнал из Рая? Построим свой!

Эти гордые мысли еще только смутно носятся в голове Алексея. Там царит мешанина, пуганица из

чужих мыслей и верований. Но одно он начинает понимать с горечью: главный враг человеку не Бог, а люди! «В наше время ужасно много людей, только нет Человека», — заявит он в одном из своих ранних писем.

Отправляясь в Казань, Алексей Пешков оставлял «мертвых хоронить своих мертвецов». Это решение нелегко далось ему. И пусть не смущает ироническое начало «Моих университетов», написанное М. Горьким, а не Алешей.

Как больно стало этому физически сильному, но угловатому, некрасивому и душевно травмированному юноше, на которого «продвинутая» казанская интеллигенция, включая студенчество (в том числе и студентов духовной академии), взирала пусть с любопытством, как на самородка, однако с тем любопытством, которое обижает хуже любого невнимания, когда из Нижнего Новгорода пришло неграмотное, без запятых, письмо от Саша, брата двоюродного, где было сказано о смерти бабушки! «Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал тоже скоро помрет».

Алеша не заплакал. Но «точно ледяным ветром охватило» его.

И вот что показательно. К тому времени Алеша уже работал в булочной народника Андрея Деренкова, все доходы от которой шли на кружки самообразования (конечно, нелегальные) и прочую финансовую поддержку народнического движения в Казани. Деренков хотя и был старше Алексея на десять лет, подружился с подручным своего пекаря и частенько оставлял его ночевать у себя. «... Мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы (отец Деренкова был очень набожным. — П. Б.)». Алексею нравилась (он был почти влюблен) сестра Андрея, Марья Деренкова. В Казани прямой и общительный Алексей Пешков быстро познакомился не только со студентами, но и с ворами, босяками, пекарями, крючниками, фабричными.

Однако о смерти бабушки, самого драгоценного ему «человека», некому было сказать. Некому было выплакаться на груди.

Почему было не рассказать Деренкову, мягкому, доброму, идеалисту?

«С тихой радостью верующего он говорил мне:

— Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь...»

Но вот того, что рядом с ним, «на войлоках», беззвучно кричала и корчилась больная одинокая душа, Деренков, выходит, не замечал? Или Алексей не позволял это видеть?

Почему не поговорить с Марьей? Наконец, не отправиться на берег Волги или Казанки к ворами и босякам, не выпить там водки на помин души, не высказать им свое горе?

«Не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами?» — пишет Горький.

Тоже психологическая загадка. Но, кажется, можно попытаться ее решить.

Отъезд в Казань был своего рода сжиганием мостов между Алешей Пешковым и Кашириными. Как ни обижали его в этой сложной семье (больше всех собственная мать), но все-таки личность его во многом сформировалась благодаря деду и бабушке Кашириным. Письмо Саша потревожило эти сердечные «могилы». Но рассказать об этом кому-либо он не мог. Простой народишко на Волге понял бы его. О, конечно! Особенно босяки. Им бабушка Акулина как тип русской женщины была до слез родной и понятной. Наверное, поняли бы его и студенты, и Деренков, и Марья. Поняли бы и пожалели. Как обидела мальчика судьба! Бедный ты наш!

Но в том-то и дело, что он не желал не только их жалости, но и *понимания*. Жалости не хотел, потому что, по выражению уже скончавшейся бабушки, строг и заносчив стал.

А понимания?

Во-первых, он и сам себя не понимал. А во-вторых, как раз понимания со стороны «людей» инстинктивно, а может быть, уже и сознательно не желал. Понять — значило сделать своим. Но своим его не удалось сделать даже бабушке Акулине. Даже ей он не позволил оформить свою душу, а тем более

разум. И как же позволить сделать себя своим ворами и грузчикам? Или добряку Деренкову? Или вот Марье?

Да ведь он только что выбрался из «людей»! «Выломился» из этой среды, по выражению Льва Толстого. Его не смогли сделать своим мастера-богомазы в иконописной мастерской, повара и матросы на пароходе «Добрый», где Алеша работал посудником. Все проиграло сражение за его душу. Даже такой человек, как повар Смурый, приучивший к чтению книг.

Колдун с сундуком

А существовал ли гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый? Может, не было его?

Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года: «Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке».

Первый биограф Горького Илья Груздев признал этого персонажа «В людях» за живого человека. И нам вряд ли есть смысл сомневаться в реальности его бытия. А все же?

В «Биографии», написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание недоверчивый исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурого нет и в помине. «Для чтения книги покупались мной на базаре», — пишет Горький о жизни на пароходе, вспоминая вечерние беседы с матросами и служащими кухни. И ни словечка о «сундучке». Вместо Смурого упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы (жизненные или вычитанные из книг?) и говорил: «Чудашноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно!»

Нет о Смуром в переписке Горького с Груздевым. Это кажется несколько странным, так как Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о реальных истоках куда менее значимых героев его автобиографической трилогии. А слона как будто бы не заметил! Но ведь Смурый несомненно один из главных, если не самый главный герой «В людях», после Алексея, конечно.

Если бы Смурого не было, его нужно было бы выдумать. Как и особого бога бабушки. Как и злого бога дедушки. Как и символику с лягушками. Как и многое другое, без чего трилогия перестанет быть художественным произведением.

Смурый с его «колдовским» сундучком, набитым принципиально разными по смыслу книгами, — это новый учитель несформировавшегося русского Заратустры. Его учение Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое. Чтобы затем «убить» это в себе и двигаться дальше. Книжки, покупаемые на базаре во время стоянок парохода то ли из-за доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия (Эккартгаузен! «Камень веры!»), — это слишком понятно и неинтересно.

Появление Смурого дает процессу книжного образования мальчика *лицо*. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малоросса, бывшего унтера. Это видит Горький и позволяет понять это пронизательному читателю. Но Алеша-то находится в зачарованном лесу исканий, сомнений. И потому Смурый в его представлении это Колдун, и сундук его колдовской.

Этот сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия, и Смурый испытывает Алексея ими, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако отличие в том, что дьявол-то задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый предлагает сомнительные ответы, которые побуждают Алексея задавать искушающие вопросы.

«Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия» — эта формула «истинной», по пророку Максиму, веры прозвучит в «Жизни Климса Самгина».

Это евангельская истина, но с перевернутым, противоположным смыслом. Христос преодолел пустыню (в метафизическом понимании — духовную), потому что не только *верил* в поддержку Своего Отца Небесного, но твердо *знал* о Его существовании. Вот почему Христу не было смысла искушать Отца Своего. Пустыня была нужна Христу, чтобы утвердиться в *уже существовавших* вере и знании. Пешков-Горький превращает пустыню в единственно возможный путь к истинной вере и знанию, то есть предполагает, что *существующие* вера и знание ложные.

Образ Смурого, как и положено Колдуну, двоится в наших глазах. То это милейший человек, добрый к Алексею и ко всем на пароходе, то злой и своенравный пророк.

«В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.

— Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

— «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пророков»...»

Колдун недоволен таким направлением мысли:

«— Верблюды! Написали...»

«Он закрывает глаза и лежит закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу».

«Он постоянно внушал мне:

— Ты — читай! Не поймешь книгу — семь раз прочитай, семь не поймешь — прочитай двенадцать».

7 и 12. У Колдуна и цифры не случайные, а магические.

Но Колдун не знает, что перед ним не просто умный мальчик, а Алеша Пешков, эдакий Колобок, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя, Колдуна, тоже уйдет.

Карл Эккартгаузен, немецкий философ-мистик восемнадцатого века. Его «Омировы наставления, книга для света, каков он есть, а не каким быть должен». Это собрание нравственно-поучительных новелл. Колдун подзадоривает ученика, поругивая одно и сразу предлагая Алеше другое.

«— Сочиняют, ракальи... Как по зубам бьют, а за что — нельзя понять. Гервасий! А на черта он мне сдался, Гервасий этот...»

Однако не только оно «Гервасия» в сундучке хранит и заставляет читать.

Мальчик с трудом читает название книги с нажимом на «о»: «Толкование воскресных евангелий с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором архиепископом Славенским, переведено с греческого в Казанской академии иеродиаконом Гервасием». Колдун хохочет про себя.

И так же смеется Колдун, когда Алеша читает ему «готический» роман Анны Радклиф вперемежку со статьями Чернышевского из «Современника», масонский «Камень веры» и антимасонский манифест Уилсона «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские...». Смешно Колдуну. Алеше — нет.

Колдун по-своему любит Алешу, тайно надеясь заманить в силки какой-то веры, испытывая его на духовную прочность. И Алеше нравится Колдун. Потому что Колдун отличается от «людей». Есть в нем какая-то загадка, какая-то ошибка в сотворении человека суровым и нелюбимым дедушкиным Богом. Истина «что не от Бога, то от дьявола» заключает в себе, по мнению Алеши, прямолинейную и неинтересную мораль. Как и конец сказки о гордом Колобке.

«— Ах, Боже мой! Боже мой...

— Да читай же, чертова кость!

— Пешков, иди читать.

— У меня немытой посуды много.

— Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:

— Ссажу с парохода...»

Однако ссадил с парохода Алешу сам Колдун. Так закончилась история их дружбы-вражды. Испытания со стороны Колдуна и упертости в своих сомнениях со стороны Алеши.

«Взяв меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу на пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...»

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!...»

Правильнее было бы сказать иначе: «отломившихся от людей человеков».

Искуситель

Известно, что в Казани Алексей не только родился «духовно», но пытался покончить с собой физически. Кстати, между тем и другим существует не просто естественная, но взаимозависимая связь.

Повесть «Мои университеты»: «Итак — я еду учиться в Казанский университет, не менее того.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я "обладаю исключительными способностями к науке"».

Так на пути нижегородского Колобка возник искуситель. В его облике, в отличие от кряжистого колдуна Смурого, есть что-то «женски» лукавое. Евреинов ветрен и легкомыслен. Коварно совращает Алексея на путь служения науке и затем чисто «по-женски» бросает его мыкаться в Казани.

Во всяком случае, так изображен в повести молодой Николай Владимирович Евреинов (1864—1934). На этот раз несомненно реальный человек, сын письмоводителя, гимназист, а затем студент физико-математического факультета Казанского университета, «диссидент», добровольно, «в знак протеста», покинувший университетские стены после разгрома студенческого движения за отмену всех сословных ограничений при приеме в *alma mater*. Вместе с ним подписал коллективное письмо-«уход» и некий Владимир Ульянов.

Горький не осуждает Евреинова ни в «Моих университетах», ни позже в письмах к Груздеву, понимая, что юношей двигало «доброе сердце». Он подарил Алеше несколько недель сладких иллюзий. «... В Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены — он так и говорил: «кое-какие», — в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым»...»

Между прочим, добросердечный юноша был старше искушаемого на четыре года. Однако Алексей смотрит на искусителя несколько свысока. В свете своего жизненного опыта он быстро понимает, что такие, как Евреинов, добрые, сердечные люди, как правило, живут за счет поисков хлеба насущного близкими людьми. В данном случае это была мать Николая Евреинова, кормившая на свою нищенскую пенсию двух сыновей. Приглашая Пешкова в Казань, Николай по доброте сердечной сажал на шею матери третьего едока. «В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая саму?»

Серая вдова и Алеша сразу поняли друг друга. Алеша исправил ошибку Коли. Ушел от Евреиновых и стал жить своим трудом. Мечты об университете он похоронил.

Его школы

Приехавший в Казань с мыслью поступить в университет, старейший в России после московского, Пешков не закончил не только гимназии, но не имел никакого среднего образования. Как, впрочем, и дворянин Бунин. Но Бунину родители все-таки наняли домашнего учителя. Алексея же читать по-русски кое-как наскоро научила мать Варвара во время одного из недолгих пребываний в доме Кашириных. Дед научил его только церковной грамоте, да и то выборочно. Если верить «Детству», придя в школу, Алеша не знал ни ветхозаветной, ни христианской истории, но зато наизусть читал псалмы и жития святых, чем немало изумил архиепископа Хрисанфа, однажды посетившего их школу. По-видимому, дед Василий был «начетчиком» в точном смысле слова, то есть тайным старообрядцем, не признававшим никонианской Библии, не говоря уже о светской литературе.

Недолго мальчик учился в приходской школе, заболел оспой и был вынужден прекратить учение. Потом два класса в слободском начальном училище в Кунавине, пригороде Нижнего, где Алеша некоторое время жил с матерью и отчимом. «Я пришел туда (в училище. — П.Б.) в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но

учитель и поп невзлюбили меня...» («Детство»)

Кстати, «Детство» писалось в то самое время, когда футурист Маяковский, дворянин по происхождению, эпатировал «буржуазную» публику желтой кофтой, а одна из футуристических групп называлась «Бубновый валет». Конечно, это случайное совпадение.

Однажды пьяный отчим, «личный дворянин», на глазах у Алеши стал избивать его мать. Отношение мальчика (затем взрослого Горького) к чужой боли было особенным. Он не выносил ее, при этом собственную боль не просто замечательно переносил, но в старости признался Илье Шкапе, что вообще ее, своей боли, не чувствует. Скорее всего, это было преувеличением. Но и Владислав Ходасевич, близко общавшийся с Горьким в 1917—1918 годах и в двадцатые годы, свидетельствует: «Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей».

Отчим не просто бил мать Алеши, но и унижал ее, не пускавшую его к любовнице. Уже больная чахоткой, значительно старше мужа, Варвара потеряла былую привлекательность. Алеша пришел в ярость не столько от переживания физической боли матери, как умноженной своей, сколько от жуткой обиды за Варвару.

«Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины» («Детство»). Он не пишет — «матери». «Женщины»!

Алексей схватил нож («это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца») и ударил отчима в бок с явным намерением его убить. Если бы Варвара не оттолкнула мужа, Алеша, возможно, убил бы его. Потом он заявил, что зарежет отчима и сам тоже зарежется. «Я думаю, я сделал бы это, во всяком случае, попробовал бы» («Детство»). Отметим для себя, что кроме попытки убийства здесь явственно впервые прозвучал и так называемый «суицидальный комплекс», склонность Алексея Пешкова к самоубийству как решению жизненных проблем. Мы еще поговорим об этом подробней.

Результатом было то, что из Кунавина Алексея отправили обратно к деду, который к тому времени окончательно разорился. «Школой» мальчика стали улица, поля, Ока, Волга... И такие же, как он, обойденные родительской заботой мальчишки из русских, из татар, из мордвы, с именами либо кличками: Язь, Хаби, Чурка, Вяхирь, Кострома.

Прозвище Пешкова было Башлык.

Алеша не закончил даже начального приходского училища. Но если бы и закончил, для поступления в университет этого было мало.

Приходские училища (не путать с церковно-приходскими, состоявшими в ведении Синода), пишет И.А.Груздев, содержались городом и «почетными блюстителями» из купцов. «Особенная цель приходских училищ — безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех сословий и обою пола. В эти училища допускаются дети не моложе 8 лет, а девочки не старше 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы: 1) Закон Божий по краткому катехизису и священной истории; 2) чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей; 3) чистописание и 4) четыре первые действия арифметики» («Памятная книжка Нижегородской губернии», 1865 г.).

Но даже в такой школе, несомненно рассчитанной на самые низшие, неимущие слои населения, Алеша, если верить «Детству», оказался изгоем, человеком из низшей касты.

«В школе мне <...> стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищобродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно мне было ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье (и кости. — П.Б.)».

При этом воля к учению и «лошадиная», по словам деда Василия, память у Алеши были необычайные. Только этим можно объяснить, что бывший ветошник, а порой, увы, воришка, таскавший вместе с такими, как он, отщепенцами дрова со складов, в возрасте примерно двадцати лет в нелегальном кружке самообразования уже читал собственный реферат по книге В.В.Берви-Флеровского, не соглашаясь с тем, что пастушеские и мирные племена играли большую роль в развитии культуры, чем племена охотников.

Еще через несколько лет он свободно штудировал философов-идеалистов Ницше, Гартмана, Шопенгауэра и менее известных Каро, Сёлли. Причем, изучая, например, Шопенгауэра, не ограничивался фетовским переводом работы «Мир как воля и представление», но прочитывал и такой труд великого немецкого пессимиста, который, как правило, мало кто может освоить: «О четвероюгом корне достаточного основания».

Этой книжной мудростью Пешков пропитался не меньше, чем пылью нижегородских улиц и волжскими далями, песнями дяди Якова и матерщиной дяди Михаила, сказками бабушки и рассказами дедушки. И все это вместе, от первого бычьего мосла, подобранного на помойке, до первой прочитанной философской книги, можно считать «университетами» Горького.

«Сын народа»

Пешков прибыл в Казань, как установил И.А.Груздев, летом или осенью 1884 года. Судьба определенно преследовала его. Именно в этом году был принят новый университетский устав, который, во-первых, существенно ограничивал внутреннюю самостоятельность университетов, ликвидировав их и без того относительную автономию и подчиняя учебный процесс министерству в лице попечителей, а во-вторых, резко сокращал число принимаемых в университеты лиц из беднейших слоев населения (реалистов, семинаристов), а также евреев. Это вызвало студенческие волнения, которые закончились убийством студентом министра народного просвещения.

Для Пешкова это означало: никаких шансов стать студентом. А как хотелось! Так хотелось, что если б ему предложили: «Иди, учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками», — Алексей Пешков, «наверное, принял бы это условие».

Вот почему к студенческим волнениям и к добровольному отчислению студентов он отнесся с недоумением. Как это так — тебе *позволяют* учиться, а ты отказываешься!

Вообще от повести «Мои университеты» остается впечатление, что к студентам у Пешкова было сложное отношение. С грустью и недоумением взирал он на то, как безотчетно транжируются деньги доброго Андрея Деренкова, как из кассы берут все кому не лень. В итоге Деренков разорился, впал в долги, был вынужден бежать из Казани в Сибирь. Мытарства этого «рыцаря революции» после Октябрьского переворота описаны Горьким в письме к секретарю обкома Р.П.Эйхе 1936 года: «...В селе Лебедянке Анжеро-Судженского района, в доме крестьянина Лазарева, живет старик 78 лет — Андрей Степанович Деренков. Это тот самый Андрей Деренков, который в 80-х годах в Казани организовал нелегальную библиотеку, питавшую молодежь. Революционная роль этой библиотеки была весьма значительна. Кроме того, Деренков организовал булочную, и она давала немалый доход, который употреблялся на обслуживание местных студенческих кружков, помощь политссыльным и т. д. В этой булочной я работал и дела ее хорошо знаю. В начале 90-х годов Деренков принужден был скрыться из Казани в Сибирь. За время от 90-х годов до 28-го я с ним не переписывался, а в 28 году он мне написал, что «раскулачен» — кажется, он крестьянствовал или торговал, имея большую семью. Теперь он пишет мне: «Живу плохо, угнетает меня титул «лишенец». У меня на руках больная дочь. Хотелось бы конец жизни прожить свободным гражданином. Нельзя ли снять с меня титул «лишенец»?» — спрашивает он. С этим же вопросом я обращаюсь к Вам: если можно — вознаградите человека за то хорошее, что он делал, за плохое его уже наказали...»

Просьбе Горького вняли. Деренкову назначили пенсию, с которой он прожил без малого до ста лет. Он скончался в 1953 году.

К тому же деньги для студентов Деренков зарабатывал каторжным трудом Алексея, работавшего у него подручным пекаря и таскавшего пятипудовые мешки с мукой, чтобы замесить из нее тесто. Работал

Алексей ночью, потому что к утру студенты университета, а также духовной академии ждали свежих горячих булочек и кренделей к чаю и кофе, которые доставлял им в обжигавшей руки корзине неутомимый Алексей.

Заодно в корзинку его подкладывали нелегальные книги, прокламации, а то и любовные записочки. За передачу записочек предлагали деньги. Алексей их принципиально не брал.

Из письма к И.А.Груздеву о работе в булочной:

«Мое дело — превратить 4-5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. 20 пудов муки, смешанных с водою, дают около 30 пуд<ов> теста. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Караван печеного весового хлеба я нес в лавку Деренкова рано утром, часов в 6-7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, сайками-подковками — 2—2 1/5 пуда и нес ее за город на Арское поле в Родионовский институт, в духовную академию. <...> Одним словом, ежели не прибегать к поэзии, так дело очень просто: у меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать, так где уж там пропагандой заниматься!»

«Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлебы в печь» («Мои университеты»). Подвальчик с печью, где работал Пешков, был маленьким. Алексей собственноручно выдолбил нишу, чтобы не упирался в стену конец ухвата.

Пекарь оказался циником и сладострастным, падким на девиц. Очередную девицу, тринадцатую по счету, крестницу городского Никифорыча, что вызывало его особую гордость, он приводил в подвал и услаждался с ней в сенях прямо на мешках с мукой, а когда было холодно, просил Алешу: «Выдь на полчаса!»

Алеша Пешков думал, наблюдая эту полуживотную жизнь: «И мне — так жить?!»

Поэтому, по крайней мере на словах, к людям иного сорта, в частности к студентам, он относился как бы даже с пиететом.

«Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу».

Но в этот восторг не очень веришь, потому что ниже стоят слова:

«Они же смотрели на меня, точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

— Самородок! — рекомендовали они меня друг другу, с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой...»

Ему решительно не нравилось, когда его называли «сыном народа». Но почему? Потому что народа как явления для него не существовало.

«Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным, вместилищем начал прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия».

Да, он «вышел из народа». Вообще из «людей». Но не для того, чтобы в «люди» вернуться. Так или примерно так Алеша Пешков если не думал, то чувствовал в Казани.

Перед тем, как попытаться себя убить.

Страсть к самоубийству

На рубеже девятнадцатого — двадцатого веков среди молодежи было модно умирать не по-человечески, не по-божески, но насильственно прерывая жизнь в цветущем возрасте. И не просто прерывая, а с каким-нибудь вывертом.

В январе 1885 года в Казани застрелилась дочь богатого часторговца, или, как говорили тогда, «торговца колониальным товаром». В знак протеста против насильственного замужества она ушла из жизни не просто, но с антицерковным пафосом: застрелилась сразу после венчания. Весть о гибели Д.А.Латышевой немедленно облетела всю Казань. О ней писала газета «Волжский вестник», ее поступок обсуждался не только студентами, но и работниками пекарни Семенова, где в то время месил место Алексей. Студенты поступком восторгались, пекари говорили: «Косы ей драли мало, девице этой...»

Судя по «Моим университетам», Пешков к добровольной смерти замужней девицы отнесся даже не равнодушно, а «никак». На похоронах ее он не был, а там присутствовало 5000 человек, студенты в основном.

Но, между прочим, в том же «Волжском вестнике» под общим заголовком «Стихи на могиле Д.А.Латышевой» и общей подписью «Студент» среди нескольких анонимных стихотворений напечатали и стихотворение Пешкова. Это первая публикация будущего Горького, то есть, по сути, его дебют. Правда, в полном собрании произведений М.Горького стихотворение стоит в разделе Dubia, авторство его не считается стопроцентно доказанным. Эти стихи в 1946 году по памяти читал сотрудникам казанского музея Горького А.С.Деренков, считая автором Пешкова. Вот они:

Как жизнь твоя прошла? О, кто ж ее не знает?!
Суровый произвол, тяжелый, страшный гнет...
Кто в этом омуте не плачет, не страдает,
Кто душу чистою, невинной сбережет?

С художественной точки зрения это ужасно. Это Некрасов на полпути назад к Бенедиктову. Но несправедливо требовать от полуграмотного подручного пекаря стихотворного перла.

Скорее всего, наработавшись ночью в пекарне, Пешков спал мертвым сном, когда студенты шли за гробом несчастной девицы.

Тем не менее самого Пешкова чуть было не погубила его «умственность». Ведь пока Алеша не начитался разных умных книг, которые смешались в его голове, не наслушался разных умных речей, где никто не желал слушать остальных, *мысли* о самоубийстве не возникали.

Но *склонность* была всегда.

Выскажем осторожное предположение: молодой Пешков, видимо, страдал суицидальным комплексом (страстью к самоубийству). Еще будучи школьником, когда он заболел оспой и его связали, чтобы не расчесывал себя до крови, Алексей развязался, выбросился в чердачное окно, разбив стекло головой, и пролежал довольно долго в снегу, пока его не обнаружили. Допустим, это было сделано в бессознательном состоянии. Но затем, когда он пошел с ножом на отца, то грозился матери, что убьет его и потом убьет себя. После неудавшейся попытки застрелиться, оказавшись в больнице, Пешков еще раз попытался покончить с собой (письмо Горького к Груздеву от 1933 года). Было это так. Оперировал его, вырезав из спины пулю, ассистент хирурга, доктора медицины, профессора Казанского университета Н.И.Студентского И.П.Плюшков, и операция прошла удачно. Однако на третий день в больницу на обход приехал сам Н.И.Студентский, известный своей грубостью. Он чем-то обидел больного, и тот схватил большую склянку хлоралгидрата и выпил его. Алексею промыли желудок.

В 1892 году он писал И.А.Картиковскому: «Пуля в лоб или сумасшествие окончательное. Но, конечно, я избираю первое».

В советское время писать о психопатологии Горького было неприемлемо. Хотя многие места в его автобиографической трилогии наводят на мысль, что он был, как говорят, психически неуравновешенным человеком и сильно страдал от этого.

Одним из последних, кто писал о психопатологии Горького, был доктор И.Б.Талант. В середине двадцатых годов, перед возвращением Горького в СССР, Талант вступил с ним в переписку и попытался выявить психопатологическую подоплеку как горьковских произведений, так и его жизни. По-видимому, Горький был недоволен этим любопытством. В письмах к биографу Груздеву он указывал на Таланта как

на «казус», намекая таким образом Груздеву, что тому влезать в эти вопросы не стоит. v

Горький оказался в сложной ситуации. Отказать Таланту в переписке, а тем более наложить запрет на его исследования он не мог. Горький считался рыцарем науки, в том числе и медицины. И как же отказать ученому в работе только потому, что объектом его исследований стал он сам. Однако развитие этой темы в советской печати, даже только научной, решительно противоречило культуре здоровья в СССР, поклонником чего был Горький и как художник, и как идеолог. Словом, Талант проявил научное рвение не вовремя.

Груздев правильно понял Горького. Горький так настойчиво указывал ему на исследования Таланта, что в конце концов биограф решил успокоить его: «Дорогой Алексей Максимович, сколь Вы ни уstraшены доктором Талантом, все же, думаю, не в такой мере, как я — тем, что поставили меня рядом с ним. Я обомлел, когда прочел Ваше письмо! Но поделом! Довела-таки меня жадность до конфуза! Хотя жаден я не так, как Талант, а по-иному. Талант охотится за хвастливыми, худосочными выводами, — мне нужны честные, как столб, факты».

Под «жадностью» Илья Груздев имел в виду свою дотошность, с какой он, как биограф, старался проследить реальную связь между Горьким настоящим и вымышленным. Осторожно, тактично он выспрашивал его в письмах в Сорренто о живых людях, которые стали персонажами его творчества, и о нем самом, а кроме того проводил параллельно собственные разыскания, порой удивляя самого Горького неожиданными биографическими фактами, о которых тот забыл или не хотел вспоминать. Талант же исходил из априорного убеждения, что Горький в юности болел психическим заболеванием. И даже не одним, но целым «букетом». С наивностью истового ученого медика он сообщил этот «факт» Горькому, написав: «Я считаю эту мою идею гениальной».

Но Горький не хотел так считать. Тем более перед возвращением в СССР, где советский народ и «лично товарищ Сталин» ждали не человека, когда-то страдавшего психопатологией, а «инженера человеческих душ» (впрочем, это более позднее сталинское определение).

Кое-что из своих «открытий» о Горьком Талант все-таки опубликовал в необычном периодическом издании «Клинический архив гениальности и одаренности», выходившем в двадцатые годы под редакцией Г.В.Сегалина в Ленинграде. Одна из его статей называлась: «К суицидомании Горького».

Вывод статьи не блистал оригинальностью: «Горький до того часто говорит в своих рассказах о самоубийстве и заставляет так часто своих героев покушаться на самоубийство <...>, что можно говорить о «литературной суицидомании» Горького».

Бесспорно, в творчестве Горького, особенно раннем, много персонажей-самоубийц. Начнем с самоубийства Сокола, приветствуемого автором, в отличие от «мудрого» Ужа. А разве не убивает себя Данко, пусть и ради людей? Кончает с собой силач и красавец Коновалов. Илья Лунев в романе «Трое» разбивает себе голову о стену. Вешается на пустыре возле ночлежки Актер. Суицидальный список можно продолжать.

«Влекло меня тогда к людям «со странностями», — писал Горький Илье Груздеву, вспоминая жизнь в Казани. А что может быть «страннее» человека, решившего добровольно умереть?

Но отношение зрелого Горького к самоубийцам резко отрицательное. Причем отрицательное до безжалостности. На самоубийство Маяковского он отозвался почти презрительно: «Нашел время». Смерть Есенина более тронула его, всколыхнув воспоминания о поэте. Илья Груздев с ужасом, смешанным с восторгом, писал Горькому о том, как погиб Есенин:

«Есенин в гробу был изумителен. Детское, страдальческое лицо, искривленные губы и чуть сведенные брови. И, странно, куда делась его внешность рязанского мальчика с примесью потасканного альфонса. Вместо этого он напомнил мне итальянца времен Возрождения. Какой благородный профиль, какие красивые руки! Это впечатление дня незабываемое на всю жизнь...

А знаете, как он повесился? Обмотал вокруг шеи веревку и другой конец взял в руку, рукой зацепившись за трубу отопления. Малейшая слабость, и он выпустил бы из руки веревку и сорвался. Но он выдержал и удавил себя».

Интересно, что Горький к подобному способу самоубийства отнесся с недоверием знатока:

«То, что Вы сообщили о Есенине, и поразило меня и еще более цветисто окрасило его в моих глазах.

Это — редкий случай спокойной ярости, с коей — иногда — воля человека к самоуничтожению борется с инстинктом жизни и преодолевает его.

Едва ли я страдал когда-либо и страдаю ныне «суицидоманией» — влечением к самоубийству, — как это утверждает д-р И.Б.Талант (опять Талант! — *П.Б.*) у вас, в «Клиническом архиве», но было время, когда я весьма интересовался вопросом о самоубийстве и собирал описания наиболее характерных случаев такового. В 97 году, в Лионе, некий портной устроил в подвале у себя гильотину с зеркалом, чтоб видеть, как нож ее отрежет голову ему. Он это видел, как заключили доктора. В 94 Кромюлин, студент Новороссийского университета, снял с койки матрас, поставил под койку три зажженных свечи и решал сложное математическое вычисление, в то время, как огонь жег ему спинные позвонки и жарил мозг в них. Через 27 минут он уже не мог решать вычисление, а затем — умер. Фактов такого порядка немало, но они, на мой взгляд, имеют характер «исследовательский», как бы пародируют «научное любопытство». Случая, подобного есенинскому, — не помню. Нет ничего легче, как убить себя «сразу», вовсе не трудно уморить себя голодом, но уничтожить себя так, как это, по Вашим словам, сделано Есениным, — потребна туго натянутая и несокрушимая воля».

Это слова знатока проблемы суицида, говорящие о том, что вопрос о добровольном уходе из жизни сильно волновал Горького, как один из центральных вопросов вообще. Еще не зная философии Фридриха Ницше, он в раннем творчестве испытывал человека на прочность по ницшеанскому принципу: «Если жизнь тебе не удалась, может быть, тебе удастся смерть?» Но сам Горький, даже ранний, знал наверняка: ему смерть как раз не удалась. Так, может быть, возможно, спрашивал он себя, все-таки удастся жизнь?

Гадкий утенок

«В декабре я решил убить себя... Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной» («Мои университеты»).

Так у Горького. Можно подумать, что имеется в виду револьвер с барабаном, то есть собственно револьвер, личное оружие для самообороны. Гражданское население России при существовавшей свободной продаже оружия пользовалось различными русскими и иностранными системами револьверов: бульдог, велодог, стрелец, кольт и др. Судя по описанию самоубийства в «Случае из жизни Макара», Пешков купил на базаре наиболее дешевый револьвер так называемого одинарного действия, когда собачку каждый раз приходилось взводить заново и перемещать барабан перед тем, как спустить курок. Первый раз револьвер щелкнул впустую. Это можно объяснить тем, что револьверы имели обычно отделения для 5—7 патронов, следовательно, как минимум, одно из них пустовало. Таким образом, Макар не просто стрелялся, но еще и играл в «русскую рулетку». В рассказе «Вечер у Шамова» из цикла «По Руси» Горький дает объяснение, почему его оружием стал «револьвер барабанщика»: «такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков». Тем самым он еще раз подчеркнул шутовской характер своего поступка.

В позднем рассказе «Случай из жизни Макара» дается простое объяснение попытки самоубийства — из-за неудачной влюбленности. Алеша Пешков был влюблен сразу в двоих: Марию Деренкову и приказчицу булочной. В рассказе приказчица появляется, чтобы подразнить несчастного накануне смерти.

«Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

— Вы что делаете?

— Пишу.

— Стихи?

— Нет.

— А что?

Макар тряхнул головой и неожиданно для себя сказал:

— Записку о своей смерти. И не могу написать...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другою войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампы, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

— Вы лучше почистите мне высокие ботинки — завтра Стрельский играет Гамлета, я иду смотреть, — почистите?

— Нет, — сказал Макар, вздохнув и гася надежду».

Имя Гамлета звучит здесь почти издевательски и, конечно, не случайно.

По-видимому, с девушками у Пешкова обстояли дела не лучшим образом. И не только потому, что, философ по натуре своей, он смущал их своим чересчур «умственным» отношением к жизни. Любопытно, что в Самаре нам является совсем иной человек — веселый, заводной, душа компании. Но еще в Тифлисе, вспоминает С.А.Вартаньянц, Пешков «чувствовал себя неловко в пестроте единиц, именуемых людьми». «Общество женщин его еще больше стесняло; среди них он больше молчал, а если и говорил, то очень мало, отрывисто».

С женским полом у Алексея Пешкова определено были серьезные сложности. Если верить рассказу «Однажды осенью», тоже относящемуся к «казанскому циклу», первый опыт половой любви Алеша получил от проститутки под перевернутой лодкой на берегу реки. Застигнутые ливнем, продрогшие, они согревали друг друга, ну и... Рассказ очень пронзительный и отражает именно лучшие стороны творчества Горького: жажду человеческой теплоты, подлинной, а не продажной любви, «высокое» отношение даже к падшей женщине.

С какой болью Горький описывал, как отчим бил его мать! Потом это аукнется в повести «В людях», где Алеша с ужасом наблюдает, как пьяный казак бьет, а затем фактически насилует гулящую бабенку в Нижнем Новгороде, на Откосе. Любопытно, что подросток последовал за этой парой против своей воли. Он словно искал этой сцены, она манила его.

«Я ушел вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к Откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

— Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошел за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели Откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

— Ой, да за что же это?

Я тоже испугался, подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатались вниз, по траве Откоса, черной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

— Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз, — зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, — я различаю женщину — она идет на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи; она плачет, стирая слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

— Господи — кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, — мне вспоминаются слова бабушкиной сестры: «Баба — сила, Ева самого Бога обманула...»

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?»

Слово «грязь» повторено четыре раза.

Упоминание матери не случайно. Если в «Детстве» описан случай, как пьяный отчим бьет Варвару, то в «Изложении фактов и дум...» описывается, как мать ночью привела в их дом любовника и проснувшийся мальчик Алеша видел его и даже познакомился с ним. Наутро мать сказала ему, что это был сон и что о нем никому не надо говорить. Потом Горький обыгрывает этот сюжет в рассказе «Сон Коли». Не станем делать из этого далеко идущие выводы. Оставим их для фрейдистов от литературы, которые живо обнаружат здесь пресловутый эдипов комплекс. Но очевидно одно: у юного Пешкова было трепетное, возвышенное отношение к любви и болезненный интерес к сексу, который неизменно представлялся ему «грязным».

Например, уже цитированный отрывок о сексе пекаря в пекарне А.С.Деренкова с крестницей городского Никифорыча имеет свое продолжение, когда жена самого Никифорыча нахально соблазняет Алексея чуть ли не на глазах у супруга.

Биограф Илья Александрович Груздев разыскал в дореволюционной «Босяцкой газете» (выходила в России и такая!) воспоминания о жизни Пешкова в казанской «Марусовке», ночлежном доме, куда, после бегства от гостеприимного Евреинова, его привел революционер Гурий Плетнев.

КАК ЖИЛ МАКСИМ ГОРЬКИЙ (по устному рассказу И. Владыкина, хозяина ночлежки, где жил Горький).

«... Да я даже и не знал, что Горький Максим и Пешков — одна личность. Увидел его портрет в магазине-то, в окне, и дыть присел: «Алеха, — думаю, — брат — ого-го-го! Да какими же путями...»

Вы спрашиваете, как жил-то Алексей. Удивительно. Помню вот, словно надясь было. А ведь прошло годов много... Это вот приходит раз длинный и лохматый верзила.

— Пусти, — кричит, — дядя Ван, в ночлежку!.. Пустил.

Понравился верзила мне сразу, хоша больно он был свирепый во взгляде.

А жил он у меня не то два, не то один месяц.

Ну, значит, писал он. То ись я думал, что он того, божественное что, а он просто так.

Другой раз скучища, а он сидит на табурете у стола, прижмется грудью, строчит и сопит, индо другой раз зубами скрипнет.

— Ах, — говорит, — и паскуды же это все люди.

Чудной был. А так добрый, другой раз, когда зашибет где, всем даст, кто попросит...

А вот раз девку ошпарили, тогда он долго писал что-то, а потом все порвал, страшно осерчал на что-то. Умственный был парень. А часто вот загрустит, заляжет спать, а сам не спит и все лоб чешет.

— Смотри, — говорю, — мозоль натрешь...

А он мне:

— Ладно, дядя Ван, у меня и так мозоль в мозгу. Это от разных мыслей, значит...

Потеха. Какие там мозоли.

А расстались с ним хорошо.

— Пойду, — кричит, — дядя Ван, и где лучше, к моей земле.

— К какой земле?

— А туда, где паскудства нет.

— Везде одно, — махаю я рукой. — А коли охота идти — скатертью дорога».

Груздев был биограф тактичный, и если он послал этот рассказ Горькому даже в качестве «казуса», значит, он чем-то привлек его внимание. Попробуем догадаться — чем.

Во-первых, Казань была для Груздева наиболее темным пятном в биографии Алеша Пешкова. Сопоставив (уже по «Детству») реальные факты с их художественной трактовкой в трилогии, Груздев понял, что трактовки эти надо проверять и перепроверять. Он и делал это путем переписки с Горьким,

личного общения с ним и собственных разысканий. Интересно, что Груздев, много общавшийся с Горьким в конце его жизни, не оставил воспоминаний.

Рассказ из «Босаяцкой газеты» некоего Владыкина, которого Горький в ответном письме к Груздеву не признал (вообще отнесся к рассказу холодно, но не стал его полностью опровергать), легко принять за мистификацию. Сцена с девушкой, которую ошпарили кипятком, могла быть взята из пьесы «На дне». Слова о людском «паскудстве» могли идти и от Коновалова, и от Аристиды Кувалды, и от сапожника Орлова, и от других героев раннего М.Горького.

Но вот что настораживает (возможно, это и Груздева остановило). Откуда знал некий Владыкин (допустим, мифический), что молодого Пешкова все принимали сперва за расстригу либо за божьего странника? Откуда Владыкин знал о привычке Алексея уничтожать свои стихи? А слово «умственный»? Как это точно сказано о Пешкове казанского периода! И наконец, откуда мог знать Владыкин, если он выдумал знакомство с Алешей Пешковым, о привычке его не отказывать в деньгах тем, кто просил, которую он унаследовал от бабушки Акулины? Ведь в 1907 году, когда в «Босаяцкой газете» вышел рассказ Владыкина, «Детство» еще не было написано. И еще не было воспоминаний А.А.Смирнова, сотрудника «Самарской газеты», о том, как Горький, сам нуждаясь, помогал деньгами нуждающимся.

Пешков был переростком и физически, и интеллектуально. Он ворочал многопудовые мешки с мукой, а затем читал «Афоризмы и максимы» Артура Шопенгауэра прямо здесь, на мешках. Он не мог грамотно писать до тридцати лет, но поражал своими знаниями (а главное, пониманием различных сложных областей знания) и особым литературным вкусом А.С.Деренкова, студентов университета и Духовной академии и культурнейшего нижегородского адвоката А.И.Ланина, у которого потом служил письмоводителем.

Но пока он пишет предсмертную записку, о которой есть смысл поговорить обстоятельно. Вот она: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А.Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти. А.Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить».

Горький и черт

Если сравнить рассказ о попытке самоубийства в «Случае из жизни Макара» и повести «Мои университеты» с известными реальными фактами этого дела, возникает несколько нестыковок. В «Моих университетах» попытка Алексея покончить с собой подается как досадное недоразумение, как «конфуз». В «Случае из жизни Макара» все очень серьезно и подробно описывается. Каждой мысли, каждому движению Макара автор уделяет пристальное внимание. Как будто его самого ужасно занимает опыт самоубийства и он смотрит на самого себя со стороны, и даже имя себе меняет, чтобы облегчить себе этот сторонний взгляд. В то же время Макар вовсе не выдуманный персонаж, это Алеша Пешков — слишком многие обстоятельства мотивов поступка и поведения Макара и Алексея совпадают.

Вот, приняв решение убить себя, Макар начинает действовать. Он покупает на базаре револьвер, «за три рубля тяжелый тульский», где «в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью». (В «Моих университетах» пуль было четыре.) Ночью Макар тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля, внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая все спокойно и старательно. Этих подробностей нет в «Моих университетах».

Пешков тщательно выправил свои документы. Значит, он заботился о том, чтобы его хоронили не как анонимного самоубийцу. Он был лицо в Казани уже довольно известное. Ему не было все равно, что будут думать и говорить о нем после самоубийства. Случай с Латышевой, мельком описанный в «Моих университетах», в реальности занимал его, возможно, куда больше.

А вот как действовал Макар в «Случае из жизни...»: «...заранее высмотрел себе место на высоком

берегу реки, за оградой монастыря: там под гору сваливали снег, он рассчитал, что если встать спиной к обрыву и выстрелить в грудь, — скатишься вниз и, засыпанный снегом, зарытый в нем, незаметно пролежишь до весны, когда вскрыется река и вынесет труп на Волгу. Ему нравился этот план, почему-то очень хотелось, чтобы люди возможно дольше не находили и не трогали его труп».

Гражданская жена Горького О.Ю.Каменская свидетельствовала в своих мемуарах, что о своем покушении на самоубийство Горький рассказал в «Случае...» «буквально так», как он рассказывал ей за много лет до создания рассказа. Тем более любопытны нестыковки.

Сомневаться в том, что он всерьез хотел убить себя, а не «играл», не приходится. Только чудом пуля миновала сердце, пробила легкое и застряла в спине. Опять же чудом этой ночью поблизости оказался сторож-татарин, который вызвал полицию, и неудачливого самоубийцу доставили в больницу. Этот сторож крайне интересный персонаж «Случая из жизни...». Он и спасает юношу, и делает ему духовное внушение: «— Прости, брат...

— Молчай... Бульна убил?

— Больно...

— Сачем? Алла велит эта делать?»

Пешков стрелялся возле монастырских стен, однако не ему, а простому татарину пришло в голову, что самоубийство — это грех.

Дальнейшие физиологические подробности не очень интересны. «Стрельца» доставили в земскую больницу, где ему была сделана операция. На девятый день его выписали. В «скорбном листе» мужского хирургического отделения была сделана запись: «Алексей Максимов Пешков, возраст 19, русский, цеховой нижегородский, занятие — булочник, грамотный, холост; местожительство — по Бассейной улице в доме Степанова... Время поступления в больницу 12 декабря 1887 года в 8 1/2 часов вечера. Болезнь — огнестрельная рана в грудь. Входное отверстие на поперечный палец ниже левого соска, круглой формы, в окружности раны кожа обожжена. На задней поверхности груди на три поперечных пальца ниже нижнего угла лопатки в толще кожи прощупывается пуля. Пуля вырезана. На рану наложена антисептическая повязка. Выписан 21 декабря 1887 года, выздоровел... Ординатор Ив.Плюшков. Старший врач д-р Малиновский...»

То, что кожа вокруг раны была обожжена, совпадает с тем, что описывается в «Случае...». Макар, лежа на снегу, чувствовал запах горелого. По-видимому, от выстрела в упор загорелось пальто, и если бы не сторож-татарин, Макар, он же Пешков, имел равные возможности: либо замерзнуть, либо сгореть. Как говорится, слава Аллаху!

Но вот то, что произошло с Пешковым после больницы, требует самого пристального внимания: Алексея Пешкова на семь лет (по другим сведениям — на четыре года) отлучили от церкви. Причем он сознательно пошел на это, хотя и мог бы этого отлучения избежать.

Был ли Пешков-Горький верующим? Очень трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, он не был атеистом в буквальном смысле, хотя бы потому, что вопрос о Боге страшно его волновал и был едва ли не главным «пунктом» его протестного отношения к миру. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...» Эта строка из несохранившейся поэмы молодого Горького «Песнь старого дуба» говорит о том, что его протест распространялся на весь мир как Божье творение.

Но и верующим в Бога Горький себя не считал. Зато можно точно и без тени сомнения сказать: у Пешкова-Горького были какие-то особенные, очень интимные отношения с чертом.

Начнем с мелочей. Много мемуаристов свидетельствуют: на протяжении всей своей жизни Горький постоянно чертыхался. Понятие «черт» имело у него множество оттенков. Но чаще это было слово ласкательное. «Черти лысые», «черти драповые», «черти вы эдакие», «черт знает как здорово» — вот обычный способ употребления слова «черт». По церковным канонам, это само по себе грех. Но, конечно, мало смысла обсуждать Горького по церковным канонам.

Гораздо любопытней посмотреть на пристальный и постоянный интерес Пешкова-Горького к нечистой силе вообще. Языческое влияние бабушки (по словам деда, «ведьмы») в этом смысле оказало на него гораздо большее влияние, чем суровое православие дедушки. Горький не был христианином и уж

точно не был православным. Но не был он и язычником в точном значении этого слова. Просто все языческое неизменно притягивало его внимание. Впрочем, это характерно для эпохи «рубежа веков» вообще.

Вот только один эпизод из последних лет его жизни, недавно обнаруженный. С мая 1928 года в семью Горького, который с этого времени ежегодно наезжал из Сорренто в СССР, а затем и поселился на родине окончательно, стала вхожа удивительно красивая, с роскошными густыми длинными волосами и раскосыми глазами, студентка Коммунистического университета трудящихся Востока (сокращенно КУТВ) Алма Кусургашева. Алма происходила из малого алтайского народа — шорцев, ее предки были шаманами.

«Она родилась в год Огненной лошади, — пишет о ней Айна Петровна Погожева, дочь секретаря Горького П.П.Крючкова и Алмы Кусургашевой, — и обладала всеми чертами этого необузданного животного, от дикой красоты и порывистости до косящего в ярости глаза».

Стареющего Горького чрезвычайно увлекла Алма, но скорее не столько как студентка Коммунистического университета, сколько как девушка неопишуемой красоты и как представитель древнего языческого народа. Он много спрашивал ее о шаманизме и проявлял в этом немалую осведомленность.

В последний год жизни Горького Алма гостила у него в Крыму, в Тессели. Рано утром она с «тозовкой» вышла в парк, чтобы подстрелить ворона. У девушки был значок «Ворошиловского стрелка», но ей не верили. Неожиданно возле нее оказался Алексей Максимович. Он взял ее под локоть и сказал:

«— Не надо этого ворона убивать. Он летал над дачей в год смерти Максима (погибший сын Горького. — П.Б.)».

Когда Кусургашева умирала в возрасте девяноста четырех лет, она была обездвижена. Накануне смерти она, по свидетельству дочери, «сверхъестественным усилием попыталась приподняться, протянула руки и, обращаясь в пространство, четко и раздельно произнесла: "А-лек-сей Мак-си-мо-вич!"» Это были ее последние слова.

Воспоминаний о Горьком много, и не всем им можно верить. Но воспоминания Кусургашевой очень выпукло отражают атмосферу последних лет жизни Горького, насыщенную разной потусторонщиной.

Два ранних рассказа Горького называются «О чёрте» и «Еще о чёрте», в них черт является писателю. Рассказы носят скорее фельетонный характер, но названия их говорят сами за себя. Как и имя главного персонажа пьесы «На дне» Сатина (Сатана). Как и то, что в предсмертной записке Пешков просил его «взрезать» и обнаружить там черта. А может, одного из многих чертей?

В одном из лучших своих произведений, книге «Заметки из дневника», Горький рассказывает (или выдумывает) о встрече с неким колдуном-горбуном, который представлял себе весь мир состоящим из чертей — как из атомов.

«— Да, да, черти — не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

— Вы — серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

«Шутка?» — подумал я. Но если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору — «дурак!», изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да, да! Это — черти

неосмысленного буйства...

Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда бы он ни шел... куда бы ни шел...

Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумства. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил все тише и так, как будто затверженный урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственные крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они, должно быть, на колокольных, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

Но еще страшнее черти лунных ночей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно-голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей, я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там, навсегда неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осужден смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И неподвижность. Пустота...

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьезно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошел прочь!»

Насколько правдива эта история? В цикле очерков «По Руси», написанном за десять с лишним лет до «Заметок из дневника», Горький не вспомнил об этом горбуне-колдуне, хотя описывал тот же период своей скитальческой жизни. Память Горького вообще была прихотливой. Зато примерно в это же время, когда писались очерки «По Руси», то есть в каприйский период, в повести «Детство» Горький забавно предвосхитил знаменитого современного режиссера Стивена Спилберга с его гремлинами. Эти симпатичные чертенята появляются в рассказе бабушки Акулины, которая «нередко видала чертей, во множестве и в одиночку».

«— Иду как-то Великом постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь.

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я — к двери, — нет ходу; увязла среди бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и октиться не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапках все; кружатся, озоруют, зубенки мышинные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики поросычьи, — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя, — свеча еле горит, корыто простыло,

стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!»

Бабушка Акулина, с ее «большими светящимися» «зелеными» глазами, вообще подозрительно часто встречалась с нечистой силой, и хотя прогоняла ее самой правильной для подобных случаев молитвой, создается впечатление, что дед недаром в сердцах называл ее ведьмой. Вот и еще случай ее встречи с нечистым:

«— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти, свистят, кричат, колпаками машут, — да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела».

У многих русских писателей были свои черти. Свои черти у Пушкина: это и водяные, обманутые Балдой, и зимние метельные бесы, и настоящий Мефистофель, соблазняющий Фауста. У Гоголя, по мнению Набокова, черт всегда эдакий «немец», «иностранец», вертлявый, смазливый и вопиюще контрастирующий с широтой славянской натуры. У Достоевского черт — философ, «умник». Какой черт был у Горького?

Прежде всего, он многолик. Это и черт из бабушкиных «быличек», то есть черт в народном представлении. Скорее всего, именно этого черта поминал к месту и не к месту Горький, когда «чертыхался». Это и черт-«умник», который сидел в Алексее в Казани и довел его до попытки наложить на себя руки. Упоминание в предсмертной записке имени Гейне придает этому черту легкий «немецкий», «иностранный» характер.

Черти мерещились Горькому в последние годы жизни. Вяч.Вс.Иванов, который тогда был мальчиком, вспоминает, что однажды послал с родителями Горькому свой рисунок: собачка на цепи. Горький принял ее за черта со связкой бубликов, и ему очень понравился рисунок Иванова.

Впрочем, есть и другая версия отношений Горького с нечистой силой. Принадлежит она писателю-эмигранту И.Д.Сургучеву (1881 — 1956), который знал Горького в каприйский период, жил у него на Капри, но после революции изменил свое хорошее отношение к нему.

Сургучев прямо считал, что Горький продал свою душу дьяволу.

«Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью, — писал он в 1955 году в очерке «Горький и дьявол» в газете «Возрождение» (Париж), — но я все-таки теперь скажу, что путь Горького был страшен. Как Христа в пустыне, дьявол возвел его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал:

— Поклонись, и я все дам тебе.

И Горький поклонился.

И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. У него было всё: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь».

Думается, Сургучев не понял, почему Горький (по его мнению, «средний» писатель) имел такой огромный успех и почему он и после смерти продолжает будоражить людские умы.

Здесь Сургучева, прозаика неплохого, но как раз среднего по масштабам, можно понять. Этот же вопрос терзал даже такого гения мысли, как Лев Толстой, о чем мы подробнее расскажем позже. Но за всем тем он, как и Чехов, чувствовал, что в мире появилась какая-то «неизвестная величина» — Горький. Если это и «недоразумение», ошибка Бога или природы, то колоссального масштаба.

Наконец, версия Сургучева не выдерживает никакой критики с точки зрения религиозной. В его изображении Горький — это антихрист. Именно антихрист, подменный Христос, должен явиться в мир с помощью дьявола.

К тому времени, когда Сургучев писал очерк, тема антихриста была глубоко разработана

Достоевским, Леонтьевым и особенно Вл.Соловьевым. Владимир Соловьев в своей «Краткой повести об Антихристе» гениально подытожил это направление религиозной мысли. Антихрист — это «лучший из людей». В этом весь парадокс этой страшной фигуры. Он не просто умнее и талантливее всех, но и всех нравственнее, всех совестливее. Именно поэтому за ним идут люди всего мира, не догадываясь, что за «лучшим из людей» стоит «враг человеческий». Благодаря антихристу на земле якобы прекращаются войны и религиозные распри.

Горький никогда не был «лучшим из людей». Слишком много было у него грехов — как врагов и завистников. Творчество Горького не приводит мысль к общему знаменателю, а, напротив, взрывает ее, раздражает. Сперва тотальным отрицанием мира, «людей», а затем идеализмом в виде религии социализма — «богостроительства».

Конец Горького — это не поражение «лучшего из людей», а последние дни и часы несчастного, запутавшегося большого человека с грешной, но щедрой душой. Такой, какая была у его последнего любимого героя — Егора Булычова. Откуда здесь антихрист?

Короче говоря, версия Сургучева, при всей своей неожиданности и будто бы завершенности, представляется слишком «черно-белой», а Горький был фигурой «пестрой».

Горький и церковь

В казанском музее А. М. Горького на стене под стеклом висит документ. Правда, это не оригинал, а копия. Все оригиналы важных документов, связанных с именем Горького, хранятся в Архиве Горького в Институте мировой литературы в Москве. Но читать этот документ интереснее в Казани, потому что именно здесь произошло описанное в нем событие. Это протокол за № 427 заседания Казанской духовной консистории о «предании епитимий цехового Александра (переправлено на Алексея. — П.Б.) Максимова Пешкова за покушение на самоубийство».

«1887 года декабря 31 дня. По указу Его Императорского Величества Казанская Духовная Консistorия в следующем составе: члены Консistorии: протоиерей Богородицкого Собора В.Братолюбов, протоиерей Вознесенской церкви Ф.Васильев, священник Богоявленской церкви А.Скворцов и священник Николонизской церкви Н.Варушкин при исполняющем должность секретаря А.Звереве слушали:

1) Присланный при отношении пристава 3 части г. Казани от 16 сего декабря за № 4868-м акт дознания о покушении на самоубийство Нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по Бассейной улице в доме Степанова. Из акта видно, что Пешков, с целью лишить себя жизни, выстрелил себе в бок из револьвера и для подания медицинской помощи отправлен в земскую больницу, где при нем была найдена написанная им, Пешковым, записка следующего содержания: (полностью приводится цитированная выше записка. — П.Б.)

2) Отношение смотрителя Казанских земских заведений общественного призрения, от 30 сего декабря за № 723, коим он уведомил Консistorию, на отношение ее от 24 декабря за № 9946, что цеховой Алексей Максимов Пешков из больницы выписан 21 декабря, почти здоровым и ходит в больницу на перевязку. Во время его пребывания в больнице никакого психического расстройства замечать не было.

Закон: 14 правило Святителя Тимофея, архиепископа Александрийского. Приказали: цехового Алексея Максимова Пешкова за покушение на самоубийство на основании 14 правил Святителя Тимофея, архиепископа Александрийского, предать приватному суду его приходского священника, с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее дорожить ею, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания, о чем к исполнению и послан указ (на полях пометка: «исполнено 15 января № 269»). — П.Б.) благочинному первой половины Казанских городских церквей, протоиерею Петропавловского собора Петру Малову».

Протокол подписан 13 января 1888 года. С этого момента Алексей Пешков вступает с церковью в бурные отношения, которые, без сомнения, оказали влияние на всю его жизнь. Но прежде задумаемся о самом этом документе. На современный взгляд, он производит туманное впечатление. Какой-то осколок непонятной цивилизации. В самом деле: «цеховой Алексей Максимов Пешков», да еще и не местный, да

еще и не своим прямым делом занимающийся, по каким-то причинам вздумал себя застрелить. Ну и что такого?! Одним «самострельщиком» больше, одним меньше. Сколько народу ежедневно приезжало в Казань и уезжало из нее. Сколько людей умирали, и сколько из них неестественной смертью. Пинегин в книге «Казань в ее прошлом и настоящем» приводит печальную статистику самоубийств в Казани и губернии в целом. На 100 самоубийств в губернии в целом 34,5 приходилось на Казань. Это и понятно: город, много пьяниц, босяков, наконец — студентов и вообще «умственной» молодежи, вроде Латышевой и Пешкова. В период с 1882 по 1888 год, пишет Пинегин, в Казани было: самоубийц — мужчин 77, женщин 54; умерших от пьянства — мужчин 120, женщин 28. Мужчины чаще «опивались», чем кончали с собой (быть может, из-за того же пьянства), женщины — наоборот. Пинегин с грустью называет это «темной стороной жизни Казани».

Но при этом только номерных документов по поводу поступка Алеши Пешкова было подписано четыре! Это те, о которых мы знаем. Смотритель земских заведений общественного призрения по обязанности доносит о Пешкове в духовную консисторию. Тотчас собирается синклит из двух протоиереев и просто иереев, двух настоятелей и двух священников. Они выносят постановление о предании юноши епитимий. Непосредственным вразумлением должен — и снова по обязанности — заняться священник его прихода по месту жительства. Если бы земский смотритель со слов врачей сообщил, что Пешков пребывает в психическом расстройстве, дело бы усложнилось. Самоубийство (или попытка) в состоянии помешательства могло рассматриваться не как духовное преступление, а как несчастный случай. Но Пешков в записке как будто специально указал, что он в «здравом уме».

Можно по-разному отнестись к этому документу. Понятно, что это — Система. Закон. Правило Святого Тимофея, архиепископа Александрийского, о самоубийцах было принято еще в четвертом веке и неуклонно исполнялось православной церковью. Самоубийц не хоронили на православных кладбищах, а на выживших накладывали епитимью. Епитимья не наказание, а воспитание. Она могла выражаться в более продолжительных молитвах, в усиленном посте, в паломничестве... Форму епитимьи и продолжительность ее назначал духовник или приходской священник. В данном случае Петр Малов.

Можно воскликнуть: негодяи! сатрапы! духовные инквизиторы! бедный юноша запутался сам в себе, чуть не убил себя, а его еще и подвергают суду! лезут в душу с бюрократическими законами! Именно так, без сомнения, воспринимала обязательные указы духовной консистории радикально настроенная казанская молодежь. Именно так воспринял ее и виновник этого дела.

Получив от полиции постановление консистории, Алеша отказался идти на покаяние к Малову. Тогда Пешкову пригрозили привести его силой, но в результате привели уже не в приходскую церковь, а в Феодоровский монастырь. Это было сделано ввиду особого случая. Ведь духовный преступник упорствовал в своей гордыне, а кроме того, нанес оскорбление церкви.

Сам Горький в письме к И.А.Груздеву вспоминал так:

«Постановление суда Духовной консистории было сообщено мне через полицию, и был указан день, час, когда я должен явиться к протоиерею Малову для того, чтоб выслушать благопоучения, кои он мне благопожелает сделать. Я сказал околоточному надзирателю, что к Малову не пойду, и получил в ответ: «Приведем на веревочке». Эта угроза несколько рассердила меня, и, будучи в ту пору настроен саркастически, я написал и послал Малову почтой стихи, которые начинались как-то так:

Попу ли рассуждать о пуле?

Через несколько дней студент Дух<овной> академии диакон Карцев сообщил мне, что протопоп стихи мои получил, рассердился и направил их в Дух<овную> консисторию и что, вероятно, мне «попадет за них». Но — не попало, и лишь весной, в селе Красновидове, урядник предъявил мне бумагу Дух<овной> консистории, в которой значилось, что я отлучен от церкви на семь лет».

Это письмо написано не ранее 1929 года. Возможно, Горький еще не знал, что в 1928 году в Казани вышла книга местного краеведа Н.Ф.Калинина «Горький в Казани. Опыт литературно-биографической экскурсии». Но в любом случае, в 1934 году Горький уже знал об этой книге, читал ее и потому описал

свое отлучение от церкви в письме к тому же Груздеву гораздо более подробно.

«Правильнее, пожалуй, будет сказать, что меня не судили, а только допрашивали, и было это не <в> Духовной консистории (как написал И.А.Груздев. — П.Б), а в Феодоровском монастыре. Допрашивал иеромонах, «белый» священник, а третий — Гусев, проф<ессор> Казанск<ой> дух<овной> академии. Он молчал, иеромонах сердился, поп уговаривал. Я заявил, чтоб оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды».

Только после всех этих фактов становится понятным довольно темный момент в биографии юного Пешкова, его «отлучение» от церкви. Ведь как громко звучит: отлучение от церкви! На семь лет! Впрочем, в том же письме к Груздеву Горький пишет: «...в 96 г. протоиерей Самар<ского> собора Лаврский, — «друг Добролюбова», называл он себя, — сообщил мне, пред тем, как венчать с Е<катериной> П<авловной>, что срок отлучения давно истек, ибо отлучен я был на четыре года». Но все равно. Отлучен! Раньше Толстого!

Илья Груздев в книге «Горький и его время» иронизирует над профессором Духовной академии Гусевым: «Какого рода был этот профессор, можно судить по тем брошюрам, которыми он наводнял Казань: «Необходимость внешнего Богопочтения», «О клятве и присяге», «Религиозность — опора нравственности» и т. п.».

Александр Федорович Гусев родился в 1842 году. В то время, когда Пешков жил в Казани, он служил профессором апологетики христианства в Духовной академии и был автором множества книг и статей: «Дж.Ст.Милль как моралист» (1875 г.), «О Конте» (1875 г.), «Христианство в его отношении к философии и науке» (1885 г.), «Необходимость внешнего благочестия (против Л.Н.Толстого)» (1890 г.), «Л.Н.Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» (1886—1890 гг.), «Нравственный идеал буддизма в отношении к христианству» (1874 г.), «Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный предмет науки (Разбор теории Бокля)» (1874 г.), «Зависимость морали от религиозной или философской метафизики» (1886 г.) и др.

Из этого внушительного списка ясно, что цехового Пешкова, сироту без определенного места жительства, нахамившего (увы, это так!) в не очень остроумной форме пожилому протоиерею, настоятелю «половины казанских церквей», «допрашивал» не самый последний в городе человек. Младший брат Гусева, Федор Федорович Гусев, читал курс философии в Киевской духовной академии. Его сочинения — «Изложение и критический разбор нравственного учения Шопенгауэра», «Теистическая тенденция в психологии Фихте младшего и Ульрици» — тоже не оставляют сомнения в эрудиции их автора.

Что касается работы А.Ф.Гусева о «внешнем благочестии», направленной против ереси Л.Н.Толстого, это действительно не лучшее из его сочинений. Однако необходимость «наводнять» такими брошюрами Казань, очевидно, была. И тому свидетель сам Горький. Именно он в «Моих университетах» вспоминает о появлении в Казани «толстовца», который произвел на Пешкова очень плохое впечатление.

Насколько серьезно было противостояние церкви и Толстого, можно судить по дневниковым записям отца Иоанна Кронштадтского:

«6 сентября. Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостью своею посмрадивший всю землю. Аминь».

Этот дневник Иоанна Кронштадтского не был предназначен для печати и впервые опубликован недавно. Запись от 6 сентября (накануне дня рождения и юбилея Толстого, которому 8 сентября 1908 года должно было исполниться восемьдесят лет, это событие широко отмечали в России и во всем мире) сделана в 9 часов вечера. По сути, это вечерняя молитва, где отец Иоанн просит Бога о скорейшей кончине другого человека. Это кажется невероятным, но до такой степени новая вера Толстого «взрывала» церковь.

В Феодоровском монастыре Пешкова не допрашивали, а уговаривали раскаяться, принести извинения оскорбленному протоиерею и принять епитимью. Алексей упорствовал, тем самым загоня всех в тупик. В сущности, за написанные стихи он мог подлежать и гражданскому наказанию, вплоть до телесного. Тем более что Пешков уже был под подозрением полиции.

Угроза повеситься в монастырской ограде стала, по-видимому, последней каплей в чаше терпения

духовных лиц. Та мера наказания, которую избрали они, для Алексея была пустяком. На полученную уже в Красновидове бумагу об «отлучении» Пешков откликнулся опять же ехидными стихами:

Только я было избавился от бед,
Как от церкви отлучили на семь лет!
Отлучение, положим, не беда,
Ну, а все-таки обидно, господа!
В лоне церкви много всякого зверья,
Почему же оказался лишним я?

Представьте себе огромный полиэтнический город, в котором невероятно сильна православная духовная миссия, потому что это город в прошлом татарский, мусульманский. Огромное множество церквей, академия, семинария, консистория. И вот в этой массе духовных преступников — убийц, воров, прелюбодеев, вероотступников — точно Божий глаз обращается на юного Пешкова. Какая вокруг него свистопляска! Газета «Волжский вестник» помещает об этом сообщение:

«Покушение на самоубийство. 12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков 32 лет (газетчик переврал, Алексею было лишь 19 лет. — П.Б.) выстрелил из револьвера в левый бок» и т.д.

Задействованы журналисты, доктора, земский смотритель, протоиереи, священники, профессор Духовной академии, монахи. А до этого еще и сторож-татарин, пристав, околоточный. Секретари, написавшие все эти бумаги.

До какой же степени ценилась единичная жизнь и душа человеческая в России в эпоху «свинцовых мерзостей жизни»? Насколько внимательной к единичной личности была эта Система. Да, громоздкая, да, грубоватая. Да, не учитывавшая, что только что отошедшего от шока молодого человека нельзя вести в церковь «на веревочке». Но это была Система, в которой каждый человек был ценен и за каждым наблюдало «государево око».

Сегодня самоубийцу отвезут в морг или в больницу, и никто в городе об этом не узнает.

Структуру имперской Системы простодушно разъяснил Пешкову городской Никифорыч, позвавший Алешу «в гости»:

«— Незримая нить — как бы паутинка — исходит из сердца его императорского величества государя-императора Александра Третьего и прочая, — проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево Царство. А полячишки, жида и русские подкуплены хитрой английской королевой, стараются эту нить порвать, где можно, будто бы они — за народ!»

В Казани Алексей почувствовал на себе сильную руку этой империи, которая приказывала ему (и всей интеллигенции) «не озорничать». Это простодушно выразила деревенская девочка в романе «Жизнь Клима Самгина»: «Зачем вы озорничаете?»

Алеша Пешков после попытки самоубийства именно «озорничал». Скорее всего, в Феодоровском монастыре церковь искала последней возможности контакта с ним, и как знать, окажись на его пути другие священники, сложились иначе некоторые обстоятельства, и из Пешкова выскочил бы его «черт».

Возможно, он даже стал бы монахом. Хотя навряд ли.

Из «Практического руководства при отправлении приходских треб» священника отца Н.Сильченкова читаем «Правило о епитимий»: «Все люди светского звания, присуждаемые к церковному покаянию, проходят сие покаяние под надзором духовных их отцов, исключая тех епитимийцев, прохождение которыми епитимий на месте оказалось безуспешным и которые посему подлежат заключению в монастыри».

Вот о чем Пешкова «упрашивали» в монастыре. Понести монастырское покаяние. Искупить двойной грех: попытку наложения на себя рук и неприличный поступок в отношении священника. Вот почему он

пригрозил им, что повесится «в ограде монастыря». Если они его запрут.

Пешков отделался малым из возможных наказаний. Скорее всего, его отлучили от церкви (то есть наложили епитимью, состоящую во временном отлучении от причастия Святых Тайн) действительно на четыре года, как сказал ему об этом при его венчании с Е.П.Волжиной самарский батюшка.

Согласно «Правилам о епитимий», это церковное наказание назначается «отступникам от веры, судя по обстоятельствам, побудившим их на то», на срок от четырех лет «до самой смерти». Все гражданские права у Пешкова сохранялись. Через восемь лет, венчаясь в самарском храме с Екатериной Павловной Волжиной, он формально вернулся в лоно православной церкви. И никогда потом церковь не отлучала его, как отлучила Толстого — до самой смерти или до раскаяния, ибо великий писатель «явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая» (из «Определения Святейшего Синода от 20—23 февраля 1901 г. № 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом». — П.Б.).

Казалось бы, в сравнении с отлучением Толстого вопрос о временном отлучении (епитимьи) молодого Пешкова маловажный.

Но это не так. В 1888 году будущий великий писатель сделал окончательный выбор. Отныне он жил вне церковных стен. Не «возле церковных стен», как В.В.Розанов, а *вне* их. Это было его самовольное «отлучение» — навсегда. Что это означало в духовном плане? Об этом пишет священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий, в книге «Об анафеме, или церковном отлучении»: «Внутренняя сущность последнего (отлучения. — П.Б.) состоит в том, что оно подвергает грешника, и без того разобщенного с Богом, еще большей опасности и к одному его несчастью прилагает новое несчастье. Ибо оно лишает человека той помощи и благодати, которые Церковь предлагает всем своим собратьям. Оно отнимает у него те блага и преимущества, которые приобретены им в Таинстве св.Крещения. Оно совсем отсекает его от церковного организма. Для отлученного чужды и недействительны уже заслуги и ходатайства святых, молитвы и добрые дела верующих... Он исключительно предоставлен самому себе и, лишенный благодатных средств, всегда присущих Церкви, без опоры и помощи, без защиты и обороны, предан во власть лукавого. Таково по своему свойству наказание отлучения, наказание поистине тяжкое и страшное. Будучи наложено на земле, оно не слагается и на небе; начавшись во времени, оно продолжается вечно».

«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — зачем он существует? — он мужественно движется — вперед! И — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба» (Горький. «Человек»).

В 1888 году «человек» Алексей Пешков сделал свой выбор. В пользу одиночества и трагедии. А русская православная церковь лишилась необыкновенно талантливого молодого собрата, будущего знаменитого писателя, «властителя дум» и строителя новой культуры. И в этом была ее драма тоже. Драма раскола старой церкви и новой культуры. Церкви и интеллигенции.

Не об этом ли думал профессор Казанской духовной академии Александр Федорович Гусев, когда во время «допроса» он «молчал»?

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Человек — это переход и гибель.

Ницше. «Так говорил Заратустра»

«В пустыне, увы, не безлюдной»

После Казани Пешков побывал в Красновидове, окрестных деревнях, дрался с мужиками, которые подожгли лавку народника Ромая, затем батрачил у тех же богатых мужиков. Когда батрачить надоело, Пешков через Самару на барже отправился на Каспийское море и работал на рыбном промысле Кабанкулбай. По окончании путины он пешком через Моздокские степи пришел в Царицын. Устроился работать на станции Волжская Грязе-Царицынской железной дороги, затем — сторожем на станции Добринка. Перевелся в Борисоглебск. Еще раз перевелся — на станцию Крутая. Все это время продолжал Пешков пропагандировать и участвовать в кружках самообразования, за что вновь удостоился полицейского наблюдения.

Именно в этот период Пешков проходит искус «толстовства», которым в свое время переболели крупные писатели: Чехов, Бунин, Леонид Андреев и другие. На станции Крутая с телеграфистами Д.С.Юриным, И.В.Ярославцевым и дочерью начальника станции М.З.Басаргиной он решил организовать «земледельческую колонию» и, видимо, как самый настырный, был отправлен к самому Льву Толстому — просить у него кусок земли. Ехал он в основном «зайцем», на тормозных площадках вагонов, а больше шел пешком, оправдывая свою фамилию. Побывал в Донской области, в Тамбовской, в Рязанской. Так и дошел до Москвы.

Он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Но его там не было, он уехал в Москву. Толстого и в Москве, в Хамовниках, не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троице-Сергиеву лавру. Неизвестно, что наговорил жене великого писателя никому не известный в Москве Пешков, но Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя ласково и даже угостила кофеем с булкой, как бы между прочим заметила, что к Льву Николаевичу «шляется» очень много «темных бездельников» и что Россия вообще «изобилует бездельниками».

Пешков расстроился и ушел.

Но прежде не своей рукой (опасаясь слабой грамотности) Алексей написал письмо Толстому. Письмо поражает дремучей провинциальной наивностью. Но в то же время и трогает, ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной скучной и бессмысленной жизни, с жарой, холодом, завыванием вьюги в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями — скуки, от которой хочется повеситься и которая способна сделать из людей грязных, завистливых и беспощадных циников. Вспомните горьковский рассказ «Скуки ради», где именно от скуки, ради развлечения работники станции доводят Арину до самоубийства. А молодые люди одержимы жаждой деятельности. Они хватаются за Толстого как за соломинку. Молодым людям невдомек, что таких, как они, по России великое множество. И все эти люди своими просьбами уже порядком надоели Толстому. А его жене еще больше.

«25 апреля 1889, Москва

Лев Николаевич!

Я был у Вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что Вы хвораете и не можете принять.

Порешил написать Вам письмо. Дело вот в чем: несколько человек, служащих на Г<рязе>-Ц<арицынской> ж<елезной> д<ороге>, — в том числе и пишущий к Вам, — увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством. Но, хотя все мы и получаем жалованье — рублей по 30-ти в месяц, средним числом, — личные наши сбережения ничтожны, и нужно очень долго ждать, когда они возрастут до суммы, необходимой на обзаведение хозяйством.

И вот мы решили прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли.

Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на Ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что Вы не откажете нам дать книги: «Исповедь», «Моя вера» и прочие, не допущенные в продажу.

Мы надеемся, что, какой бы ни показалась Вам наша попытка — достойной ли Вашего внимания и

поддержки или же пустой и сумасбродной, — Вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у Вас время. Если Вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут прийти к Вам. Надеемся на Вашу помощь.

От лиц всех — нижегородский мещанин *Алексей Максимов Пешков*»

Итак, он «всего лишь» просил у Толстого земли и денег на первичное обустройство на его же графской земле. Еще просил, чтобы снабдил их книгами, которые запрещены к распространению и за которые, в частности, графа через несколько лет отлучат от церкви. Наконец, он просил хотя бы ответить им письмом («это немного отнимет у Вас время»), не понимая, что подобных «хотя бы ответов» ждали от писателя слишком многие.

Например, ждала ответа от Льва Толстого гимназисточка из богатой киевской семьи — Лидочка, будущая жена философа Н.А.Бердяева. Ей казалось безнравственным жить в роскоши и процветании, когда страдает народ, и она решила уйти из семьи и пойти учиться на акушерские курсы. Тогда многие девушки рвались на акушерские курсы. Толстой ответил Лидочке, что делать добро можно в своей социальной среде, для этого вовсе не обязательно убегать от родителей. Лидочке этого показалось мало. Она написала графу еще одно письмо, на которое Толстой ничего не ответил.

Когда Пешков послал ему коллективное письмо, Толстой уже задыхался от нашествия «толстовцев». «Толстовские» коммуны стали появляться с 1886 года, и отношение к ним графа было скорее отрицательным. В работе «Так что же нам делать?» он писал: «На вопрос, нужно ли организовывать этот физический труд (труд в буквальном смысле, труд своими руками, который, согласно учению Толстого, единственный оправдывает бытие людей. — *П.Б.*), устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет своей целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собой влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было составлять потому, что человек трудящийся сам по себе естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся».

Толстой на письмо Пешкова не ответил. Что он мог? Еще один раз посоветовать молодежи «делать добро»? На забытой Богом степной станции, где единственным событием являются короткие остановки пассажирских поездов, которые с поэтической и безнадежной тоской описал Александр Блок:

Три ярких глаза набегающих,
Нежней румянец, круче локон.
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальной из окон?

Посоветовать молодым людям бросить работу, родителей и садиться «на землю»? Но только не на его, толстовскую, землю. Потому что Толстой, по признанию его дочери Александры, не любил «толстовцев».

Что он мог ответить?

К тому же в письме... не было обратного адреса. Его-то молодой «толстовец», делегированный в Москву со станции Крутая, почему-то забыл указать. Может, он был на конверте? Но в то время было не принято писать на конвертах обратные адреса.

Через несколько лет Софья Андреевна на письме Пешкова сделала пометку: «Горький». Тем самым существенно повысила корреспонденцию в статусе. Пока же долговязый проситель уезжал в родной Нижний Новгород в вагоне для скота. И можно ни секунды не сомневаться, что он на всю жизнь запомнил этот отъезд. Помнил о нем и когда впервые встретился с Толстым. Граф разговаривал с ним нарочито грубовато, с матерком — из народа же человек! И когда писал пьесу «На дне». И когда истинно по-рыцарски защищал Софью Андреевну от «желтой» прессы, травившей ее после ухода и смерти мужа. И когда создавал свой удивительный очерк-портрет Льва Толстого, где высказал о нем все самое восторженное и наиболее болезненное в собственной душе. Как будто открыл одновременно и родник, и гнойник.

Пешков хотел организовать «коммуну» только для того, чтобы «отойти в тихий угол и там продумать

пережитое». Пережитое — это Казань и Красновидово, где он возбуждал крестьян речами о лучшей жизни. Он, потерявший смысл этой самой жизни, едва ли не убивший себя физически и раздавленный душевно. Описание красновидовской жизни — самое смутное место в «Моих университетах». И самое, надо признаться, скучное. Как и повесть «Лето», написанная раньше по тем же воспоминаниям. И какой дымный, угарный конец. Сожгли избу Ромася с книгами. Ромась уехал из Красновидово. Алексей остался на распустье. Смерть не удалась ему. Жизнь тоже не удается.

Возникает какой-то крестьянин Баринов, «с обезьяньими руками», из той породы людей, которым не сидится на одном месте. Положим, и Пешков такой же. Но Пешков ищет истину, а Баринов просто проживает жизнь. Без цели, без смысла. Когда Ромась уехал, Пешков жил у Баринова в бане (добавим: «с пауками»). Баринов сманил его на рыбные промыслы и там надоед ему смертельно, так что Алеша бежал от него в Моздок.

Этот Баринов, которого Илья Груздев метко называет «народным Хлестаковым», предтеча князя Шакро из рассказа «Мой спутник». Баринов подбивал Пешкова бежать в Персию, благо Персия была рядом с рыбными промыслами. А это, если вспомнить «В людях», была не просто заветная мечта Алексея, но и единственная в его подростковом сознании «альтернатива» поступлению в университет.

Таким образом, Баринов стал очередным искусителем Пешкова после Евреинова и отчасти Ромася. Тип загадочный.

Но вернемся к Ромасю. В прозе Горького он предстает настоящим народником-революционером, который поддержал Пешкова в период духовного отчаяния. В «Моих университетах» он сначала выступает под кличкой Хохол.

«В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни (это уже после попытки самоубийства и больницы. — П.Б.), я увидел в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

— Вы свободны? — спросил он, не здороваясь.

— На двадцать минут.

— Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чёртовой кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

— Нуте-с, — заговорил он спокойно и негромко, — не хотите ли приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться — согласны?

— Да.»

В этом отрывке Ромась предстает как спаситель Алексея, который после попытки самоубийства был вынужден вернуться к Деренкову, в булочную, к пекарям и студентам, то есть на тот же самый круг бесплодных духовных исканий, который привел его к попытке самоубийства. И сама внешность Ромася напоминала сказочного богатыря: «Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело». За этим не сразу обращаешь внимание на «чёртову кожу» и «упрямый лоб», а также на то, что Хохол словно с неба свалился на Алексея или, напротив, выскочил, как черт из преисподней. Он сочетает в себе черты и своеобразного ангела-спасителя, и змия-искусителя, который зовет Пешкова отведать неизведанного.

Фотография Ромася, сделанная в шестидесятые годы, ничего «такого» особенного не отражает. Типичная внешность нигилиста-«шестидесятника», «базаровца», с твердым, холодным и весьма неприятным взглядом из-за классических «Чернышевских» круглых очков. Борода, коротко стриженные усы, высокий и в самом деле «упрямый» лоб.

Что пропагандировал Ромась в Красновидове? Из «Моих университетов» ничего понять нельзя. Зато понятно, что местные богатые мужики Хохла очень не полюбили, потому и подожгли его лавочку — «прикрыли» ее. И вот что интересно. Отношение к этому событию Алеши — шок! Сцена пожара описана в апокалиптических тонах. Это событие страшно повлияло на отношение будущего Горького к мужику. Он

снова раздавлен, снова в духовной пустыне. Народ его ожиданий (то есть того, что обещал народник Ромась) не оправдал. И снова максималист Пешков переносит это злое чувство на «людей». Не любит он «людей»! Не удались, и Бог с ними!

«Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот же день, когда мы расставались с ним».

Что же Ромась? Он... совершенно спокоен.

«— Преждевременный вывод, — заметил он с упреком.

— Но — что же делать, если он сложился?

— Неверный вывод. Неосновательно.

— Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но — не торопитесь осудить. До свидания, дружище!»

Еще один «учитель» расстался с ним, ничему его толком не научив, а только внушив, что мир не так прост. Но то же говорил ему колдун-Смурый на пароходе о книгах: не понял книгу, читай еще раз! Снова не понял — еще раз читай! Семь, двенадцать раз прочитай, пока не поймешь! И расставались они с Ромасем тоже на пристани. Ромась — вверх по Волге, в Казань. Алексей — вниз, в Самару и Царицын.

Они встретились через тринадцать лет, из которых восемь лет Ромась провел в заключении и ссылке по делу «народоправцев». Ромась был настоящий «железный» революционер. «Редкой крепости машина», — писал о нем Горький К.П.Пятницкому. Иногда горьковские определения людей при удивительной точности бывали также удивительно двусмысленны. Например, свою невестку Надежду Алексеевну, красавицу Тимошу, за ее сдержанный, молчаливый характер он назвал в одном из писем «красивым растением».

«Редкой крепости машина» не увлек Пешкова за собой в якутскую ссылку. Но, между прочим, после расставания с Алексеем он женился на сестре Андрея Деренкова, Марье, в которую был влюблен сам Алексей. Марья страдала каким-то нервным заболеванием и была крайне ранимым, добрым существом. «За Ромася, — впоследствии писал Горький Груздеву, — она вышла замуж, конечно, «из милости», по доброте души, как я *теперь* понимаю». Марья была моложе Ромася почти на десять лет. «Была она маленькая, — писал Горький, — пухлая, голубоглазая и — невиннее птицы зорянки». В «Моих университетах» ее образ несколько иной: своенравна, любила провоцировать Алексея, подшучивать над юношей. Но и из «Моих университетов» видно, что это было милое, слабое и незащищенное существо. Головная боль для брата. И вот ее-то «редкой крепости машина» не смутился позвать за собой.

О «скитаниях Ромася» пишет Илья Груздев в книге «Горький и его время». Он также изображен в рассказе своего друга по ссылке В.Г.Короленко «Художник Алымов» под именем Романыча (занятно, что Пешкова его друзья называли «Максими́чем», даже когда он был юношей). Романыч в рассказе Короленко изображен в момент посадки на пароход вместе с девушкой Фленушкой, в которой легко угадать Марью. Вот как описывает Ромася-Романыча писатель: «Образования нигде не получил, а между тем читал Куно Фишера, Спенсера и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить (речь из уст Алымова. — П.Б.), во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторщички, например, не годится... настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедшей из народа... Судьба наполовину переписала его, да так неотделанным и пустила. Ищи своего места, бедняга...»

После пожара в лавке Ромась остался весь в долгах, что не помешало ему жениться на Марье. Несколько лет Ромась мыкался в поисках денег и работы, но его революционное прошлое и крайне строптивый, неуживчивый характер не позволяли получить ни то, ни другое. В сентябре 1888 года (сразу после женитьбы) он пишет Короленко: «Видите, в чем дело, на мне лежит много долгу, который на меня давит, вы этого состояния не понимаете, потому что ваше положение и мое две разные вещи. Вы с определенным положением, а я?»

А его жена?

Короленко хлопотал через писателя Евгения Чирикова, чтобы устроить Ромася на службу на той же

Грязе-Царицынской железной дороге, где Пешков получил место сторожа. Но Ромася носит по стране — как перекасти-поле. То он пишет Короленко из Иркутска, а то из Саратова, где находился один из пунктов революционной организации «Народное право». В 1894 году он арестован в Смоленске и затем провел восемь лет в тюрьме и якутской ссылке. После возвращения устроился кладовщиком в городке Седлеце на строящейся железной дороге. О своем бывшем приказчике в лавке Пешкове, уже ставшем всероссийской знаменитостью, Ромась писал Короленко без особой симпатии, даже с некоторой обидой:

«С Горьким у меня переписка, захотелось мне прочесть его Мещан, я, не нашовши (так у автора. — П.Б.) здесь в продаже, обратился к нему. Он прислал мне чувствительное письмо, предложил книг <...> Ничего, Максимыч в письмах без приложения гениальности проявляется. Выглядит сдаточным, дослужившимся до генерала...»

Ирония тут прозрачна. «Сдаточный» — это солдат из рекрутов, сданный помещиком или крестьянским миром вне очереди обычно за какую-то провинность — драку, пьянство или воровство. Понятно, что дослужиться до генерала он едва ли мог.

Горький «без чинов» сам отправился навестить Ромася в Седлеце. О встрече с ним Ромась пишет Короленко: «Всё расспрашивал о вас у Максимыча, и ничего не вышло. Он на бумаге помачявует (так у автора. — П. Б), а на словах тот же грохало, как я его знал на Волге...»

Обиду Ромася можно понять. Горький не сидел подолгу в тюрьмах, не жил бесконечными зимами с якутами. Стартовые условия у него и Ромася были равные, даже, пожалуй, у Ромася, известного революционера, они были более прочными ввиду общей зараженности интеллигентской публики и студенческой молодежи революционной модой. И Ромась, как и Пешков, что-то пописывал. И вот же какая несправедливость!

Со всех мест работы Ромася довольно быстро выживали. Он не умел ладить с людьми, а тем более с начальством. После Седлеца он объявлялся то в Кишиневе, то в Севастополе, то в Чернигове, то в Мелитополе. К тому времени у него была другая семья: больная жена и четверо ребятишек и в придачу слепая старуха-мать. Вынужденный с его независимой натурой постоянно занимать где-то деньги, Ромась страдал ужасно.

Настоящим его призванием были тюрьма и ссылка.

Не наше дело кого-то судить, но жизнь всё расставила по своим местам. Пешков не стал «железным» революционером. Марья Деренкова развелась с Ромасем перед его ссылкой, пережив какую-то личную драму. При встрече с Горьким в 1902 году на его вопрос: «Где Маша?» — Ромась ответил с подлинно революционным хладнокровием: «Кажется, умерла».

Она прожила долгую жизнь истинной подвижницы в глухом селе Макарово Стерлитамакского уезда в Башкирии, работая акушеркой и фельдшерницей. В 1931 году, через год после смерти Деренковой, местный башкирский работник отвечал на запрос Горького о судьбе Марьи: «Макарово — небольшое селение верстах в 30 от г. Стерлитамака, в довольно глухом углу, населенном бедной, малокультурной мордвой... В этом селении М.С. проработала и прожила почти всю свою одинокую жизнь, обслуживая медицинской помощью и работая большей частью самостоятельно, так как врачей в такие глухие углы залучить было трудно. Население довольно большой округи ее хорошо знало. Имя М.С. приходилось слышать постоянно. О прошлом М.С. не любила говорить, и мало что приходилось от нее слышать... Только когда появились «Мои университеты» и к ней стали обращаться с вопросами, не о ней ли идет речь, она кое-что рассказала о своей жизни, но и здесь не была особенно таровата; иногда ей почему-то казалось, что Вы можете быть в Башкирии и, может быть, даже в наших краях... Несмотря на свое слабое здоровье, вечно хлопотала о нуждах обслуживаемого населения, с каким-то удивительным терпением перенося все тяготы работы и жизни в глухих углах. Три года назад ее работа и служба были отмечены общественностью присуждением ей звания «героя труда». Скончалась М.С. 24 ноября 1930 года в том же Макарове».

Известно, что пожилой Горький был легок на слезу. Как же он, должно быть, обливался слезами над этим письмом-отчетом ответственного башкирского работника, понимая, какого ангела он проморгал в казанской духовной пустыне, отправляясь в село Красновидово за мощным человеком с упрямым лбом, в куртке из «чёртовой кожи».

Впрочем, Марья едва ли могла влюбиться в Пешкова казанского периода, угловатого, закомплексованного «умника». И потом, судьба Горького была не для нее, как и судьба Ромася. Это был глубоко русский тип христианской подвижницы, любящей народ и людей не отвлеченно-рассудочной, а сердечной и деятельной любовью. Горький хорошо чувствовал этот русский тип, высоко ценил его, но он не вполне отвечал его идеалу Человека. «Малые дела» были не по его масштабу. Хотя в 1917—1921 годах в голодающем Петрограде Горький отчасти сам будет воплощать в себе этот тип.

Плакал или нет Алексей Максимович, над письмом башкирского работника, но Илье Груздеву он написал следующие слова: «Вот какую жизнь прожил этот человек! Начать ее среди эпигонов нигилизма, вроде Сомова, Мельникова, Ромася, среди мрачных студентов Духовной академии, людей болезненно, садически распутных, среди буйных мальчишек, каким был я, мой друг Анатолий, маляр Комлев, ее брат Алексей (Андрей — П.Б.), выйти замуж за Ромася, который был старше ее на 21 год⁹, и затем прожить всю жизнь как «житие» — не плохо?»

Для кого этот вопросительный знак? Не для себя ли, уже понимавшего, к какому финалу идет его бурная, запутанная жизнь?

Вдруг оказывается, что Ромась не «пламенный революционер», но эпигон нигилизма!

«Был случай, — писал далее Горький, — мы трое — Алексей (Андрей — П.Б.), брат ее... Комлев и я поспорили, потом начали драться. Она, увидав это из окна, закричала: «Что вы делаете, дураки! Перестаньте, сейчас ватрушек принесу!» Ватрушки эти обессилили меня и Комлева: мы трое готовы были головы разбить друг другу, а тут — ватрушки. «Умойтесь», — приказала она. А когда смыли мы кровь и грязь с наших морд, она дала нам по горячей ватрушке и упрекнула: "Лучше бы чем драться — двор подмели..."»

«Зачем вы озорничаете?»

«Влекло меня к людям со странностями...» Вот «странный» человек Баринов. Лентяй, проходимец, как его описывает Горький. Кстати, этимология фамилий Бариновы, Барские, как и Князевы или Графовы, восходит к понятиям «барские», «князевы» или «графовы» крестьяне, а вовсе не к «барскому» происхождению носителя фамилии. Сергачский уезд отличался слабым местным промыслом и широким отхожим — в летний период. Таким образом, Баринов был первым издвигающимся летом со скудного русского севера на богатый российский юг (Дон, Украина, Кавказ, Молдавия, Ставрополье) «отхожих» мужичков, с которыми впоследствии, во время странствия по Руси, знакомился и путешествовал Горький.

В рассказе «Весельчак», которым, между прочим, завершается цикл «По Руси» (хотя это начало, даже не начало, а преддверие горьковских странствий, и, значит, мы имеем дело или с нарушением хронологии в памяти автора, или с сознательным приемом), Баринов изображен трусом, лентяем и циником. Однако уже в поздние годы Горький писал Груздеву: «Любопытнейший мужик был Баринов, и сожалею, что я мало отвел ему места в книге "Мои университеты"».

Его всегда тянуло к такого сорта людям. Он симпатизировал артистическим жуликам. Всячески присматривался к ним, и они, в свою очередь, как бы случайно находили его и делались «его спутниками». Бывали, конечно, и случаи тяжелые, вроде описанной в очерке о Ленине истории с жуликом Парвусом, растратившим деньги большевиков, пожертвованные Горьким. (Впрочем, и Парвус в очерке описан без злобы, даже с каким-то юмором.) В зрелые годы его восхищали ловкие итальянские мальчишки-извозчики, норовившие надуть своих клиентов. Один из таких случаев описан в воспоминаниях В.Ф.Ходасевича:

«Ему нравились решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства. <...> От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алексии. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде,

⁹ Ошибка Горького, см. выше.

бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом ученых Родевспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их проделкам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость, — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре.) Сотрудниками были Горький, Берберова и я. <...> Максим был переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок.

Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Смотрите-ка! Я спёр у Марьи Игнатьевны (Будберг. — П.Б.) десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера...»

«Загулявший мастеровой» по имени Сашка изображен в рассказе «Легкий человек», который также входит в цикл «По Руси», хотя его содержание относится вовсе не к странствованиям Горького, а к казанскому периоду Алеши Пешкова. В Сашке, баламуте, влюбляющемся во всех девушек подряд, включая монашек, несложно узнать Гурия Плетнева, наборщика типографии, который познакомил Алексея с жизнью казанских трущоб и был арестован за печатанье нелегальных текстов. К таким людям тянуло Пешкова и потом Горького, хотя он и понимал, сколь далеки они от Человека.

Напротив, все основательное не нравилось ему. С Бариновым на рыбном промысле они познакомились с семейством раскольников или даже сектантов, «вроде «пашковцев». «Во главе семьи, — писал потом Горький, — хромой старик 83 лет, ханжа и деспот; он гордился: «мы, Кадочкины, ловцы здесь от годов матушки царицы Елисаветы». Он уже лет 10 не работал, но ежегодно «спускался» на Каспий, с ним — четверо сыновей, все — великаны, силачи и до идиотизма запуганы отцом; три снохи, дочь — вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непонятной речью, двое внучат и внучка лет 20-ти, полуидиотка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик «спускался» потому, что «Исус Христос со апостолами у моря жил», а теперь «вера пошатнулась» и живут у морей «черномазые персюки, калмыки да проклятые махмутки — чечня». Иностранцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала иностранцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. <...> Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, — тоже «примостился» к нему, но скоро был «разоблачен» и позорно изгнан прочь».

И вновь мы имеем дело с особым углом зрения Горького. Ведь семья староверов, описанная им, может быть увидена и совсем иными глазами. Мощный старик, глава семейства, от одного слова или взгляда которого трепещут сыновья, «великаны», прекрасные работники. Три снохи, которых автор никак не отмечает, наверное, из-за их скромности и незаметности для посторонних. Двое внуков, помогающих отцам, и больная, несчастная внучка, «крест» для большой семьи. Но угол зрения Горького в данном случае скорее совпадает с углом зрения Баринова, который ему хотя и неприятен, но с которым «легко».

Как с Гурием Плетневым. Как с бабушкой Акулиной.

С ними «легко», а вот с дедушкой Василием и этой крепкой староверческой семьей неприятно.

Но главное — нигде нет Человека.

«В пустыне, увы, не безлюдной».

Эти слова Горький напишет во время революции в «Несвоевременных мыслях». Но это было его постоянным духовным переживанием.

Положительный человек

Встреча с В. Г. Короленко стала для Алексея едва ли не первым опытом исключительно позитивного общения с человеком, который стоял неизмеримо выше его и в социальном, и в литературном, и в «умственном» отношении. Короленко был первым, от кого Пешков не «отчалил», как от бабушки, Смурого, Ромаса и других. Он с некоторым изумлением для себя вдруг понял, что существуют на свете люди, которые, не вторгаясь в твою душу, способны *спокойно* тебя поправить и поддержать.

Это еще не Человек. Но и не «люди» в отрицательном смысле. Они как «оазисы» в духовной пустыне. Напиться воды, омыть душевные раны. И уходить дальше, но набрав с собой воды.

Вторым «оазисом» среди людей стал для Горького его дальний родственник, нижегородский адвокат А.И.Ланин, которому он с благодарностью посвятит первый выпуск своих «Очерков и рассказов» в 1898 году.

Вернувшись из ссылки в январе 1885 года, Короленко поселился в Нижнем Новгороде, где прожил до января 1896 года.

Нет, все-таки Ромась, бродяжья душа, стал для Пешкова спасителем, а не искусителем! Ромась вытащил его из безнадежной казанской ситуации. Он написал о нем Короленко. Поэтому когда Пешков явился к Короленко с визитом, тот уже знал о нем. Впрочем, и так бы не прогнал.

И все-таки важно — всякий провинциальный писатель это хорошо знает и чувствует, — когда о тебе что-то уже знают.

Но прежде представим себе состояние Пешкова, когда он покидал Крутую, направляясь к Толстому.

Во-первых, он сжигал за собой мосты, так как взял расчет, строптиво отказавшись от бесплатного билета в любой конец. Во-вторых, с названной выше Басаргиной, дочерью начальника станции, у него «что-то» было. «Между мной и старшей дочерью Басаргина возникла взаимная симпатия...» — писал он позже. А вот с отцом ее отношения были напряженные. В 1899 году Горький все еще переписывался с Басаргиной, жившей уже в Петербурге. «Будете писать Вашим, поклонитесь Захару Ефимовичу. Я виноват перед ним: когда-то заставил его пережить неприятные минуты...» В другом письме к ней того же года он писал: «Я всё помню, Мария Захаровна. Хорошее не забывается, не так уж много его в жизни, чтобы можно было забывать...»

Однако в 1889 году на Крутую он возвращаться не собирался и вообще покидал это место с душой, очередной раз отравленной ненавистью к «людям». «Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве (опять думал! — П.Б.); род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен».

Вот с каким настроением он пришел просить у Льва Толстого землю. Вот с каким настроением он залезал в вагон для скота, чтобы отправиться в родной Нижний Новгород. Вот с каким настроением он шел к Короленко.

Конечно, настроение временами менялось. Были смутные мечты о «коммуне». Было короткое путешествие по центральной России, бескрайние тамбовские «черноземы», рязанские леса и Ока, Ясная Поляна. В клеенчатой котомке лежала и грела душу молодого графомана бесконечная поэма, написанная ритмической прозой, под названием «Песнь старого дуба», от которой до нас дошла одна-единственная строка, но зато какая выразительная: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться!»

С этой-то поэмой он и пришел к Короленко. Но прежде он прочитал его гениальный рассказ «Сон Макара». И этот рассказ не понравился ему. Это очень важный момент! Он касается уже не просто биографии Пешкова, но его духовной судьбы. В очерке «Время Короленко» Горький вспомнил: «Сон

Макара» «почему-то» не понравился ему. Это подтверждает наше предположение, что душа этого молодого человека была не просто изувечена, но «отбита», как бывают отбиты почки, печень, легкие.

«Сон Макара», написанный Короленко в ссылке в 1883 году и напечатанный в 1885-м в журнале «Русская мысль», читала вся мыслящая Россия. Это шедевр Короленко, может быть, лучшая его вещь и, в любом случае, принципиальная для понимания его «символа веры». Этот рассказ невозможно читать без хотя бы минимального сопереживания, без «катарсиса», если только остались в человеке жалость, жажда справедливости. В то же время он написан очень рационально, как своего рода адвокатская речь на суде. Только это защита не отдельного подсудимого, а всего человечества.

Макар, сын северного народа, видит сон, в котором он умер и идет на суд к Тойону, который в его представлении является Богом. Тойон и его слуги судят Макара, взвешивая на весах его грехи и добродетели. Добродетелей мало, почти нет, а грехов — хоть отбавляй! Он и пьяница, и малOVER, и обманывал людей. Чаша с грехами быстро опускается вниз, и недалеко минута, когда Макар окажется в аду. Но вдруг он начинает рассказывать Тойону свою жизнь. И оказывается, что в этой жизни почти не было радости, а только ежедневный труд, нужда, мысли о хлебе насущном. Когда ему было молиться и думать о душе своей, когда было совершать добрые дела, если всю жизнь он бился с нуждой, чтобы не умереть с голоду? Неужели справедливо после этого вновь наказывать Макара? И так этот рассказ Макара потряс Тойона, что тот заплакал, и медленно поднялась чаша с грехами. Макар был прощен Богом.

В этом рассказе духовное кредо Короленко. Он судит человека не по внешним признакам морали и религиозности, а по справедливости. Оправдан не тот, кто формально прав, а тот, кто в заданных ему Богом, природой и обществом обстоятельствах выполнил все, на что способен.

Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это известный девиз Короленко.

Макар не был способен на строгое соблюдение нравственных норм. Исполняя их, он просто не выжил бы. Нельзя — несправедливо! — требовать от человека духовной высоты, если он по рождению своему и обстоятельствам жизни не знает о ней.

«— Почему вы такой спокойный?»

Это Пешков спросил у Короленко во время их второй встречи. Спросил нервно, искренне не понимая этого спокойствия.

«— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю...»

На самом деле Короленко вовсе не был таким уж спокойным и уравновешенным человеком. После революции, в Полтаве, он с пистолетом погнался за бандитами, которые хотели ограбить его дом. До революции он страстно защищал подсудимых по «мултанскому делу». Он был достаточно беспощадным редактором, в чем Пешков убедился при первой же встрече с ним.

«— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает. <...>

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так...» «Раз так» — не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?..

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь».

Вот так «ласково», «улыбаясь», он уничтожил поэму Пешкова, которую тот носил в своей котомке как главную «драгоценность».

Уходя от него, Пешков решил больше не писать стихов. Обещания не сдержал. Но можно сказать, что именно после первой встречи с Короленко Пешков-графоман превратился в Пешкова-писателя.

Через три года появится «Макар Чудра», первый рассказ, который писатель подпишет псевдонимом Горький. Спустя три года благодаря Короленко в журнале «Русское богатство» будет опубликован «Челкаш». А еще через три года выйдут «Очерки и рассказы», и в Петербурге русская интеллигенция даст банкет в честь новорожденного гения. На этом банкете будет присутствовать Короленко.

Переход и гибель

«Человек — это переход и гибель», — говорил Заратустра Ницше, имея в виду, что человек есть «мост», протянутый природой (в Бога к тому времени Ницше уже не верил, Бог для него «умер») между животным и сверхчеловеком. С этой «истиной» молодой Пешков познакомился еще до того, как стал Горьким.

Но прежде — некоторые бытовые подробности его пребывания в Нижнем. С октября 1889 года он устроился работать письмоводителем к присяжному поверенному А.И.Ланину за двадцать рублей в месяц. Двадцать рублей — деньги хорошие. Это меньше тридцати рублей, которые «весовщик» Пешков получал на железной дороге, но и не три рубля, получаемые им за работу в адской пекарне Семенова. Тем более что Ланин работой Пешкова не обременял, зато позволял ему в любое время пользоваться своей роскошной библиотекой.

Ланин был личностью в Нижнем Новгороде известной. Прекрасный адвокат, либеральный общественный деятель, председатель совета Нижегородского общества распространения начального образования. «Влияние его на мое образование было неизмеримо огромным, — писал затем Горький. — Это высокообразованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех...»

Любопытно сравнить его и Ромаса фотопортреты, поместив между ними портрет Короленко. Если совместить лица Ромаса и Ланина, то получится почти Короленко. Во внешности Ланина сочетались барин и интеллигент. Густая шелковистая борода, в которой было что-то «тургеневское», как и в умных, проницательных и очень доброжелательных глазах. Огромный лоб, но без «упрямства» Ромаса. Большие, красиво очерченные уши, кажется, созданные для того, чтобы внимательно слушать собеседника.

Трудно вообразить, какой из полуграмотного Пешкова был письмоводитель, но хлопоты Ланину он доставил тотчас же. Уже в октябре Пешков был арестован и заключен в первый корпус нижегородского замка.

Это было «эхо» Казани. После разгрома студенческого, движения, отчисления и высылки многих студентов часть из них осела в Нижнем. Вообще в Нижнем произошло своеобразное повторение казанской ситуации, и Горький вновь оказался среди своих бывших приятелей. Среди них были А.В.Чекин и С.Г.Сомов, с которыми он поселился в трехкомнатной квартире по Жуковской улице. Чекин — педагог, организатор народнических кружков в Казани — продолжал заниматься этим и в Нижнем. Сомов был странный человек. В письме к Груздеву Горький утверждал, что Сомова описал Боборыкин в романе «Солидные добродетели» и Лесков в рассказе «Шерамур». Когда Груздев усомнился, что карикатурный персонаж эмигранта, выведенный в рассказе Лескова, и есть бывший приятель Горького, тот стал на этом настаивать: «С.Г.Сомов именно таков был, как его написал Лесков: среднего роста, квадратный, с короткой шеей, отчего казался сутулым. На квадратном лице — темненькие, пренебрежительные глазки, черная, тупая бородка. Уши без мочек. Голос — ворчливый, бурчащий, фраза небрежная, короткая. Черноволосость, прямота и жесткость волоса указывали как будто на инородческую, всего скорее калмыцкую кровь. После остался сын в Саратове. Писал мне в 17 или 18 гг. С.Г. был убежден в своей исключительной гениальности, но это выходило у него не смешно и не тяжело, а как-то по-детски забавно. «Гениальность» делала его отчаянным эгоистом. Был прожорлив. Съедал молоко своих девочек; у него было две, обе очень болезненные. Когда их мать, некрасивая, нездоровая и задавленная нищетой, говорила ему: «Как же дети? Ты съел их молоко!» — он ворчал, что неизвестно еще, дадут ли дети миру что-нибудь ценное, тогда как он — уже... В общем же это был все-таки хороший человек. Странно, что некоторые его идеи — напр<имер> о Китае — совпадали с идеями Н.Ф.Федорова».

Остается добавить, что Сергей Григорьевич Сомов родился в 1842 году и, значит, был старше Пешкова на двадцать шесть лет. За совместное проживание с этим «темным» человеком Пешкова и арестовали. На первом же допросе, по замечанию полиции, он «держал себя в высшей степени дерзко и нахально». В очерке «Время Короленко» Горький описывает пребывание свое в замке с иронией.

Допрашивал Пешкова начальник нижегородского жандармского управления генерал И.Н.Познанский — это говорит о том, какое значение придавали разным «странным» людям, вроде Сомова и Пешкова, в

нижегородской жандармерии. Познанский был человеком глубоко несчастным, и Пешков знал об этом, как и весь город.

18 апреля 1879 года, когда Познанский служил начальником Санкт-Петербургского жандармского управления, его шестнадцатилетний сын, ученик Первой петербургской гимназии, был найден мертвым после сильнейшего отравления морфием. В убийстве его подозревалась гувернантка, француженка Маргарита Жюжан. Адвокатом ее выступил знаменитый А.Ф.Кони, в результате чего суд вынес оправдательный приговор, а сын главного петербургского жандарма был признан морфинистом.

Горький описывает генерала в мягких, хотя и иронических тонах. «Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...» Таким образом, первым серьезным «ценителем» его творчества был добрый жандармский генерал, который и благословил его на литературную стезю. Ведь известно, что Пешков прятал от друзей свои стихи, стеснялся их. После обыска они, разумеется, оказались у генерала.

Дочь генерала была талантливой пианисткой. О том, как Пешков с улицы слушал ее музыкальные упражнения дома, Горький описал в рассказе «Музыка». Так что генерал Познанский сыграл в судьбе Горького определенную роль.

Ланин не зря натерпелся от своего служащего, которого он даже готовил в присяжные поверенные. Первая книга Горького носила посвящение А.И.Ланину. Между прочим, его имя на титульном листе могло всерьез навредить легенде по имени «М.Горький». Как и тот несомненный, но пока неизвестный широкой публике факт, что невольный (или сознательный?) творец этой легенды, якобы «босьяк», еще до выхода первой книги был знаком (лично или по письмам) с виднейшими личностями своего времени — Н.Ф.Анненским и В.Г.Короленко, Ф.Д.Батюшковым и Н.К.Михайловским, Д.В.Григоровичем и А.С.Скабичевским. Это было просто тогда: заявиться в дом Короленко (да хоть бы и Льва Толстого), показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке, где Пешков был аккредитован. Послать рассказ по почте в столичные «Русские ведомости» (даже не сам отправил, а его приятель Н.З.Васильев, без ведома автора) и через месяц читать рассказ («Емельян Пиляй») напечатанным. Сидючи в «глухой провинции», искать в столице издателей через посредников (В.А.Поссе) и находить — не одного, так другого. Отказались издавать «Очерки и рассказы» О.Н.Попова, М.Н.Семенов и А.М.Калмыкова. Зато взялись А.П.Чарушников и С.П.Дороватовский.

Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране! Словно между столицами и провинцией не было никакого расстояния! Вот еще пример. Через два месяца после выхода «Очерков и рассказов» литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький как бы между прочим пишет жене: «Гиббона» скоро прочту». То есть что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую «Историю упадка Римской империи», сравнивая ее с упадком империи собственной!

Когда главный редактор «Русского богатства» критик и публицист Н.К.Михайловский обозревал в своем журнале «Очерки и рассказы» «господина М.Горького», то естественно задался вопросом: каким образом в произведениях этого «самоучки», не знавшего иностранных языки, проникли идеи Ницше, которого в самой Европе в то время еще считали обычным умалишенным?

Вероятно, решил Михайловский, эти идеи попали туда случайно. Они «носятся в воздухе» и «могут прорезываться самостоятельно». Замечание, достойное той эпохи. Европейская профессура в большинстве своем все еще считает Ницше «неудавшимся филологом», «зарвавшимся мыслителем», а в России его идеи «носятся в воздухе», «прорезываются самостоятельно» в творчестве провинциального самоучки.

Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в «ницшеанстве» самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в «Русском богатстве» с двумя капитальнейшими статьями о Ницше, равных по глубине которым в европейской периодике еще не было?

Не он ли едва ли не первым заговорил об особой «морали» Ницше («он — моралист и притом гораздо, например, строже и требовательнее гр.Л.Н.Толстого»? И это в то время, когда Европа считала Ницше исключительно аморальным мыслителем. Не он ли задолго до экзистенциалистов написал работу «Ницше и Достоевский»? Этих статей Горький не мог не знать. Знал он, как сегодня известно, и о специальных исследованиях: статьях московских профессоров Н.Грота, Л.Лопатина, П.Астафьева и В.Преображенского, появившихся в «Вопросах философии и психологии» в 1892—1893 годах. Спорил о них со студентами ярославского лицея.

В конце восьмидесятых, находясь на пороге окончательного безумия, Ницше только-только получал первые весточки о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о «базельском мудреце». Законодатель интеллектуальной моды во Франции Ипполит Тэн только-только бросил свой благосклонный взор на европейского мыслителя, уже завершающего свой творческий путь. А через несколько лет ярославские студенты ожесточенно спорят с каким-то типом, не окончившим даже начального училища Кунавинской слободы в Нижнем Новгороде, о феномене Фридриха Ницше!

Это и была Россия, «которую мы потеряли». И в этой стране не могла не накопиться та критическая масса, которая вскоре породила взрыв. В культуре той эпохи была какая-то чрезмерная избыточность. Что ни писатель, то мировое событие. Что ни фигура, то «мессия». Явление Белого с «Симфониями», Блока с «Незнакомкой», Андреева с «Бездной». И молодой Горький здесь не только не исключение, но — по крайней мере, на протяжении конца девятых — начала девятисотых годов — главный участник этого литературного процесса.

«Карьера Горького замечательна, — писал впоследствии князь Д.П.Мирский. — Поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России <...>, его нередко ставили рядом с Толстым и безусловно выше Чехова». В 1903 году было продано в общей сложности 103 тысячи экземпляров его сочинений и отдельно 15 тысяч экземпляров пьесы «Мещане», 75 тысяч экземпляров пьесы «На дне». В то время такие тиражи считались огромными.

В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург. И уже через десять дней басовито дерзил именитым столичным литераторам и общественным деятелям на банкете, организованном в журнале «Жизнь» едва ли не ради того, чтобы познакомиться с ним лично. Именитости, конечно, обижались. Но — терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем «альтернативной» культуры, «культуры-2». Не зная толком ни кто он, ни откуда явился, все видели в нем «вестника» неизвестной России. Той, что начиналась даже не за последней петербургской заставой, а в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. Конечно, это случайность, что появление «Очерков и рассказов» почти буквально совпало с выходом в свет первого русского перевода «Так говорил Заратустра». Но Горький к этой случайности хорошо подготовился.

В архиве Горького хранятся воспоминания жены его сперва нижегородского, а затем киевского знакомого Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по призванию, он так напичкал Пешкова древней и новейшей философией, что едва не довел его до умопомрачения. В очерке «О вреде философии» Горький ярко описал и личность самого Васильева, и свое состояние в 1889—1890 годах.

«Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый кали и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей!

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 901 году в Киеве».

Над своим другом Васильев поставил другой эксперимент. «Будем философствовать», — однажды заявил он. Горький вспоминал: «...развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его

Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал».

За Эмпедоклом последовали другие. И наконец — Ницше, о котором в России в то время еще даже не упоминали в печати. В своих воспоминаниях жена Н.З.Васильева пишет: «Из литературных их (Пешкова и Васильева. — П.Б.) интересов этого времени помню большую любовь к Флоберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно за его безбожность, не было перевода «Искушения св<ятого> Антония», и меня заставили переводить его, так же как впоследствии Also sprach Zarathustra (Заратустра) Ницше, что я и делала — наверное, неуклюже, и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком».

Судя по сохранившимся в архиве письмам Васильева, он методично просвещал своего приятеля и потом сурово разбирал все его ранние произведения с точки зрения соответствия новой ницшеанской «морали». Результатом этой философской учебы стало то, что однажды в Нижнем Горький почувствовал, что сходит с ума.

«Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку и вот сейчас она низринется на землю...»

И наконец явные признаки безумия: «Я видел Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах...»

Примерно в это же время, в январе 1889 года, в Турине прямо на улице Ницше настигает апоплексический удар, за которым следует окончательное умопомрачение. Он рассылает знакомым безумные почтовые открытки с подписями «Дионис» и «Распятый». 17 января мать с двумя сопровождающими отвозит его в психиатрическую клинику Йенского университета. Улыбаясь, как ребенок, он просит врача: «Дайте мне немножко здоровья». Потом начинаются частые приступы гнева. Кричит. Принимает привратника больницы за Бисмарка. В страхе разбивает стакан, пытается «забаррикадировать вход в комнату осколками стекла». Прыгает по-козлиному, гримасничает. Ни за что не желает спать в кровати — только на полу. Это был конец.

Горький, человек с более крепкой нервной организацией, отделался легче.

Нижегородский психиатр, «маленький, черный, горбатый, часа два расспрашивал, как я живу, — писал Горький, — потом, хлопнув меня по колену странно белой рукой, сказал: "Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожайднее к любовной игре, — это будет вам полезно!"»

И в апреле 1891 года Горький действительно бросил «ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень» и отправился из Нижнего в свое знаменитое странствие «по Руси». А через год в тифлисской газете «Кавказ» появился его первый рассказ — «Макар Чудра», который открывался следующими рассуждениями старого цыгана: «Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг Земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол...»

Ницше и Горький

Вопрос о «ницшеанстве» раннего (и не только раннего) Горького весьма сложен. Легко заметить, что и в более поздних произведениях он не забывал о Ницше. Например, название самого известного цикла горьковской публицистики «Несвоевременные мысли» заставляет вспомнить о «Несвоевременных

размышлениях» (в другом переводе — «Несвоевременные мысли») Ницше.

В архиве Горького хранится любопытное письмо М.С.Саяпина, внука сектанта Ивана Антоновича Саяпина, описанного в очерке Г.И.Успенского «Несколько часов среди сектантов». М.С.Саяпин, внимательно изучавший русских сектантов, находил в их учениях сходство с философией Ницше: «Все здесь ткалось чувством трагедии. Чтобы как-нибудь объяснить себе эти жизненные иероглифы, я стал буквально изучать книгу Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки», читал я всё, что могло мне попасться под руки в этом направлении, и наконец убеждение окрепло: да, дух русской музыки, живущей в славянской душе, творит неписаную трагедию, которую люди разыгрывают самым идеальным образом — не думая о том, что они играют».

Не исключено, что молодой Горький читал Ницше аналогичным образом. Чтобы как-то «объяснить» события русской жизни, он обращался к мировой философии и находил в ней то, что наиболее отвечало его собственным, уже сформировавшимся впечатлениям и мыслям.

Из переписки Горького и его статей можно заметить, что при довольно частых упоминаниях Ницше (около сорока раз) его отзывы о нем были, как правило, либо сдержанными, либо критическими. Чуть ли не единственным исключением является письмо к А.Л.Волынскому от 1897 года, где Горький признается: «...и Ницше, насколько я его знаю, нравится мне, ибо, демократ по рождению и чувству, я очень хорошо вижу, что демократизм губит жизнь и будет победой не Христа — как думают иные, — а брюха».

Но дело в том, что именно это заявление, казалось бы доказывающее «ницшеанство» Горького, является в строгом смысле не «ницшеанским». Ницше никак не мог желать «победы Христа», поскольку был ярким врагом христианства. И наоборот, он не имел ничего против «брюха», выступая противником разного рода бестелесных духов.

Гораздо точнее Горький отозвался о Ницше в письме к князю Д.П.Мирскому от 8 апреля 1934 года: «Ницше Вы зачислили в декаденты, но — это очень спорно, Ницше проповедовал «здоровье»...» Если вспомнить, что вернувшийся к тому времени в СССР Горький тоже проповедовал здоровье как идеал советской молодежи, то это высказывание приобретает особый смысл, говоря о том, что и «советский» Горький продолжал думать о Ницше.

В то же время в цитированном письме к А.Л.Волынскому чувствуется желание молодого Горького подыграть настроению автора книги «Русские критики» и статей об итальянском Возрождении, о которых, собственно, и идет в письме разговор. Это его, Волынского, идеи пересказывает Горький, пользуясь именем Ницше как «языком» своей эпохи. В 1897—1898 годах Горький сотрудничал в «Северном вестнике» Волынского и, конечно, искал с ним общий язык.

В целом ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умеренно положительными. Он высоко ценил бунтарство, протест против буржуазной культуры и весьма низко ставил его социальную проповедь. Но сдержанность, с которой Горький отзывался о Ницше вплоть до конца двадцатых годов, не исключает возможности высокого, но скрываемого интереса к нему.

На отношение Горького к вопросу о Ницше могла повлиять шумная кампания в критике вокруг его первых вещей. В статьях Н.К.Михайловского, А.С.Скабичевского, М.О.Меньшикова, В.Г.Короленко и других «ницшеанство» писателя было подвергнуто резкой критике. В «ницшеанстве» его обвинил и Лев Толстой. Все это не могло не повлиять на Горького. Он не мог чувствовать себя вполне свободно, когда публично высказывался о Ницше.

В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры уже покойного Ницше, Элизабет Фёрстер-Ницше.

«Веймар. 12 мая 1906 г.

Милостивый государь!

Мне приходилось слышать от Вандервельде и гр<афа> Кесслера, что Вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее местожительство покойного.

Позвольте Вам сказать, что и Вы и Ваша супруга¹⁰ для меня исключительно желанные гости, я от

¹⁰ Речь шла о гражданской жене Горького М. Ф. Андреевой.

души радуюсь принять Вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше, и познакомиться с Вами лично.

На днях мне придется уехать, но к 17 мая я вернусь. Прошу принять и передать также Вашей супруге мой искренний привет.

Ваша Э.Фёрстер-Ницше»

Имя крупного бельгийского социал-демократа Эмиля Вандервельде, упоминаемое в этом письме, позволяет оценить всю сложность и запутанность вопроса о «ницшеанстве» Горького. В начале века социализм и «ницшеанство» еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о «ницшеанстве» Горького под знаком плюс писала и марксистская критика, скажем, А.В.Луначарский. Мысль о «браке» Ницше и социализма носилась в воздухе и «заражала» многие сердца. Так, в письме к Пятницкому в 1908 году Горький писал о поэте Рихарде Демеле, творчеством которого увлекался в это время. Он, по его мнению, «лучший поэт немцев», «ученик Ницше и крайний индивидуалист», но главная его заслуга в том, что он, «как и Верхарн, передвинулся от индивидуализма к социализму». Даже в тридцатые годы двадцатого века, когда в Германии победил фашизм и «ницшеанство» стало связываться с ним, идея «примирения» все еще играла в иных умах.

В январе 1930 года Горький получил письмо от немецкого поэта Вальтера Гильдебранда. Оно весьма точно отражает начало кризиса этой идеи: «Признаешь водовороты Ницше и в то же время являешься коммунистом, с другой стороны — ты коммунист, на которого Ницше смотрит с презрением. Я почитаю Райнера Мария Рильке, этого большого одинокого человека, ушедшего в себя, и в то же время я чувствую сродство и единомыслие с Вами».

Но отношение Горького к Ницше в это время было уже резко отрицательным. В статьях «О мещанстве» (1929 г.), «О старом и новом человеке» (1932 г.), «О солдатских идеях» (1932 г.), «Беседы с молодыми» (1934 г.), «Пролетарский гуманизм» (1934 г.) и других он, по сути, проклял Ницше как предтечу нацизма. Именно Горький стал главным проводником этого мифа в СССР, что, впрочем, объяснимо, ибо в эти годы значительная часть интеллектуальной Европы (Ромен Роллан, Томас Манн и другие), напуганная фашизмом, отвернулась от своего прежнего «кумира».

Интересно, что именно в это время современники отмечали внешнее сходство Ницше и Горького. Ольга Форш в статье «Портреты Горького» писала: «Он сейчас очень похож на Ницше. И не только пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать». Загадка этого «двойничества», по-видимому, волновала и самого писателя. В повести «О тараканах» Горький заметил: «Юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова — скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга».

Вопрос о «ницшеанстве» Горького — часть серьезной темы «Горький и мировая философия». И хотя он, особенно в поздние годы, резко отводил вопрос о своем «ницшеанстве» в сторону, произведения его говорят сами за себя. Прислушаемся к мнению критика Михаила Гельбота, писавшего в 1903 году: «...доживи сам Ницше до наших дней, он к своему «единственному психологу», у которого еще можно чему-то поучиться (Достоевскому), присоединил бы, с обычным для него страстным увлечением, и г-на Горького».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ПРАВДА ИЛИ СОСТРАДАНИЕ? (ПЬЕСА «НА ДНЕ»)

Сатин. Вы — все — скоты! <...>

Сатин. Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!

Горький. «На дне»

Рубежной в жизни и творчестве Горького является пьеса «На дне», которой он, с сопутствующей ему всю жизнь жанровой скромностью дал подзаголовок «Картины», хотя на самом деле пьеса является

сложной философской драмой с элементами трагедии.

Настоящая слава М.Горького — неслыханная, феноменальная, такая, какой не знал до него ни один не только русский, но и зарубежный писатель (исключение может составить лишь Лев Толстой, но его слава росла постепенно, органически, как и бывало в девятнадцатом веке, а со славой Горького случился именно «взрыв»), — началась с постановки «На дне». До этого можно было говорить только о высокой популярности молодого прозаика.

Грандиозный успех постановки «На дне» 18 декабря 1902 года в Московском Художественном театре под руководством К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко превзошел все ожидания. В том числе и ожидания цензоров, которые, как предполагал Немирович-Данченко, разрешили постановку «лишь потому, что власти уверены в полном провале пьесы на спектакле». Любопытно заключение цензора С.Трубачова после прочтения присланного в цензуру текста:

«Новая пьеса Горького может быть разрешена к представлению только с весьма значительными исключениями и некоторыми изменениями. Безусловно необходимо городского Медведева превратить в простого отставного солдата, так как участие «полицейского чина» во многих проделках ночлежников недопустимо на сцене. В значительном сокращении нуждается конец второго акта, где следует опустить из уважения к смерти чахоточной жены Клеца грубые разговоры, происходящие после ее кончины. Значительных исключений требуют беседы странника, в которых имеются рассуждения о Боге, будущей жизни, лжи и прочем. Наконец, во всей пьесе должны быть исключены отдельные фразы и резкие грубые выражения...»

Сейчас проще всего посмеяться над мнением литературного чиновника Трубачова. (Хотя в то время автору и руководителям Московского Художественного театра было не до смеха. Немирович потратил немало сил, чтобы спасти многое из изъятого цензурой, в противном случае Горький отказывался от постановки.) Но если вчитаться в цензорские слова в контексте старого времени, то мы обнаружим вещи весьма интересные.

Например, предложение превратить городского в отставного солдата. Только ли заботой о чести полицейского управления диктовалось это требование? Дело в том, что в России с 1867 года городские набирались именно из отставных солдат (реже из унтер-офицеров) по вольному найму для охраны порядка в губернских и уездных городах, а также посадах и местечках. Городовой являлся низшим полицейским чином. Таким образом, цензора смутило явное нарушение правды жизни, как он ее видел вокруг себя. Отставной солдат, нанявшийся в городские (с приличным, кстати, заработком — от 150 до 180 рублей в год), хотя и мог оставаться «своим братом» ночлежникам, людям социально опустившимся, но участвовать в их плутнях он едва ли мог.

«По душе» он этих людей мог жалеть и понимать. Вспомним: кто подобрал на улице Нижнего пьяную нищенку, бабушку Акулину, которая повредила себе ногу и не могла идти сама? Это был городской. «Он смотрел на нее сурово, тон его голоса был зол и резок, но бабушку Акулину все это не смущало. Она знала, что он добрый *солдат* (курсив мой. — П.Б.), зря ее не обидит, в часть не отправит — разве первый раз ему приходится поднимать ее на улице?»

Это написал молодой Пешков в очерке «Бабушка Акулина». Между прочим, он не мог наблюдать этой сцены, ибо в тот момент, когда его бабушка умирала от «антонова огня», находился в Казани. Он выдумал эту сцену, но выдумал ее в согласии с правдой жизни, *типической* правдой. А вот в «На дне» он зачем-то выдумывает *нетипического* городского Медведева, который вместо того, чтобы степенно ходить свататься к Квашне и «не ронять» в глазах ночлежников своего пусть и низшего, но все же властного чина, «скачет» вместе с ними по сцене. Это не могло не смутить цензора с точки зрения наивного реализма. Его традиционное сознание, говоря современным языком пользователей компьютеров, «глючило» от этих «картин», которые не вписывались в его привычные представления о жизни. Но едва ли не на этом и была построена вся пьеса! На множественных, так сказать, «коротких замыканиях», которые должны были возникать в сознании зрителя. Пьеса должна была вышибать его с орбиты вращения среди привычных ему «правд» и ценностей и ввергать в хаос тех вопросов, которыми неразрешимо мучился сам автор: «зачем человек?», «отчего он страдает?», «почему Тот, Кто его создал, так безжалостен к нему и как человеку

ответить на этот вызов Отца, чтобы сохранить свое благородство?» В контексте этих вопросов какая-то малая неправда с городовым не имела значения. Имело значение то, что Медведев не мог быть *просто* городовым, так же как и Сатин не был *просто* шулером.

Откуда было знать это *просто* цензору?

Обратим внимание на другое. Цензор Трубачов позаботился о том, чтобы возле умершей Анны не было грубых разговоров. «Из уважения к смерти», — пишет он. С религиозной точки зрения эти разговоры — святотатство. И Горький, конечно, сознательно шел на это. Причем здесь-то правда жизни могла быть соблюдена. Алеша Пешков немало насмотрелся покойников и того, как к ним относятся на социальном «дне». В очерке «Бабушка Акулина» он пишет о том, как пасомые его бабушкой «внучата» из нижегородского отребья попросту забирают у нее последние три рубля, приготовленные на похороны. И значит, здесь цензор потребовал от автора как раз не правды, но соблюдения духовного приличия. А вот его-то, этого духовного приличия, Горький соблюдать не желал. Напротив, он хотел взорвать его, как духовный «бомбист».

И, наконец, третье соображение по поводу цензорских замечаний. Почему его взгляд так крепко ухватился именно за Луку?

Ведь с позиции современного обезбоженного сознания Лука-то как раз «добренький», как раз «христоролюбивый». Это Сатин злой и желчный. Это Сатин отрицает Бога и «жалость».

А Лука вон какой! Если веришь в Бога, то и есть Бог, а если не веришь, то и нет. Именно эта формула Луки наиболее комфортна для современного человека. Возвращаясь к уже сказанному, именно это и заставляет нас любить «добраго» бога бабушки, а не «злого» бога дедушки, и вообще отдавать в повести «Детство» предпочтение бабушке. С таким «богом» комфортно. О нем можно на время забыть. Вспомнить, когда умер близкий, родственник. Можно не думать о нем годами. Но во время болезни обратиться к нему с мольбой. Вот этого «бога» и предлагает героям Лука.

Однако цензор Трубачов учился не в советской школе. Наверняка Закон Божий, а скорее всего, и церковный устав он знал неплохо.

С.Трубачова Лука не провел.

В другом ошибся Трубачов. Пьеса не могла провалиться не только потому, что автор ее был фантастически талантлив, но и потому, что в воздухе уже носилось предчувствие новой этики и системы ценностей. Кто-то их ждал, кто-то их боялся, кто-то их сознательно создавал. Но всем они были жутко, жутко интересны!

В пьесе «На дне» возникает «спор» между бунтарем и крайним гуманистом Сатиным и Лукой, как бы пытающимся примирить «человеческое» и «божественное». В глазах автора всякое подобное примирение есть ложь. Или, по крайней мере, пока ложь (пока человек не возвысился до Бога и «спокойно» не встал с Ним вровень). Но ложь в какой-то степени допустимая, и для обреченного человека, вроде больной Анны или проститутки Насти, даже спасительная. И тем не менее, заставив Луку в разгар конфликта исчезнуть со сцены, попросту сбежать, а Актера, поверившего ему, повеситься, автор, конечно, не стоит на стороне Луки. Но и бунт Сатина, на грани истерики, за бутылкой водки, отчасти спровоцированный самим Лукой, не несет в себе положительного начала. Он лишь устраняет «завалы» на пути к неведомой «правде» о гордом Человеке, которые пытался своей проповедью о сострадании нагромоздить Лука.

Пьеса «На дне» — удивительное произведение! Это одновременно начало модернистского театра, затем подхваченного Леонидом Андреевым, и завершение театра реалистического. Чехов «убил реализм», считал Горький и написал об этом в одном из писем. Но после этого заявления Горький вовсе не отшатнулся от «труппа» реализма и сам себя считал «бытовиком».

Совершенно невозможно уловить тонкую, прозрачную границу, где в пьесе «На дне» заканчивается бытовая драма и начинается драма идей. Каким образом читатель из «грязного» бытового сюжета попадает в горные области духа? Где тут кончается «просто жизнь» и возникает философия, предвосхитившая позднейшие открытия экзистенциализма?

В самом деле, что происходит в пьесе «На дне», если взглянуть на эту вещь «простыми» глазами?

Драма ревности старшей сестры к младшей. Галерея типов и характеров «опустившихся» или «опускающихся» людей, которые только и делают, что пьют, орут, дерутся, оскорбляют друг друга.

Почти все ключевые монологи они произносят в пьяном виде, включая «духоподъемный» монолог Сатина о Человеке, который «звучит гордо». В советских школах дети заучивали этот монолог как истину в последней инстанции, не замечая, что произносит его шулер, которого накануне избили за обман и непременно изобьют завтра.

Появление Луки в пьесе ничем не мотивировано, как и его исчезновение. Просто пришел и просто ушел. Между тем совершенно ясно, что без Луки в пьесе ничего бы важного не произошло. Обитатели ночлежки продолжали бы пить, буяннить. Васька Пепел наставлял бы рога Костылеву с его женой. Настя содержала бы Барона, торгуя своим телом. Сатин, просыпаясь, произносил бы бессмысленные слова: «сикамбр», «органон» и так далее, — рычал, обзывал всех подлецами и плутовал в карты...

Автор запускает Луку в это сырое тесто как дрожжи, и тесто начинает взбухать, подниматься, вылезать из квашни. Бытовая драма превращается в «полигон» идей. Все спорят со всеми, и выражения всех, в том числе и самые обычные, бытовые (Бубнов: «А ниточки-то гнилые»), вдруг обретают философский смысл. Это позволяет сделать неожиданный вывод, что «переодетым», «загримированным» Лукой в пьесе является сам Горький.

Он не согласился бы с такой трактовкой. Его вообще удивило и даже рассердило, что публика и критика после сенсационной постановки пьесы в Московском Художественном театре 18 декабря 1902 года образ Луки приняла с куда большим энтузиазмом, чем образ Сатина.

Он приписал это великому сценическому таланту И.М.Москвина, игравшего Луку, а также своему «неуменью», «...ни публика, ни рецензента — пьесу не раскусили, — писал Горький. — Хвалить — хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю — кто виноват? Талант Москвина-Луки или же неуменье автора? И мне — не очень весело».

«Основной вопрос, который я хотел поставить, — говорил Горький в интервью, — это — что лучше: истина или сострадание? Что нужнее?»

Истина и сострадание, в глазах Горького, вещи не просто разные, но и враждебные.

«Человек выше жалости». Жалость унижает его духовную сущность. А между тем, если пристально, «с карандашом в руках», читать пьесу, как это советовал делать прекрасный поэт и критик И.Ф.Анненский в «Книге отражений», то окажется, что «человеческая» сущность начинает вырываться из пропитых глоток Сатина, Барона, Актера, Пепла и Насти, лишь когда их «пожалел» Лука.

До его появления они «спали». Когда он их «пожалел», они проснулись. В том числе проснулся и гордый Сатин, заговорив о Человеке. Том самом, который «выше жалости». Которого надо не жалеть, а уважать. Но за что можно уважать обитателей ночлежки? За что их можно жалеть — понятно. А вот за что уважать? Это очень сложный вопрос, и от него не отмахнешься простым ответом: уважать не за что — жалеть есть за что.

В монологе о Человеке Сатин рисует рукой в воздухе странную фигуру и заявляет: «Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!» Эта ремарка («*Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека*») очень важна, без нее теряется весь смысл пьесы. Если говорить о возможном «ключе» к пониманию этой вещи, он находится как раз тут.

Человек не в состоянии справиться с Богом в одиночку. Это попытались сделать многие герои Горького — Лунев, Гордеев и другие.

Только «совокупное» человечество способно сразиться с создателем несправедливого мира. Только все вместе, «в одном», включая и героев, и пророков прошлого и настоящего. И даже таких ничтожных, спившихся созданий, как Сатин. Романтический бунт одинокого «я» против Бога Горький заменяет коллективным восстанием всего человечества. Васька Буслаев «хвастлив», пока он один. Пока за ним не пошли миллионы.

«Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы... Всё — в человеке, всё — для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга. Че-ло-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его

жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон!»

В том-то и дело, что гимн Сатина Человеку — это смертный приговор «людям». Его тост за Человека — это поминальный стакан за Барона, Настю и... Актера. После того, как произносится этот возвышенный монолог и выпивается за Человека, происходит следующее.

«Актёр. Татарин! *(Пауза)* Князь!

(Татарин поворачивает голову.) <...>

Актёр. За меня... помолись...

Татарин *(помолчав).* Сам молись...

Актёр *(быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает стакан водки, пьет и — почти бежит — в сени.)* Ушел!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда?»

Куда? Вешаться. Последним словом пьесы, после монолога Сатина и каторжной песни («Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно»), является самоубийство Актера, которому Сатин, воспев Человека как идеал будущего бунта против Бога, отказал в праве на жизнь.

Не Лука виноват в том, что Актёр повесился. Сатин... Лука жалел обитателей ночлежки, потому что они люди конченые. Дело не в том, что для Актера нет в России лечебницы, а в том, что Актёр — это «бывший человек», а грядет новая мораль, в которой «бывшим» нет места.

Иннокентий Анненский пронизательно заметил это, написав: «Читая ее (пьесу. — П.Б.), думаешь не о действительности и прошлом, а об этике будущего...» И в той же статье о «На дне» он задает вопрос: «Ах, Горький-Сатин! Не будет ли тебе безмерно одиноко на этой земле?»

Вопрос звучит как будто странно, ибо Сатин говорит как раз о «совокупном» Человеке, о «восстании масс», выражаясь словами Ортеги-и-Гассета. Какое же тут одиночество? Но в том-то и дело, что «совокупный» Человек, как отвлеченный идеал, как цель будущего, не менее, а как раз более одинок, чем многие из «людей».

Фигура, нарисованная в воздухе Сатиным, висит в пустоте. И в такой же пустоте шагает гордый Человек Горького в одноименной поэме.

«Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом — зачем он существует? — он мужественно движется — вперед! И — выше! — по пути к победам над всеми тайнами земли и неба».

Куда уж горше одиночество! Но именно это и есть тот «совокупный» Человек, за которого Сатин торжественно поднимал стакан водки, провожая в «последний путь» не только Актера, но и себя, и всех обитателей ночлежки. Тех, кого «пожалел» Горький-Лука, Горький-Сатин красиво «отпел».

О-о, они прекрасно поняли друг друга! Жалко «людей»? Конечно! «Все черненькие, все прыгают». Все «уважения» или хотя бы «жалости» просят.

Жалости — да сколько угодно! Но уважения — ни-ни! «Дубье... молчать о старике! *(Спокойнее)*. Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи».

«Вы — все — скоты!» Вот вам и вся правда.

Вот и путь к разгадке мнимого противостояния Сатина и Луки. Любопытно, что сам Горький не видел в пьесе противостояния. «В ней нет противостояния тому, что говорит Лука. Основной вопрос, который я хотел поставить, это — что лучше: истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Это вопрос не субъективный, а общеполитический. Лука — представитель сострадания и даже лжи как средства спасения, а между тем противостояния проповеди Луки представителей истины в пьесе нет. Клещ, Барон, Пепел — это факты жизни, а надо различать факты от истины. Это далеко не одно и то же». Эти слова тоже из интервью Горького 1903 года, и они многое объясняют в «На дне». Лука и Сатин — не оппоненты, но два философа, которые не знают об «истине», но

знают о «правде» и делают из нее противоположные практические выводы. Собственно говоря, это две ипостаси Максима Горького.

«Правда» заключается в том, что для «этики будущего», этики двадцатого века «люди» перестанут быть индивидуальными, духовно ценными единицами. Попытка самоубийства какого-нибудь нового Алеши Пешкова уже не всколыхнет огромный город, не заставит церковь практически заниматься вопросом его духовного спасения. Жизнь же человеческая вообще не будет стоить ломаного гроша. В грязные окопы пойдут миллионы людей, став «пушечным мясом», пищей для вшей. В них будут не только стрелять, их будут травить ядовитыми газами, как крыс, насекомых. Потом будет «красный террор», «голодоморы» тридцатых годов на Украине, на Кавказе, в Поволжье. Потом — печи Бухенвальда, массовое истребление целых наций и даже рас. Хиросима. И многое другое, что станет «этикой будущего». Вот от чего убегает со своей последней жалостью Лука и над чем в глубоком отчаянии, хлопнув для храбрости стакан водки, пытается утвердить знамя «уважения» к Человеку Сатин.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: СИЛА И СЛАВА

Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума... И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — в образе жизни, и в обращении с людьми.

Бунин. «Горький»

Испытание Льва, испытание Львом

Вспоминает Немирович-Данченко: «Весной 1902 года приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже встречался в Хамовниках и Ясной Поляне. Горький вспоминал: «Прочел ему сцены из пьесы «На дне», он выслушал внимательно, потом спросил: "Зачем вы пишете это?"»

Как ни странно, но можно предположить, что во время слушания пьесы Толстого одолевали те же сомнения, что и цензора Трубачова. В самом деле — зачем? Толстой воспринимал мир и искусство органически. Если человек за стаканом водки произносит монолог о гордом Человеке, значит, он просто бредит. Белая горячка.

Толстой ждал от Горького произведений в «народном» вкусе. И вдруг такое! Нет, он, конечно, оценил тот факт, что Горький еще в первых своих очерках и рассказах обратил внимание публики на человека «дна», на «совсем пропащих». «Мы все знаем, — записывает Толстой в дневнике 11 мая 1901 года в Ясной Поляне, — что босяки — люди и братья, но знаем это теоретически; он же (Горький. — П.Б.) показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры его неверны, преувеличенны, но мы всё прощаем за то, что он расширил нашу любовь».

В этой записи очень важна формулировка «заражать», так как главную цель искусства Толстой видел именно в том, чтобы «заражать» читателя своими мыслями, чувствами, духовным настроением. И если Горькому удалось «заразить» читателя любовью к босякам, следовательно, он выполнил, согласно Толстому, важную задачу.

А вот говоря о художественных достоинствах произведений Горького, Толстой бывал к нему беспощаден. Разумеется, начинающего драматурга Горького не мог не задеть «скучный» вопрос, как бы случайно брошенный великим старцем: «Зачем вы пишете это?» Но едва ли он знал, какие пометки оставил Толстой на полях его «Очерков и рассказов». Часть горьковских книг, подаренных Толстому, хранится в яснополянском музее. Вот старческим, расслабленным почерком он пишет карандашом на полях рассказа «Супруги Орловы»: «Какая фальшь!» Ниже: «Фальшь ужасная!» Еще ниже: «Отвратительно!» А вот мнение Толстого о рассказе «Варенька Олесова», высказанное в двух словах: «Гадко» и «Очень гадко». И только рассказу «Озорник» (милейшему, однако наиболее как бы «нейтральному» в ряду более ярких

горьковских вещей) великий Лев поставил «4», написав в конце текста рассказа: «Хорошо всё».

По воспоминаниям вождя символистов Валерия Брюсова, известный и плодовитый беллетрист Петр Боборыкин возмущался после сенсационного успеха постановки «На дне» в Московском Художественном театре: «Всего пять лет пишет! Я вот сорок лет пишу, шестьдесят томов написал, а мне таких овадий не было!»

В самом деле, было на что обидеться. Слава молодого Горького действительно доросла до размеров чего-то сверхъестественного. Его фотографии продавались, как сейчас продаются фотографии кинозвезд. В губернских и уездных городах появились двойники Максима Горького. Они носили, как он, сапоги с заправленными в них штанами, украинские расшитые рубахи, наборные кавказские пояски, отращивали себе усы и длинные волосы а la Горький и выдавали себя за настоящего Горького, давали концерты с чтением его произведений и т.д. Простонародная внешность Горького, лицо типичного мастерового сыграли с ним злую шутку.

Несомненно, он задумывался над этим и через некоторое время резко изменил свой внешний стиль — стал носить дорогие костюмы, обувь, сорочки... Зрелый Горький, каким мы знаем его по фотографиям, — это высокий, сухопарый и необыкновенно изящно одетый мужчина, не стесняющийся фотографов, умеющий артистично позировать перед ними. Сравните эти фото хотя бы с известным портретом Горького, где он вместе с Толстым в Ясной Поляне. На последнем неуютно чувствующий себя рядом с великим старцем молодой писатель. Гордое и несколько заносчивое лицо не может скрыть его смущения, «закомплексованности». Он не знает, куда деть руки. Он напряжен.

Но уже очень скоро слава Горького начинает не на шутку раздражать Толстого. «Настоящий человек из народа», который так понравился ему вначале своей, с одной стороны, стеснительностью, а с другой — независимостью суждений, превратился в кумира публики, известность которого затмила чеховскую и стремительно, как воды потопа, поднималась к его, великого Льва, олимпийской вершине. Речь идет, разумеется, не о зависти.

Толстой почувствовал, что с появлением Горького наступает какая-то новая эра в литературе. Внешне Горький сохранял преемственность литературных поколений. Горький клялся — и неоднократно — в верности Короленко. Он, как и Иван Бунин, Леонид Андреев, Борис Зайцев, Иван Шмелев и другие писатели-реалисты, с глубоким и каким-то интимным пиететом относился к Чехову. Что же касается Толстого, то для Бунина и Горького он был богом, как, впрочем, и для Чехова. Бунин вспоминал, что каждый раз, отправляясь к Толстому, весьма независимый в поведении Чехов очень старательно одевался. «Вы только подумайте, — говорил Чехов, — ведь это он написал: «Анна чувствовала, что ее глаза светятся в темноте»!»

Для Горького Толстой, помимо писательской величины, являл собой еще и величину духовную, воплощая в себе Человека.

«А я, не верующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю: "Этот человек — богоподобен"». Эти слова завершают его очерк о Толстом.

Толстой одним из первых почувствовал, что Горький несет с собой новую мораль — мораль масс.

Это насторожило его, потому что решительно противоречило его философии личного спасения через индивидуальное деланье добра, вне лона соборного православия. С Горьким же приходила какая-то новая, искаженная «соборность» в образе социализма. Это тем более насторожило Толстого, что он глубоко понял гордый индивидуализм раннего Горького и его нищенские истоки. Особая вера Толстого все-таки не выходила за пределы христианства и не порывала с ним, какие бы «еретические» мысли ни высказывал Лев Николаевич о Божественном происхождении Иисуса и Непорочном Зачатии, как бы разрушительно ни отзывался он о Таинстве Евхаристии (Причастия) и об институте церкви в целом. Гордыня Толстого, как ни парадоксально звучит, имела христианские истоки и проистекала из дерзкого желания «исправить» христианское учение. В этом отношении Толстой был даже ближе к Ницше, чем Горький. Он искал последней правды и хотел очистить христианство от наносной лжи. Горький же, как мы показали, искал уже не правды, а «выхода» из нее.

Поэтому так легко, одним коротким диалогом Луки с Васькой Пеплом, автор «На дне» разрушил идею

«Бога в себе» Толстого.

Первые дневниковые записи Толстого о Горьком были, в общем и целом, благожелательны. «Хорошо поговорили», «настоящий человек из народа», «показал нам их (босяков. — П.Б.) во весь рост, любя их, заразил нас этой любовью», «рад, что и Горький и Чехов мне приятны, особенно (внимание! — П.Б.) первый». Но примерно с середины 1903 года отношение Толстого к Горькому, если судить по его дневникам, не просто меняется, но меняется резко. И даже слишком капризно.

«Горький недоразумение», — записывает Толстой 3 сентября 1903 года и раздраженно добавляет: «Немцы знают Горького, не зная Поленца».

Вопрос, который сразу же возникает: при чем тут Поленц? Вильгельм фон Поленц (1861—1903), известный немецкий писатель-натуралист, никак не мог составлять конкуренцию Горькому, который к 1903 году прославился в Германии пьесой «На дне», пьесой о русских босяках и о русской ночлежке. 10 января 1903 года в Берлине состоялась ее премьера в Kleines Theater Макса Рейнгарта под названием «Ночлежка». Пьеса была поставлена известным режиссером Рихардом Валлентином, исполнившим роль Сатина. В роли Луки выступил сам Рейнгарт. Успех немецкой версии «На дне» был настолько ошеломляющим, что она затем выдержала триста (!) спектаклей подряд, а весной 1905 года уже отмечалось пятистое представление «На дне» в Берлине.

Повторяем, глупо и смешно подозревать Льва Толстого в зависти, но, думается, известный момент ревности в этой записи присутствовал. Не случайно, называя Горького «недоразумением», он вспоминает о немцах. Ошеломительный успех пьесы «На дне» не только в России, но и в Германии уже дошел до его слуха. Толстой слушал «На дне» еще в рукописи в исполнении самого Горького в Крыму, и уже тогда пьеса показалась ему странной, непонятно для чего написанной. Одно дело изображать босяков «во весь рост», чтобы привлечь внимание пресыщенной интеллектуальной публики, напомнить ей о том, что в этом мире огромное количество людей страдают. Это была одна из главных задач всей русской литературы девятнадцатого века, и для Толстого она была творчески органичной. Но в «На дне» он увидел не сострадание к падшим, а манифест новой этики, которая как раз и отрицала это самое сострадание, как «карету прошлого», в которой «далеко не уедешь».

Если бы пьеса не имела такого успеха, Толстой просто посчитал бы, что молодой писатель сделал неверный творческий выбор, и только. Он ведь и до этого упрекал Горького за то, что его мужики говорят «слишком умно», что многое в его прозе выглядит преувеличенно и ненатурально.

Подозрение о ревности Толстого упрочится, если мы прочитаем его дневниковую запись от 25 апреля 1906 года. В это время Горький вместе с гражданской женой актрисой М.Ф.Андреевой с триумфом, но и со скандалом (в Америке их не пустили в гостиницы, так как они не были венчаны) путешествует по стране, встречается с виднейшими американскими писателями, выступает, дает интервью, и все это широко освещается не только в американской, но и в российской прессе. «Читаю газету о приеме Горького в Америке, — пишет Толстой, — и ловлю себя на досаде».

Отрицательное отношение Толстого к Горькому усиливается. Вот записи от 24 и 25 декабря 1909 года. «Читал Горького. Ни то, ни се». Что же он читал? Пьесу «Мещане». Но почему с таким запозданием, ведь это первая пьеса Горького, написанная еще до «На дне»? «Вечер (так у Толстого. — П.Б.) вчера, — пишет он уже 25-го, — читал «Мещане» Горького. Ничтожно».

9,10 ноября того же года: «Дома вечер кончил читать Горького. Все воображаемые и неестественные, огромные героические чувства и фальшь». Опять — «фальшь»! Впрочем, есть добавление: «Но талант большой».

Талант «большой», а вещь «ничтожная» и «фальшивая».

Тем не менее интерес великого старца к «фальшивому» писателю не ослабевает. Запись от 23 ноября того же 1909 года, очень важная:

«Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель: большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим «образованным миром», который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более

заражающая этот мир. Например, его изречение: веришь в Бога — и есть Бог; не веришь в Бога — и нет Его. Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься. Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать: веришь в Него — и есть он. И я всегда так думал. И от этого мне всегда в словах Христа: любить Бога и ближнего — любовь к Богу кажется лишней, несовместимой с любовью к ближнему, — несовместимой потому, что любовь к ближнему так ясна, яснее чего ничего не может быть, а любовь к Богу, напротив, очень неясна. Признать, что Он есть, Бог сам в себе, это — да, но любить?.. Тут я встречаюсь с тем, что часто испытывал, — с раболепным признанием слов Евангелия.

Бог — любовь, это так. Мы знаем Его только потому, что любим; а то, что Бог есть сам в себе? Это — рассуждение, и часто излишнее и вредное. Если спросят: а сам в себе есть Бог? — я должен сказать и скажу: да, вероятно, но я в нем, в этом Боге самом в себе, ничего не понимаю. Но не то с Богом — любовью. Этого я наверно знаю. Он для меня все, и объяснение и цель моей жизни».

Важное рассуждение! Фактически Горький словами Луки в «На дне» разорвал главную логическую цепочку в религиозных построениях Толстого. Если Бог только в тебе, а Бога Самого в Себе нет, то и Бога нет. Неожиданно Толстой предвзвешивает мысли о любви бабушки из «Детства». Кто его знает, Кто этот Бог? А вот людей любить нужно, потому что Он так повелел.

Великий Лев продолжает сердиться. Запись от 12 января 1910 года, последнего года жизни Толстого: «После обеда пошел к Саше (дочь. — П.Б.), она больна. Кабы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького. Читал. Очень плохо. Но, главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна. Надо в нем видеть одно хорошее».

За всеми, даже сердитыми и раздраженными высказываниями Льва Толстого о Горьком нельзя не заметить пристального, пристрастного и даже ревнивого отношения к нему. Как и Чехов, Толстой понимал, что именно Горький выражает настроение новой молодежи, что чрезмерное, по его мнению, внимание к персоне Горького со стороны старой интеллигенции вызвано тем же обстоятельством.

Выражаясь языком уже цитированного М.О.Меньшикова, Горький не был «голосом народным», и Толстой это хорошо понимал, вернее, понял, когда стал внимательно читать Горького. Но именно за Горьким шла новая эпоха, а вместе с ней новая этика, новая политика, новая культура. Горький бросал вызов. Толстой не знал, что с этим делать, как на этот вызов отвечать. Таким образом, Горький на короткое время (предсмертное, самое важное для человека и писателя) явился испытателем Толстого. Особенно в образе Луки, лукавого старца, поколебавшего словами о Боге веру Толстого.

Если в жизни Толстого Горький был только эпизодом, то на самого Горького Толстой оказал едва ли не самое мощное духовное влияние. В лице Толстого Горький встретил «испытателя», по мощи своей даже близко не сравнимого ни с поваром Смуром (возможно, мифическим, но так или иначе существовавшим в его голове), ни с Ромасем. Единственный персонаж духовной биографии Горького, который может встать рядом с Львом Толстым, — это бабушка Акулина Ивановна. Крайне важно, что смерть Толстого (узнал о ней в Италии) Горький встретил так же горячо, как и гибель бабушки:

«Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался. Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем».

Когда умерла бабушка, Алеша Пешков, работник булочной Андрея Деренкова в Казани, не заплакал. Но «точно ледяным ветром охватило» его. И вновь, как и в случае смерти бабушки, ему не с кем поговорить, кроме как с самим дорогим мертвецом.

Очерк-портрет Горького о Толстом был написан много позднее смерти Толстого, через десять лет, из-за утраты, как уверял Горький, беглых заметок, сделанных им во время наиболее тесного и постоянного общения с Толстым в Крыму, в Олеше. В 1919 году он их нашел.

О бабушке Акулине он написал «Детство» спустя почти тридцать лет после ее гибели. И через два года после ухода и смерти Толстого. «Детство» писалось на Капри в 1912—1913 годах. Но замысел его возник именно в 1910-м, когда умер Толстой. Это еще одна неслучайная случайность в духовной

биографии Горького. Образно можно сказать так: слезами о Толстом он как бы «окропил» «Детство», потому что за всю свою жизнь не встречал более духовно значительных для себя фигур, чем Акулина Ивановна и Лев Николаевич.

И это были два самых сильных религиозных влияния, которые Горький испытал, но им не поддавался. Выстоял.

В религиях бабушки и Льва Толстого удивительно много общего. Безграмотная старуха, «чуваша», чувствовала своего бога именно так, как образованнейший граф и писатель, знавший множество языков, изучивший все мировые религии. Только в вере Толстого не было бабушкиной сердечности. К тому же самому богу Толстой пришел рационально, через «пустыню безверия». Толстой ухватился за свою веру в «Бога в себе», то есть в бога, фактически подмененного доброделанием, любовью к людям, как за спасительную соломинку в водовороте своих духовных метаний.

А Акулина Ивановна верила в этого доброго, но совершенно земного бога просто. Да и не то это слово — «верила». Она и была этим богом. Это Толстой старался заставить себя верить в этого бога, но именно в силу рациональности этой веры сбился на самосовершенствование, на буквализм в понимании Евангелия. Пьяная, грешная, шалопутная бабушка Каширина любила и жалела людей просто и бескорыстно, как любила пить водочку и плясать с Цыганком.

Нельзя «найти» Бога. Или ты веришь, что Он есть, или не веришь. Именно это пытался сказать молодому Пешкову святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Однако Пешков, натура гордая, не поверил ему и пошел тем же путем, что Толстой.

Очерк-портрет Горького о Толстом, написанный в 1919 году, представляет собой сложный жанр. Это одновременно и воспоминания, и записи рассуждений Толстого о разных лицах, включая самого Горького, и философское эссе на тему «Бог и человек». М.Л.Слонимский вспоминал, что в 1919 году, найдя свои старые записки о Толстом, Горький сначала хотел обработать их, но затем «принес их в издательство, бросил на стол и сказал: "Ничего с ними не могу поделывать. Пусть уж так и останутся..."»

Слонимскому противоречит другой современник. Виктор Шкловский утверждал: «В 1919 году Горький написал одну из лучших своих книг — «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эта книга составлена из кусочков и отрывков, сделана крепко. Мне приходилось видеть рукопись, и я знаю, сколько раз переставлялись эти кусочки, чтобы стать вот так крепко». Но и Шкловский впоследствии подтвердил, что кусочки и отрывки эти были в свое время утеряны, а затем найдены. Если это так, то даже жаль. Гораздо интереснее было бы, если бы Горький придумал этот жанр случайных записей, просто брошенных на стол и наугад перепечатанных секретарем-машинисткой.

Вот секретарь берет наугад листок и печатает: «Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только». Какая короткая фраза, но это целая отдельная запись, идущая под номером XV. Сколько в ней обиды!

О, он не забыл, как уезжал из Москвы, так и не встретившись с Львом Толстым (но накормленный Софьей Андреевной кофеем и булочкой), в вагоне для скота. Такие вещи не забываются! И хотя Толстой не был ни в чем виноват (уехал в Сергиев Посад отдохнуть от московского шума к князю Урусову), символика порой сильнее рациональных объяснений.

Да, обида! Несомненно, Горький был сперва обижен Толстым и только позже, почувствовав его собственную «слабину», несколько успокоился и даже сумел нанести своему обожаемому сопернику ответный удар, создав образ Луки. Конечно, когда он писал Луку, он думал о Толстом. Публика этого не поняла, ну так и что? Зато это понял сам Лев. И как огрызнулся!

Рыкнул так, что осталось в веках как самая, быть может, беспощадная характеристика Горького. «Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод...»

После такой характеристики кто-то мог бы и повеситься. Только не Горький! Этот уже прошел искушение самоубийством, преодолел в себе волю к смерти и готовится к новым искушениям. Слова Толстого, которые Горькому передал Чехов (со смехом, не соглашаясь и даже предполагая, что Толстой

ревнует Горького к Леопольду Сулержицкому, с которым у Горького завязались отношения на почве радикальных революционных идей), пожалуй, даже польстили Горькому. Сколько мощи было в этом рыке Льва!

Как великолепно рычит!

И ведь ни Бунин, ни Куприн, ни Леонид Андреев не вызвали в Толстом такого мощного духовного отторжения, как Горький. Ну да, старик брюзжал. Поругивал их как писателей. А порой и очень хвалил, особенно Бунина и Куприна. Но реальными духовными соперниками они не были, да и быть не могли. Только за Горьким стоял какой-то «еще бог», который выглядывал из-за его долговязой фигуры и строил рожи толстовскому «богу в себе».

«Однажды он спросил меня, — продолжает стучать на машинке секретарь, — Вы любите меня, А.М.?» «Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня». Тоже будто бы случайная запись, когда-то сделанная, а потом потерянная. Однако поверить в то, что до 1919 года, то есть до момента обретения этой записи, Горький не помнил о том, как искушал его великий Лев, просто невозможно. Такие вещи не забываются! Вообразите. Идут рядом (допустим, в Гаспре или в Ясной Поляне по «прешпекту») две фигуры. Горький. Высокий, все еще нескладный, все еще страшно неуверенный в себе, в свалившейся на него неожиданной славе. Постоянно курит. Если верить поздним воспоминаниям Бунина, некрасиво тушит папиросы, пуская в мундштук слюну. Кашляет. И — Толстой. Невысокий, сухой после перенесенной серьезной болезни, но все еще крепкий. И Горький перед ним — как «младенец», хотя кто из них черт, надо еще разобраться.

И вдруг такой вопрос: «Вы любите меня, А.М.?» В самом вопросе как бы нет никакого подвоха. Любите ли вы меня как человека, как писателя? Но Горький страшно смущен. Дело в том, что он не знает ответа на вопрос: любит ли он Толстого? Боготворит — да. Но любит ли?

«У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакое русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов».

А теперь закончим фразу Толстого про «бога-урода», которому о чем-то сообщает Горький. «А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб». Вот они и обменялись «богами». И как тут не вспомнить бабушку Акулину Ивановну с любовью даже к чертеняткам?

Впрочем, в другом месте Горький поправляет собственную версию толстовского «русского бога», хитрого, но не величественного. «Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа».

И тотчас из Саваофа превращается в гнома: «В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома».

Но, между прочим, этому «гному» уступают дорогу сами Романовы:

«У границы имения великого князя А.М.Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту.

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому».

Именно потому, что Толстой, в глазах Горького, богоподобен, его любовь к Христу вызывает у него

сомнение: «О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой силы сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя — иногда — любит его, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют».

Христа, стало быть, засмеют, а его, «эдакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов», девки не засмеют? Потому что «свой», деревенский? Бог-мужичок?

«Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!»

И дальше — еще жестче: «Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем».

Так что же, Толстой — не народный характер? Нет, оказывается, все-таки народный: «Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, Бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним».

Этот хитрый мужичок-странник напоминает другого «мужичка», изображенного Иваном Буниным в одноименном стихотворении:

Ельничком, березничком — где душа захочет —
В Киев пробирается божий мужичок.
Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормочет,
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.
«Али сладко, дедушка?» — «Грешен: сладко, внучек».
«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»
«Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.
Со крестом да с верою всякий путь хорош».
Ягодка по ягодке — вот и слава Богу:
Сыты. А завидим белые холсты,
Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку — и опять в кусты.

Любопытно, что образ странника в очерке о Толстом вдруг перерастает в образ, очень схожий с тем, которым «наградили» сам Толстой Горького. Образ «пришлого», внимательно наблюдающего за чужой ему жизнью незнакомых людей: «Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого».

Вспомним: «...пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем...»

Вот именно: «...доносит какому-то своему богу». Только в случае Толстого бога этого нет, потому что Толстой *сам бог*.

В глазах Горького он не просто «богоподобен», а именно бог, обращенный из «человека». Поэтому Толстой и не может любить Бога, не может признать Божественной сущности Христа и Тайнства Непорочного Зачатия.

«В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое

желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?

— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения "двух медведей в одной берлоге"».

Напомним: это взгляд Горького, так он видел Толстого. Или так хотел его видеть.

В очерке Лев Толстой предстает в различных «божественных» ипостасях. Саваоф, «русский бог». Вот он напоминает Посейдона или даже Зевса.

«Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль в море, а к ногам его послушно подкатываются, лапятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и всё вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движениями облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль: "Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!"»

В последней фразе надо сделать поправку: не «человек» — «сверхчеловек».

Горький изображает именно «сверхчеловека», то есть Человека, ставшего богом. Это и восторгает, и смущает его. Весь очерк построен на смешанном чувстве восторга и смущения.

Смерть Толстого так потрясла Горького потому, что с ней рушилась еще одна иллюзия его ранней романтической идеологии. И хотя к 1910 году, когда умер Толстой, а уж тем более к 1919-му, когда писался (составлялся из старых заметок) очерк, иллюзия эта давно была похоронена в его сердце, как и в случае со смертью бабушки Акулины Ивановны, старая сердечная могила была потревожена. Человек не может быть богом. Один человек никогда не станет богом. «Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены — отработали урок свой каторжный».

Не бог — человек.

Ко времени смерти Толстого уже была написана повесть «Мать», в которой Горький резко повернул от «сверхчеловека» к идее «сверхчеловечества». От обиды на Бога и жажды мести Ему к попытке создания новой веры и новой церкви. Уже была написана «Исповедь», в которой провозглашалась мысль о «богостроительстве». Новая вера не противоречила прежнему «человекопоклонству» Горького, о котором он, в частности, писал в письме к Толстому еще в 1900 году. «Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле, и даже, переворачивая Демокритову фразу на свой лад, говорю: существует только человек, все же прочее есть мнение. Всегда был, есть и буду человекопоклонником, только выражать это надлежало сильно не умею». Новая вера была продолжением «человекопоклонства», но только в возможность обращения личности в божество Горький уже не верил.

Смерть Толстого ставила последнюю точку в былой романтической вере, как смерть Акулины Ивановны ставила последнюю точку в вере в силу жалости и любви. Впрочем, эти точки ставились только в его голове. Недаром Толстой однажды заметил Горькому: «Ума вашего я не понимаю — очень

запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!»

«А вот теперь (после смерти Толстого. — *П.Б.*) — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и точно высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: "Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки — здравствуйте!"»

Последним даже не словом, а своеобразным моральным жестом Горького в отношении Толстого, не бога, а человека, было его публичное, от 1924 года, выступление в берлинском журнале «Беседа» в защиту уже покойной Софьи Андреевны Толстой. Поводом к написанию статьи Горького «О С.А.Толстой» послужила книга В.Г.Черткова «Уход Толстого» (Берлин, 1922), в которой известный последователь учения Льва Толстого изобразил его «уход» как результат исключительно «семейной драмы», тенденциозно изобразив при этом жену Толстого, мать его большого семейства.

Это страшно возмутило Горького. «Полагаю, — пишет он, — что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но — не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще — как паразитов».

Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынный и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью. В «Дневнике» 1852 года он записал об одном знакомом своем: «Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».

Итак, в глазах Горького Софья Андреевна была «бронею» или, лучше сказать, «москитной сеткой», защищавшей старого Льва от множества «мух и паразитов», то есть назойливых людей, буквально атаковавших Толстого и в Ясной Поляне, и в Хамовниках. И Лев Толстой мог позволить себе относиться к этим людям снисходительно, несколько даже «по-барски», отчасти именно из-за своей жены, которая «страстно» отгораживала его от лишних знакомств и посетителей. Кому, как не Горькому, когда-то явившемуся к графу с просьбой о земле и деньгах, было понять это, как бы ни был он сам обижен в свое время.

Обиды, тем не менее, запомнились. И не только самая ранняя. Вот Горький пишет: «Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии¹¹ Андреевне (имеется в виду очерк Горького о Толстом. — *П.Б.*). Она не нравилась мне. Я подметил в ней

¹¹ В очерке «О С.А.Толстой» Горький временами называет ее Софьей, а временами Софией. «София» значит «мудрость». Было ли это сделано преднамеренно? Так или иначе, в очерке есть весьма любопытные рассуждения о том, что София Андреевна правильно понимала склонность мужа к нигилизму (отрицание искусства, «сапоги выше Шекспира» и проч.) и крайне болезненно переживала это.

ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримо огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала страшит публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, — тот самый, единственный на земле, человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софьи Толстой, порой — комичны и даже несколько унижали ее. Ей не следовало подчеркивать себя еще и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен померяться с его женою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и еще кое-что неприятное в ней — всё это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его».

Вот поистине рыцарское понимание роли в жизни Толстого женщины, которая не любила самого Горького и была прежде неприятна ему! Для молодого Горького Толстой был бог. Для Софьи Андреевны — муж-писатель, на которого смотрел весь мир. И отец ее детей.

«Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, — роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала она сама...

Уже один факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдерживать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязенькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циничское стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя».

Последние строки очерка «О С. А. Толстой» не оставляют сомнения, что в 1924 году Горький уже не смотрел на Толстого как на бога. И хотя в приведенных строках речь идет главным образом о жене Толстого, сама психологическая тональность финала убеждает в том, что для Горького Лев Толстой — гений и величайший русский писатель, но... не бог.

«В конце концов — что же случилось?»

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным *человеком* (курсив мой. — П.Б.), женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, — страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный *человек* (курсив мой. — П.Б.), муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения *человека* (курсив мой. — П.Б.) людьми (так у Горького. — П.Б.), плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтобы с наслаждением клеветать на нее.

Вот и всё».

Как удивительно просто и глубоко понял Горький «семейную драму» Толстых! Насколько в очерке о самом Льве Толстом он путался в определениях, не понимая, с какой стороны, с какого бока подойти к великому Льву и как миновать его когтей, настолько по-человечески просто и благородно написал он о жене Толстого, тем самым наконец доказав, что он выдержал «испытание Львом». Не благодаря уму.

Благодаря «умному сердцу».

Но ведь именно это (руководствоваться своим «умным сердцем») и завещал ему Толстой. Старик все же победил его!

Горький, Бунин и Шаляпин

Жизнь Горького в период написания «На дне» ничем не отличалась от жизни вполне обычного писателя. Впрочем, уже хлебнувшего известности. Но еще не ставшего в точном смысле «властителем дум», кумиром.

Он и от провинции-то еще не отпочковался. Но уже не бедствует, есть средства. По свойственной ему щедрости тратит их направо и налево. Чувствует себя физически хорошо. «Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей», — пишет он К.П.Пятницкому. Живет в Нижнем Новгороде. В столицах ему не понравилось.

Например, в октябре 1900 года (работа над «На дне» только еще приближается) во время премьеры пьесы Чехова «Чайка» в Московском Художественном театре произошел скандал. Великая пьеса, ставшая впоследствии признанным мировым шедевром наравне с «Гамлетом», «оселком» для проверки высшего режиссерского мастерства, во время премьеры в Москве успеха не имела. А тут еще в фойе оказался Горький, приглашенный Чеховым. Публика, разумеется, ринулась глазеть на новую знаменитость. Более двусмысленной, обидной и унижительной для Чехова ситуации невозможно было представить. И тогда Горький взорвался. Пусть глупо, нелепо, но искренне:

—Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник... И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками.

Впрочем, это по версии виновника скандала. В газете «Северный курьер» написали, что он орал на публику так:

«Что вы глазеее!»

«Не смотрите мне в рот!»

«Не мешайте мне пить чай с Чеховым!»

В Москве Горький познакомился с вождем символистов Валерием Брюсовым и начинающей знаменитостью Федором Шаляпиным. С первым завязываются ровные деловые отношения. Горький, хотя и демократ по убеждению и реалист по вкусам, не прочь поскандалить творчески и согласен печататься вместе с «декадентами». В январе 1901 года он напишет Брюсову в ответ на его просьбу прислать в символистский альманах «Северные цветы» какой-нибудь рассказ: «Ваш первый альманах выйдет без меня. Искренно говорю — мне это обидно. Почему? Потому что вы в литературе — отверженные и ходить с вами мне не приличествует». Так и написал — «ходить».

Короткая московская встреча с Шаляпиным переросла в многолетнюю дружбу. Конечно, была в этой дружбе «звездная», как сказали бы нынче, сторона. Когда Горький с Шаляпиным появлялись на публике вместе (в театре, или ресторане, или просто на улице), это производило двойной фурор. А если рядом оказывался еще и Леонид Андреев, или Куприн, или писатель пусть и с более скромной, но прочной славой — Иван Бунин, — публика просто теряла дар речи.

На это обратил внимание в своих поздних воспоминаниях Бунин. На роскошную жизнь писателей в то время, когда население страны трудилось в поте лица своего, жило в бедности. В «Окаянных днях», самой страшной и пронзительной своей книге, Бунин, не без покаяния, вспоминал:

«Вот зима 16 г. в Васильевском. Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом, спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старинной лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И как всегда карандашом и очень грубо, цифра семь исправлена на восемь: исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей,

распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка деревянным с морозу голосом, — ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу вышибло. Опять же стынь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостинной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле., блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморосью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!»

Вот из-за чего двадцать верст стучалась Махоточка по ухабам».

От кого могла быть эта телеграмма? Ее могли подписать Горький с Шаляпиным, Куприн с Леонидом Андреевым, Скиталец с Телешовым. В самом тексте телеграммы чувствуется пьяный кураж, желание сделать приятное коллеге по перу. И, конечно, никто из них не думал о какой-то Махоточке. Впрочем, и Махоточка не осталась в накладе: получила тридцать копеек сверх положенного. Но именно такие «сюжеты» (Бунин вспомнил его уже в феврале 1918 года, когда бежал от большевиков на юг, в Одессу, а затем за границу, в Париж) и предвещали революцию.

В эмиграции Бунин несколько раз публично высказывался о Горьком, и всякий раз отрицательно. Только в написанном после смерти Горького, опубликованном в газете «Иллюстрированная Россия» (июль 1936 г.) своеобразном «некрологе» он позволил себе сказать, что смерть Горького вызвала у него «очень сложные чувства». Но вслед за этим признанием Бунин не пощадил мертвого и изобразил Горького все-таки в карикатурных тонах. И опять, как и в прежних выступлениях Бунина, чувствовалось, что его страшно раздражала ранняя, по его мнению, незаслуженная слава молодого Горького.

Эту славу он объяснял чем угодно, но только не крупным талантом (впрочем, мастеровитость его признавал).

«Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между народниками и недавно появившимися марксистами. Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, делали такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил газетой «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на книгах такие, например, посвящения: «Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!»

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей».

Живописуя Горького подобным образом, Бунин сперва «забыл» сказать, что среди этих «других писателей» был и он сам, что он охотно печатался в руководимых Горьким периодических изданиях, а еще более охотно — в издательстве «Знание», где писателям платили огромные гонорары, выдавали неслыханные авансы под еще не написанные вещи, что позволяло роскошно жить, ездить за границу. Ничего удивительного, что первую свою поэму — «Листопад» — Бунин посвятил Горькому, как посвятил Горькому Куприн свою повесть «Поединок» (оба посвящения затем были сняты). Он «вспомнит» об этом страницей позже, но скороговоркой: «Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его газете «Новая жизнь», потом стал издавать книги в его издательстве «Знание», участвовал в сборниках «Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, — больше всего из-за марки «Знания», — тоже неплохо».

Прочие — это чьи? В том числе и бунинские.

Бунин — великий художник. Но его «некролог» о Горьком говорит о том, что он не выдержал испытания славой... чужой славой. Иначе не стал бы писать и печатать о недавно скончавшемся (и немало сделавшем ему доброго человека) следующее:

«В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускавшего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь, то барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, — хотя и без умолку, — они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...»

Но кто же был среди этих «друзей»? Вероятно, Скиталец, Леонид Андреев. Несомненно Шалапин. А сам Бунин? Видимо, смерть Горького действительно вызвала в Бунине «очень сложные чувства», если в конце «некролога» он все-таки решил признаться:

«Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне, в эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: «Господа, среди нас такой-то...» Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия.

Потом мы с ним, с Шалапиным, с А.Н.Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как оказалось...»

Так заканчивается «некролог», тоже вызывающий «очень сложные чувства». Попытка позднего Бунина отстраниться от писателей-реалистов начала двадцатого века, во главе которых стоял Горький, была заведомо обреченной. Сам Бунин это, скорее всего, понимал. Только пристрастным, ревнивым (не в толстовском смысле) отношением его к Горькому объясняется то, что именно в заметках о Горьком Бунин представал в стане литераторов в одиночестве. Это была не столько попытка отстраниться от коллег, с которыми у Бунина были хотя и сложные, но, так или иначе, полнокровные творческие и дружеские отношения, сколько желание вывести себя за круг легенды, когда-то созданной с тяжелой руки Зинаиды Гиппиус, выступавшей в качестве критика под псевдонимом Антон Крайний.

Это была легенда о «подмаксимках». Именно так назвала она писателей-реалистов — Андреева, Скитальца, Телешова, Чирикова и других. Бунин тоже оказался в их числе. До последних дней гордый — не менее гордый, чем Горький, но только по-своему, — Бунин не мог простить этой обиды. В какую ярость он пришел, когда увидел в иллюстрированной газете «Искры» (не путать с большевистской «Искрой») от 2 февраля 1903 года ехидный шарж Кока (псевдоним Н.И.Фидели) под названием «Подмаксимки»! Там Горький был изображен в своей широкополой шляпе в виде большого гриба, под которым росли очень маленькие грибочки с физиономиями Андреева и Скитальца. И уж совсем крохотный грибок с лицом Ивана Бунина стыдливо выглядывал из-за спины... простите, «ножки» Маэстро. К тому времени Бунин был уже автором «Листопада», рассказов «Танька», «На чужой стороне», «Антоновские яблоки».

«Есть, — пишет Бунин, — знаменитая фотография, — знаменитая потому, что она, в виде открытки,

разошлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шалапин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься». Значит, по крайней мере, внешняя сторона жизни Бунина в начале двадцатого века не слишком отличалась от жизни его соратников по «Знанию»? Просто поздний Бунин, или, вернее, Бунин после «Окаянных дней» и бегства из России, на многое смотрел иначе. Как, впрочем, и Максим Горький.

В дружбе Горького и Шалапина «звездная» сторона не играла решающей роли. Рожденные и выросшие на Волге, хлебнувшие в детстве и юности горя и тяжелого труда и при этом органически талантливые, Горький и Шалапин были родственны по природе своей. Куда менее был родственен Горькому Бунин. И даже Куприн, прошедший, как и он, горькое полусиротское детство в приюте для престарелых с нищей матерью, не стал Горькому близким другом. В Куприне авантюризм, свойственная и Горькому, сочеталась с армейской выправкой и строгими понятиями о чести бывшего выпускника Московского пехотного Александровского училища.

А вот Шалапин...

Как же они бросились друг к другу, когда во время следующей, уже не мимолетной, как в Москве, но основательной встречи в Нижнем Новгороде вдруг выяснили, что все это время (до славы) жили где-то рядом и наверняка не раз видели один другого, но так и не познакомились! Вспоминает Федор Шалапин:

«Хотя познакомились мы с ним сравнительно поздно — мы уже оба в это время достигли известности, — мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше взаимоотношение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он — нижегородского, я — казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хориста: Горький был принят, я — отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в «цепи» на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-нибудь булочника...»

Дружба Горького с Шалапиным длилась более четверти века, до серьезной размолвки в конце двадцатых годов, когда Шалапин наотрез отказался от уже не первого совета Горького приехать из эмиграции в Советский Союз, и окончательного разрыва в тридцатые годы, когда Шалапин потребовал от советского издательства гонорар за публикацию своей автобиографии, в реальности написанной Горьким (Шалапин был полуграмотен). Были между ними и раньше трения, но всегда как-то разрешались, а этот конфликт уже был неразрешим. Горький возвращался на родину в одиночестве, хотя и окруженный множеством людей, поклонников и поклонниц, хотя и встреченный на Белорусском вокзале многотысячной толпой народа. Конечно, он понимал, что за возвращение и комфортное устройство быта его семьи в СССР он будет обязан «заплатить» Сталину. Шалапин же прямо сказал ему во время их все еще теплой, дружеской встречи в Риме в 1929 году, что на родину ехать не хочет.

«Не хочу потому, — объяснял он позднее в своей мемуарной книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах», — что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь «аппарата»... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят, и нишкни — никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит, другой скажет: «вышел новый декрет», а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет:

— Батюшка, это же революция, пожар. Как вы можете претендовать на меня?..

Алексей Максимович, правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он

вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер, не монархист и не кадет, и вот когда так ответишь на вопрос: кто ты? — тебе и скажут:

— А вот потому именно, что ты ни то ни се, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на Пресне...

А по разбойничьему характеру моему я очень люблю быть свободным и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переносу».

В очерке о Шаляпине Бунин еще раз вспомнил эпизод своей последней (тоже теплой, дружеской) встречи с Горьким в апреле 1917 года. В этой встрече участвовал и Шаляпин.

«В России я видел его (Шаляпина. — П.Б.) в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, почему мы с Шаляпиным явились на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:

—Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он очень решительно сказал прибежавшему:

— Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал, несмотря на рев из зала».

История с «коленипоклонением» такова. 6 января 1911 года на премьере оперы «Борис Годунов» в конце спектакля артисты хора встали на колени и передали находившемуся в театре Николаю II прошение о надбавке жалования. Оказавшийся среди них Шаляпин тоже встал на колени. После 9 января 1905 года, поражения революции 1905—1907 годов, так называемых «стольпинских галстуков» (виселицы, на которых казнили особо опасных революционеров) отношение к императору Николаю со стороны либеральной интеллигенции было безоговорочно отрицательным. В то же время Шаляпина с его знаменитыми «Дубинушкой», «Марсельезой», которую он исполнял в конце «Двух гренадеров», числили среди «левых» по убеждениям. Шаляпин на коленях перед «Николаем Кровавым»? Скандал был огромный! В знак протеста А.В.Амфитеатров вернул Шаляпину его фотографическую карточку с дарственной надписью.

Горького, находившегося в это время в эмиграции в Италии, на Капри, известие о «позорном» поступке Шаляпина тоже возмутило.«...Если бы ты мог понять, как горько и позорно представить тебя, гения, — на коленях перед мерзавцем...» — писал он Шаляпину, еще не разобравшись в существе дела. Между тем поступок Шаляпина, который не только материально не нуждался, как простые артисты хора, но и был достаточно состоятельным человеком, являлся как раз демократическим жестом. Этот поступок свидетельствовал об отсутствии у гениального певца высокомерия перед людьми низшего социального положения, тем более перед своими коллегами «на театрах». Именно это особенно ценил в Шаляпине Горький. «Этот человек — скромно говоря — гений», — писал он В.А.Поссе. А в письме к К.П.Пятницкому уточнил: «Шаляпин — это нечто огромное, изумительное и — русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь тернии всяких унижений взшел на вершину горы, весь окурен славой и — остался простецким, душевным парнем».

Что же произошло на сцене Мариинки 6 января 1911 года? Об этом Шаляпин рассказал Бунину:

«Как же мне было не стать на колени? Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что

же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленапреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, — весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом?»

Разобравшись в сути дела, Горький счел должным вступить за своего друга. Шаляпин, написал он А.В.Амфитеатрову, «похож на льва, связанного и отданного на растерзание свиньям». Между Горьким и Шаляпиным состоялось письменное объяснение, а затем Шаляпин отправился на Капри.

«Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани, — вспоминал Шаляпин, — Горький на этот раз выехал на лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим его благородным жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишней раз дав мне понять, что знает цену мелкой пакости людской...»

Может показаться странной, даже искусственной и неестественной такая зависимость «гения» от публичного мнения. Плюнуть и растереть! В конце концов, А.В.Амфитеатров не имел и десятой доли шаляпинской славы, хотя был популярным писателем, создателем многотомных «семейных хроник» («маленький русский Золя» — называла его критика) и журналистом, автором прогремевшего в 1902 году фельетона «Господа Обмановы» с критикой царствующего дома Романовых, за который его сослали в Вятку. Почему так переживал Шаляпин?

Надо учитывать психологию артиста. Для него мнение публики, отношение к нему — это не просто суетное желание славы, но крайне важная составляющая часть творчества. Если артист не чувствует любви публики к себе, он вянет, как цветок, который перестали поливать. Артист «заряжается» от любви публики, от ее обожания, от своего успеха. А если он чувствует, что публика или хотя бы ее значительная часть не доверяет ему и подозревает его в подбострастии к сильным мира сего, он и играть не может полнокровно, и петь не может во весь голос, с открытой настежь душой. Во всяком случае, такой артист, как Шаляпин. И это тоже понял Горький.

Не случайно в тот визит на Капри благодарный своему другу Шаляпин много и охотно пел. Две недели пробыл он у Горького. На прощание он устроил потрясающий концерт. «Два гренадера», «Ноченька», «Сомнение» Глинки, неизменная «Блоха», «Молодешенька» и, конечно, «Вдоль по Питерской». Но это не все. «Действительно — пел Ф. (Шаляпин. — П.Б.) сверхъестественно, страшно, — писал тогда Горький А.Н.Тихонову, — особенно Шуберта «Двойник» и «Ненастный день» Корсакова. Репертуарище у него расширено очень сильно. Изумительно поет Грига и вообще северных. И — Филиппа II. Да вообще — что же говорить — маг».

А вот встреча в Риме в 1929 году закончилась скверно. Горький не захотел понять Шаляпина. Может быть, потому, что и самого себя в то время не очень хорошо понимал. «Я почувствовал, — продолжает свои воспоминания Шаляпин, — что Алексею Максимовичу мой ответ не очень понравился».

Эти строки были написаны уже после возвращения Горького в СССР. Шаляпин тактично «закруглял углы». Но если он объяснил Горькому свой отказ вернуться на родину именно в тех словах, которые я выше цитировал, то несложно представить, до какой степени он задел и оскорбил своего друга. Фактически он сказал Горькому, что дружба дружбой, а характеры у них все-таки разные. Горький (по крайней мере, уже в то время) был способен не только подчиниться «аппарату», но и сам быть «аппаратом», чем он и стал при сталинском режиме. Шаляпин же не столько разбойник, сколько птица, которая поет где хочет, и эти песни всюду нужны людям. Правда, именно Шаляпину принадлежит афоризм: «Я не птичка, чтобы петь задаром». Как раз материально Шаляпина, вернись он вместе с Горьким в СССР, обеспечили бы не хуже, чем в Европе. Лучше. Но свобода!..

Горький поступался ею, а Шаляпин не желал. Но у него были другие возможности. Знаменитый оперный певец всегда более востребован за границей, чем знаменитый писатель.

Этот отчасти субъективный, но отчасти и неизбежный конфликт стал точкой в их многолетней дружбе. «Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю, — потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных».

«Я думаю, — опять же тактично продолжает Шаляпин, — что чуткий и умный Горький мог бы при

желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я, с своей стороны, никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И всё, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и характеру.

Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает — есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся».

Возвращаясь в СССР, Горький входил в новый, на этот раз уже последний зигзаг своего духовного пути. Это был выбор уже не писателя, который мог создавать «Жизнь Клима Самгина» где угодно, как А.В.Амфитеатров продолжал работать над своими «семейными хрониками» в эмиграции, в том числе в Италии, где до возвращения в СССР жил Горький. Это был выбор пророка и деятеля, которому Сталин обещал огромные возможности. Если не для пророчеств, то для дела.

Вряд ли Шаляпин, при всем своем удивительно цепком народном уме, это до конца понимал. А если понимал, то едва ли это было приемлемым для него. Правда, к «умственной» стороне личности Горького он относился почтительно. «Я уважаю в людях знание. Горький так много знал! Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог бы рассказать мне о снегире такие подробности, что, если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не могли бы».

За почтением здесь видна и ирония. Но легкая, необидная. Шаляпин действительно не мог, как и всякий честный «самоучка», не преклоняться перед знаниями Горького, перед его культурным багажом. Но для чего были эти знания и этот культурный багаж? Какие цели, кроме исключительно художественных, ставил перед собой Горький, — это едва ли всерьез интересовало Шаляпина. «Вождь», «революционер». Это все, что он мог сказать о духовной миссии своего друга.

Это была дружба двух талантов и русских мужиков, которых связывал один, может быть, самый главный жизненный исток — великая и прекрасная Волга.

И это была красивая дружба!

На духовное развитие Горького она не имела того резкого, внезапного, даже катастрофического влияния, какое имело короткое знакомство с Львом Толстым или «тонкая», заведомо проигранная игра со Сталиным. Но в той, как сказал бы Солженицын, «сплотке» двух родственных русских характеров был крайне важный элемент взаимной духовной поддержки и «подпитки». Вот почему Горький так настойчиво звал Шаляпина за собой. Он не хотел оставаться один. Он желал, чтобы и Шаляпин разделил с ним ответственность за лукавый во многом шаг. Чтобы «сплотка» сохранилась. Чтобы взаимообмен таинственной русской энергией, питавшей эти таланты отчасти и от Волги, с ее волнами, ритмично и неутомимо набегающими на песчаные плесы, не прерывался. Но Шаляпин не пожелал следовать в западню.

И все-таки в основном своем выводе Шаляпин был не прав. «Правд» на земле много. И в возвращении Горького была правда. И тоже глубоко русская, как и «разбойная» правда Шаляпина. Возвращаясь, Горький жертвовал не только свободой. Он жертвовал собой. Оставаясь в эмиграции, Бунин и Шаляпин сохраняли себя. Горький собой жертвовал.

Ах, какая красивая это была дружба!

«При Шаляпине особый размах приобретали так называемые «большие рыбные ловли», — пишет исследователь двух итальянских периодов жизни Горького Л.П.Быковцева, — которыми время от времени «угощали» на Капри самых дорогих гостей. В таких случаях привычный распорядок дня ломался. И с самого раннего утра на нескольких лодках большими компаниями отправлялись из Марина Пиккола, влево за Фаральони, к Белому гроту. В громадной пещере грота свободно могло разместиться много людей. Там

была своего рода «база», где складывали провизию и разводили огонь. Оттуда уходили в море ловить рыбу. К полудню возвращались с уловом, и вскоре в Белом гроте закипала уха. Иногда в завершение такого дня большой лодочный караван объезжал вокруг острова, что соответствовало давней местной традиции рыбацкого Капри и называлось "повенчаться с островом"».

Вспоминает один из участников рыбалки — М.М.Коцюбинский:

«В 6 часов утра мы уже были в море, на трех лодках... Вода тихая и такая прозрачная, что на большой глубине уже видишь, как серебряным пятном или серебряным ужом плывет еще живая, но на крючке, рыба. Вот вытаскивают вьюна, который длиннее меня, а толщиной в две человеческих ноги. Вьюн вьется, бьется, и его оглушают железным крюком и бросают в лодку. Затем опять идет рыба — черт, вся красная, как коралл, с большими крыльями, как Мефистофель в плаще. Затем опять вьюны, попадаются маленькие и большие акулы. Последних должны убивать в воде, потому что втаскивать их живыми в лодку опасно, могут откусить руку или ногу... Каких только рыб не наловили... Наконец вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместились бы 2 человеческих головы, и светит и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным. Ее нельзя было вытащить, ее обмотали веревками, били железом и привязали к лодке. Говорят, в ней пудов девять-десять. Вообще поймано много рыбы, одних акул штук пятнадцать-двадцать... Затем мы заплыли в какую-то пещеру, там закусывали, пели песни и купались, кто мог. Потом еще ловили рыбу удочками и возвратились домой только вечером, так что пробыли на море 12 часов».

Об акульей охоте (рыбалкой это уже не назовешь), в которой Горький принимал самое непосредственное участие, с невольным восхищением вспоминает и художник И.Бродский:

«В честь нашего приезда Горький устроил грандиозную рыбную ловлю, в которой участвовало двадцать пять человек. Ранним утром, вместе с рыбаками, мы отправились в море, наловили много рыбы и начали на берегу варить замечательную каприйскую уху, о которой так восторженно отзывался Алексей Максимович. Пока рыбаки варили уху, мы купались, а затем, выкупавшись, расположились у костра. Вдруг кто-то заметил, что к берегу быстро приближается что-то большое, вроде подводной лодки. Когда это «что-то» подплыло очень близко, рыбаки догадались, что это акула. Не опасаясь людей, она приблизилась к лодке, в которой был богатый улов рыбы. Рыбаки вместе с Горьким бросились к лодке, сделали из каната петлю, накинули ее на голову акулы и принялись избивать хищницу веслами. Это занимательное зрелище продолжалось довольно долго, так как акула утащила лодку от берега на целый километр. Мы все восторгались, видя, как рыбаки, во главе с Горьким, глушат веслами акулу. Окончательно добить хищницу им удалось уже далеко в море, и только через несколько часов бесстрашные охотники вернулись на берег, волоча за собой на буксире побежденного врага. Наконец акулу вытащили на берег, и рыбаки стали ее потрошить: разрезали брюхо, вытащили внутренности, а сердце преподнесли Алексею Максимовичу. Отделенное от тела небольшое сердце акулы, величиной с кулак, билось еще два часа, а сама акула также жила еще несколько часов и долго была хвостом, так что нельзя было к ней подойти. Мы все любовались невиданной жизненной силой...»

В шутивном письме к писателю А.С.Черемнову Горький писал: «Мы живем на Капри, не капризная. Вчера с 6-ти утра до 11 ночи ловили рыбу компанией в 13 рыбаков и 32 капризника и капризниц. Поймали — хорошо. Пили белое, красное, зеленое, чай, кофе и всякие иные жидкости».

Но и все эти отчасти веселые, отчасти кровавые забавы не мешали главному занятию, которому посвящал себя Горький на Капри, — литературе. «После уженья поели ухи и засиделись до двенадцати часов ночи, — вспоминает Коцюбинский. — *Литература, литература и литература*». О том же вспоминала жена Бунина Вера Николаевна Муромцева: «Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками...» Она же отметила манеру чтения Горьким вслух своих произведений: «Он читал как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес».

«Большую искренность» любви Горького к литературе признавал даже поздний Бунин. Уже зная о злых высказываниях Бунина в эмиграции на свой счет, живя в СССР, Горький и в статьях и устно

продолжал писать и говорить о недостижимой высоте мастерства Бунина-прозаика, призывал молодых писателей учиться у него. Между прочим, это помогло А.Т.Твардовскому в шестидесятые годы «пробить» издание девятитомного собрания сочинений И.А.Бунина. Как не издать писателя, мастерством которого восхищался великий пролетарский писатель Горький!

Злая ирония судьбы — Бунин возвращался на родину, к русскому читателю, благодаря тому, кого он язвительно высмеивал в своих эмигрантских заметках: «О Горьком, как ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых 35 лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о Соколе», — песня о том, как «высоко в горы вполз уж и лег там», а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился ужалить за что-то сокола, тоже почему-то оказавшегося в этих горах».

Эти безусловно в чем-то критически верные, но в то же время удивительно нравственно *несправедливые* слова о Горьком Бунин опубликовал в газете «Иллюстрированная Россия» в 1930 году. До этого заметки о Горьком были прочитаны им вслух в собрании русской эмиграции.

Они прежде всего доказывают, что Бунин читал Горького куда менее внимательно, чем Горький — Бунина. Уж не жалил Сокола. Сокол бросился со скалы в пропасть. Ругать исключительно аллегорическую вещь за реалистическую неточность — все равно что критиковать баснописца: зачем у него животные говорят человеческом языком? Другое дело, что в «Песне о Соколе», одном из самых ранних произведений Горького (впервые напечатанном в «Самарской газете» под названием «В Черноморье» и с подзаголовком «Песня» в 1892 году, за шесть лет до выхода книги «Очерки и рассказы»), было много романтически преувеличенного, даже безвкусного. С высоты требовательного художественного вкуса Бунина эта вещь действительно выглядела ужасной. Но разве Бунин не знал ее прежде? Когда издавался вместе с Горьким, Kupриним, Андреевым? Когда печатался в сборниках «Знания», изрядно потрудившись в провинциальной периодике и зная, чего стоит журналистский хлеб, который и зарабатывал Горький, печатаясь в «Самарской газете» в самых разнообразных жанрах, от «Песни» до фельетонов?

Бунин был прав объективно. Но по-человечески был несправедлив. А главное, именно в это время оба они, Бунин и Горький, стали претендентами на Нобелевскую премию. И конечно, с точки зрения мировой известности и влияния Иван Бунин серьезно уступал Горькому. Почему именно в это время Бунин «вдруг» вспомнил о несчастном гордом Соколе и трусливом Уже? Почему спустя почти сорок лет, не помня даже толком сюжета этой ранней вещи Горького и не удосужившись ее перечитать, набрасывается на нее с критикой?

В январе 1932 года, когда до присуждения Нобелевской премии Бунину оставалось примерно полтора года, он вновь выступает против Горького в самой влиятельной парижской эмигрантской газете — «Последние новости». На этот раз объектом его насмешек становится самая знаменитая на Западе вещь Горького — пьеса «На дне». Бунин язвительно описывает первое представление «На дне» в Московском Художественном театре, после которого Горький закатил грандиозный ужин в ресторане. И вновь — Горький нелеп, смешон, неприятен.

Оба эти выступления стали, конечно, известны Горькому, который и в СССР, и в Сорренто следил за эмигрантской печатью. «Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев (Иван Алексеевич Бунин. — П.Б.), — пишет он в это время А.Н.Тихонову, — злопыхательство его все возрастает, и — странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдуманная им для самосохранения».

Если не считать отдельных упоминаний Бунина в связи с горьковской критикой «белоэмиграции» в целом, Горький публично не отвечал на грубые наскоки Бунина, продолжая говорить о его мастерстве и восхищаясь им как живым классиком. Но в блокноте он сделал запись:

«Читал «Заметки» Бунина и вспомнил тетку Надежду, вторую жену дяди моего Михаила Каширина. Дядя и его работник били бондаря, который, работая в красильне, пролил синюю «кубовую» краску. Из

дома на шум вышла тетка и, схватив кол, которым подпирали «сушильные» доски, побежала, крича:

— Нуте-ко, постойте-ко, дайте-ко я его...

На Бунина тетка Надежда ничем не похожа была, — огромная, грудастая, необъятные бедра и толстейшие ножищи. Роба большая, круглая, туго обтянута рыжеватой, сафьяновой кожей, в середине роби — маленькие синеватые глазки, синеватые того цвета огоньков, который бывает на углях, очень ядовитые глазки, а под ними едва заметный, расплывшийся нос и тонкогубый рот длинный, полный мелких зубов. Голос у нее был пронзительно высокий, и я еще теперь слышу ее куриное квохтанье:

— Ко-ко-ко-ко...»

Горький не опубликовал этого, но внутренне он отомстил Бунину как художник художнику, на что справедливо указала исследователь Горького Н.Н.Примочкина. Если бы Бунин прочитал это, он не мог бы не оценить меткости и выразительности этого эпизода. Зачем Горький записал это в блокнот? Возможно, только затем, чтобы сказать самому себе: если надо, если потребуется, я могу «отхлестать» Бунина не менее зло и язвительно, чем он меня. Но, повторяем, публично он этого не сделал.

Перипетии присуждения Бунину Нобелевской премии (и соответственно не присуждения Горькому, Шмелеву и Мережковскому — конкурентам Бунина) не имеют прямого отношения к теме духовной судьбы Горького. Все же в жизни Горького это событие сыграло значительную роль. Судя по воспоминаниям Нины Берберовой, Горький на премию некоторое время рассчитывал, и его возвращение в СССР отчасти было связано с тем, что расчеты эти не оправдались.

В самой эмиграции присуждение Нобелевской премии Бунину было воспринято неоднозначно. Так, Марина Цветаева, которая никогда не любила прозу Горького, как он не любил ее, по его словам, «истерические» стихи, писала в связи с этим: «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться — изъяснить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но — так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому... Впрочем, третий кандидат был Мережковский, и он также несомненно больше заслуживает Нобеля, чем Бунин, ибо если Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи, то Мережковский — эпоха *конца* эпохи, и влияние его в России и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого *никакого*, вчистую, влияния ни там, ни здесь не было. А «Посл<едние> новости», сравнивавшие его стиль с толстовским (точно дело в «стиле», т.е. *пере*¹², которым пишешь), сравнивая в *ущерб* Толстому, — просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится молчать».

Справедливости ради необходимо сказать, что Нобелевская премия была куда нужнее Бунину, чем Горькому. (Вопрос о Мережковском — сложнее. В какой степени Мережковского можно считать художником, а в какой — философом? Нобелевская премия вручается все же за литературу.) Горький имел выбор: остаться за границей, порвав с коммунистами, или уехать в СССР. До самого последнего момента, то есть до отъезда в СССР в 1933 году, он колебался в этом выборе, да и с 1928 по 1933 год фактически жил «на два дома», зиму и осень проводя в Сорренто. У Бунина выбора не было.

Судьба расставила всё по своим местам. Горький, с его неумной жадой общественной деятельности, уехал в СССР, чтобы стать тем, кем он стал: вождем и узником одновременно. Бунин, с его стремлением к свободе, самосохранению, огораживанию своего писательского «я» от постороннего влияния, получив Нобелевскую премию, приобрел краткую материальную «передышку»¹³, но самое главное — мировое признание.

Бунин, «Записи»:

«9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу.

¹² Игра слов у Цветаевой: «стиль», «стило», «перо», то есть то, чем пишешь.

¹³ Значительная часть премии была благородно передана им нуждающимся писателям-эмигрантам.

Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит Бельведер, в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстреля и ловлю себя на мысли: «Может быть, как раз сейчас где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...»

В синема я, однако, забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь».

ДЕНЬ ШЕСТОЙ: ДРУЖБА-ВРАЖДА

Мне всегда казалось, что наша дружба или вражда не есть только наше личное дело.

Из письма Леонида Андреева Горькому

Единственный друг

На известной фотографии 1902 года, сделанной в Нижнем Новгороде М.П.Дмитриевым, Горький и Леонид Андреев сидят вместе, тесно прижавшись друг к другу. Горький обнял Андреева за плечо. Давайте внимательно всмотримся в фотографию... Это был, наверное, наиболее романтический период их дружбы, когда они только что познакомились и с интересом всматривались друг в друга, одновременно и узнавая себя в другом, и понимая, насколько они непохожие и даже противоположные натуры.

«Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его. В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, — мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздаются как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезду, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным, — и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать».

Это строки из очерка Горького о Леониде Андрееве. Он был написан осенью 1919 года, сразу после известия о смерти Андреева в Финляндии. Корней Чуковский вспоминал о том, как Горький узнал о кончине Леонида Андреева:

«В сентябре 1919 года в одну из комнат «Всемирной литературы» вошел, сутулясь сильнее обычного, Горький и глухо сказано, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева...

И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением:

— Как это ни странно, это был мой единственный друг. Единственный».

Вот как! Не Ромась, не Шаляпин. Не десятки и не сотни других людей, с которыми Горький общался

на протяжении жизни, с которыми вел переписку, встречался более или менее постоянно. Леонид Андреев. Какой же широтой натуры обладал Горький, если, занятый мыслями о революции, общественной и литературной деятельностью, этот борец и жизнелюб, оказывается, душой тянулся к Леониду Андрееву, главной мыслью которого была мысль о смерти человеческой!..

Горький, Андреев и Толстой

И снова мы имеем дело с неслучайной случайностью. Очерк об Андрееве был написан почти сразу после воспоминаний о Толстом. В этом не было воли самого Горького. Просто одновременно были обреты записки о Толстом и умер Леонид Андреев.

Но как это важно, что «портрет» Андреева писался Горьким, еще не «остывшим» после схватки с великим Львом! Эти два «портрета», Толстого и Андреева, — как два зеркала, направленных друг на друга. Они создают два бесконечных коридора в обе стороны. И в каждом коридоре, в бесконечной перспективе, блуждает Горький.

Толстой и Андреев не похожи друг на друга ничем, кроме главной мысли. Это — мысль о смерти. Для Толстого смерть — его, великого Льва, смерть — такое же *недоразумение* природы и Бога, как слава раннего Горького. Для Андреева смерть — это единственное, что есть «настоящего» в жизни. Что не призрачно, не обманчиво.

А вот Горький словно «пережил» смерть. Ее для него не существует. Вернее, она для него «недоразумение» не в личном плане, а во вселенском. Но это «недоразумение» — такая же ошибка природы и Бога, как всякое несовершенство человеческое, которое необходимо исправить. Не сейчас, так потом. Когда человек возвысится до Бога.

Горький отодвигает вопрос о смерти не в сторону, а в будущее. Когда он писал об Андрееве, им уже был прочитан русский философ Николай Федоров, тоже высказавший идею о необходимости уничтожить смерть как причину страданий людских.

Позиция Горького разумна. Смерть, мысли о ней не должны мешать человеку совершенствоваться — прочь эти мысли, и да здравствует жизнь! Эта позиция противоположна христианской, где мысль о смерти («memento mori») занимает центральное место. «Помни о смерти», о том, что предстоит после нее, и это организует твою жизнь, направив ее в религиозное русло.

Толстой и Андреев ближе к позиции христианства. Но странно! Мысль о смерти гнетет и отравляет существование обоих, а Горький живет как человек истинно верующий, без страха, не испытывая ни малейшего ужаса перед неизбежным концом. В этом, наверное, главный парадокс его мировоззрения. Горький — это верующий без Бога, бессмертный без веры в загробное существование. Его вера — в пределах человеческого разума. А поскольку разум человеческий, по его вере, беспределен, всё, что находится за пределами разума, до поры до времени не имеет никакого смысла.

Например, смерть...

Андреев считал это трусостью.

«— Это, брат, трусость — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любишь, обманывая себя и других, глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, — все это только сердило его».

И вновь во время этого разговора Андреев «льнет» к Горькому, тянется к нему «вплоть», как к земле под пронсящимся железным составом. И в то же время ненавидит его.

«Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, черт тебя возьми! <...> И, бодая меня головой в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг к другу, — ты ведь знаешь, как я одинок!»

В отношениях с Толстым Горький был в большей степени испытуемым, нежели испытателем. Для Толстого Горький был эпизодом, «недоразумением», в котором великий Лев пытался разобраться, но которое, конечно, не являлось главным содержанием его духовной и умственной жизни. Горький мог его интересовать, раздражать, даже, пожалуй, испытывать (образом Луки). Но изменить Толстого Горький не мог, да и никто уже не мог. Наоборот: Толстой мощно влиял на Горького. Как художник Горький знал свою зависимость от могучей и какой-то уже почти нечеловеческой мощи реализма Толстого, но, тем не менее, развивался именно в реалистическом ключе. Один раз вкусив божественного меда эстетической правды Толстого и Чехова, он, как и Иван Бунин, уже не мог полюбить эрзац псевдоромантической эстетики, которой изрядно послужил в молодые годы. Мучаясь и бесконечно работая над словом, Горький не только врожденным талантом, но и неустанным трудом выбился в мастера реализма, не обращая внимания на шумный успех своих ранних вещей. И конечно, строгие глаза автора «Казиков» и «Хаджи-Мурата» всегда были перед его глазами.

В очерке о Леониде Андрееве есть эпизод, когда в гости к Горькому в Нижнем Новгороде приходит отец Феодор Владимирский, арзамасский протоиерей, член второй Государственной думы, интересный человек, философ, дочери которого стали революционерками, а сын — коммунистом, с 1930-го по 1934 год работавшим наркомом здравоохранения РСФСР. В это время к Горькому в Нижний приехал Леонид Андреев и быстро сошелся с отцом Феодором на почве философских споров. «По стеклам хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего...»

Ирония Горького очевидна. «Старый и малый», как дети неразумные, «ворошат» вечные вопросы, а со стены на них смотрит с портрета Толстой, который для Горького в этот период являлся Учителем, причем таким, которого еще нужно постичь, ибо он учит не «теориями», а личным духовным масштабом. От такого Учителя возможно заслужить презрение, а можно — легкое (но не более!) одобрение. Но самое высшее, что можно заслужить, — это интерес Учителя к твоей духовной личности.

Вот чем в это время озадачен Горький. Эпизод, описанный в очерке об Андрееве, относится к октябрю 1902 года. В апреле этого же года Горький приехал в Нижний из Крыма, где в Гаспре встречался с Толстым. Именно тогда он видел Толстого-Посейдона на берегу моря и навсегда запомнил его таким. И, возможно, тогда родились записи: «Его интерес ко мне — этнографический интерес...» и «Он — чёрт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня».

Критик и литературовед В.А.Сурганов, занимавшийся творчеством Горького, однажды указал автору этой книги на ключевое слово во второй записи. Это: *еще*. В 1902 году *еще* младенец? Но позвольте! Именно 1902 год был ключевым, поворотным в жизни Горького, когда из молодого и популярного автора «Очерков и рассказов», романов «Фома Гордеев» и «Трое» он становится одной из главных фигур русской культурной и общественной жизни начала двадцатого века. И уже не только русской, но и мировой. Им активно интересуются в Европе и США, его рассказы спешно переводят на английский, болгарский, венгерский, голландский, датский, испанский, литовский, немецкий, норвежский, польский, сербский, французский, чешский и шведский языки — и все это за один лишь 1902 год!

Младенец?!

8 февраля 1902 года он избран в почетные академики на заседании Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук и изящной словесности. В марте получает от академии извещение об этом и уведомление, что диплом ему будет послан дополнительно. Увы, академики поспешили. Министерство внутренних дел представило Николаю II доклад об избрании Горького в почетные академики вместе с подробной справкой о его политической неблагонадежности. Известны слова императора, начертанные на докладе: «Более чем оригинально». Менее известно его письмо к министру народного просвещения П.С.Ванновскому с требованием отменить избрание. Между тем, в этом письме есть свои резоны:

«Чем руководствовались почтенные мудрецы при этом избрании, понять нельзя.

Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его не представляют достаточное наличие причин в пользу его избрания на такое почетное звание.

Гораздо серьезнее то обстоятельство, что он состоит под следствием. И такого человека в теперешнее смутное время Акад<емия> наук позволяет себе избирать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объявить, что <по> моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии».

9 марта министр просвещения П.С.Ванновский пишет президенту Академии наук России великому князю К.К.Романову: «Государь император мне повелеть соизволил: объявить соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности императорской Академии наук, что Его Величество глубоко огорчен избранием вышеупомянутым соединенным собранием в свою среду Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим Горький»).

В «Правительственном вестнике» появляется сообщение о недействительности выборов Горького: «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим Горький»), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 уголовного судопроизводства, объявляются недействительными».

Горький в это время находится в Крыму. Встречается с Чеховым, читает Толстому сцены из еще не законченной пьесы «На дне», над которой в это время работает. К.К.Романов обращается к таврическому губернатору В.Ф.Трепову с распоряжением отобрать у Горького уведомление об избрании «почетным академиком».

Горький закусывает удила: «...С просьбой о возврате этого уведомления Академия должна обратиться непосредственно ко мне».

6 апреля В.Г.Короленко пишет председателю II Отделения Академии наук А.Н.Веселовскому письмо, в котором не соглашается с отменой выборов Горького и просит созвать собрание Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности, чтобы сделать заявление о сложении с себя звания почетного академика.

25 июля В.Г.Короленко посылает на имя А.Н.Веселовского новое письмо — с отказом от звания почетного академика. Ровно через месяц, 25 августа, то же сделает А.П.Чехов.

Младенец?!

Рядом с Толстым — да, духовный младенец. Горький понимал это и в 1902 году, когда была сделана запись о «чёрте» и «младенце», и в 1919-м — когда писался очерк о Льве Толстом. Но уже в 1926 году он напишет биографу И.А.Груздеву: «Мой мир развивался от Протея к Шекспиру, Сервантесу, Пушкину, переживал атавистические кризисы в лице Л.Толстого и т. д., но его тенденция остается несокрушимой, — несмотря на изгибы, вызванные усталостью, это тенденция к Человеку, сложнейшему <из> всех сложных явлений».

Итак, увлечение Толстым — это «атавистический кризис». Но атавизм — это пережиток прошлого. Какое же прошлое переживал Горький в 1902 году, в тот бурный для него год, когда он лично разозлил государя, написав свою самую знаменитую пьесу и ведя жизнь революционера? Ведь в 1902 году Толстой для Горького бог (или чёрт, но сравнение с Богом звучит в очерке чаще), а он, Горький, младенец.

С Леонидом Андреевым ситуация почти полностью противоположная. И хотя Андреев был слишком увлечен собой, чтобы обоготворять Горького, как Горький обоготворял Льва Толстого, он, несомненно, долго находился под мощным влиянием Горького и переживал это как личную духовную проблему. Проблема «Горький — Толстой» во многом напоминает проблему «Андреев — Горький», и характерно, что обе эти проблемы обозначаются именно в 1902 году. Но разница была в том, что Горький, угодивший в когти великого Льва, был сильной натурой. Этим он одновременно и раздражал Толстого, и вызывал его интерес к себе. Андреев был натурой слабой, изначально склонной к душевному подчинению. Поэтому Горький выбрался из-под влияния Толстого как духовного учителя. Наоборот, на Андреева влияние Горького оказало положительное воздействие, а вот процесс внутренней борьбы с Горьким не столько закалил его, сколько еще более закрепостил. Иногда борьба с тем, от кого ты душевно зависишь, ведет к еще

худшей зависимости.

Горький глубоко понимал эту личную драму Андреева и никогда не пытался своего друга испытывать. Наоборот, Андреев постоянно испытывал Горького, не всегда понимая, что испытывает он, в сущности, самого же себя.

«На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал: «Начиная с курьерского «Бегемота», здесь всё писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим всю обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага».

Непокорный ученик

Отношения Андреева с Горьким чем-то похожи на отношения Ницше и Вагнера. И там и тут можно выделить три периода отношений. Первый: сильнейшая душевная и интеллектуальная зависимость. Второй: попытка выбраться из-под влияния. Третий: ненависть и презрение.

Но была между этими историями «дружбы-вражды» и принципиальная разница. В отличие от Ницше, в молодости боготворившего Вагнера, как Горький Толстого, Андреев изначально переживал свою зависимость от Горького как несвободу и своеобразно мстил другу. Именно творческая месть смущала Горького. Он видел в ней кривое отражение их с Андреевым отношений. Как ни странно, но здесь «общественник» Горький, упрекавший Бунина в эстетической самодостаточности и отсутствии революционных идей («Не понимаю, как талант свой... вы не отточите в нож и не ткнете им куда надо», — писал он Бунину), оказался эстетическим пуристом и защитником творческой свободы. Горький тяготился влиянием на Андреева и радовался, когда Андреев от него отмежевывался, как это было во время конкуренции издательств «Знание» и «Шиповник». Но это еще больше разжигало в Андрееве страсть испытывать своего учителя.

А начиналась их дружба безоблачно...

«Весною 1898 г. я прочел в московской газете «Курьер» рассказ "Баргамот и Гараська"», — пишет Горький.

Первый номер газеты «Курьер» вышел в 1897 году. Редактором ее был А.Я.Фейгин. Скоро газета собрала вокруг себя лучших писателей того времени. С «Курьером» тесно сотрудничали Чехов, Горький, Бунин, Вересаев, Станюкович, Телешов, Гиляровский, Серафимович и другие.

Андреев сотрудничал с «Курьером» наиболее активно. За пять лет, с 1898 по 1902 год, он напечатал там 28 рассказов и около 220 фельетонов.

«Пасхальный» рассказ «Баргамот и Гараська» был напечатан 5 апреля 1898 года.

Прочитав его, Горький сказал: «Черт знает что такое... Я довольно знаю писательские штуки, как вогнать в слезу читателя, а сам попался на удочку: нехотя слеза прошибла...»

И в то же время Горький заметил в рассказе то, чего не заметил никто. «... От этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором *умменькая улыбочка недоверия к факту* (курсив мой. — П.Б.)».

Чутье Горького было поразительным! По первому рассказу, притом рассказу заказному, написанному для пасхального номера, в специальном жанре, вычислить даровитого прозаика! Да, права была жена Бунина В.Н.Муромцева: Горький — что было большой редкостью для писателя — любил чужие произведения.

В 1901 году книга рассказов Андреева по протекции Горького выходит в «Знании», и автор ее просыпается знаменитым. Ранние рассказы Андреева — «Баргамот и Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек» и другие — привлекают редкой душевной чистотой и сентиментальностью в лучшем смысле. За этой сентиментальностью не сразу разглядишь «умменькую улыбочку недоверия к факту», которая затем разрастется у Андреева до масштабов «Красного смеха». И так же ранний скептицизм Андреева,

привлекательный тем, что это был скептицизм легкий, ненавязчивый, придающий его рассказам необходимую остроту, впоследствии разовьется во «вселенскую критику» (А.В.Луначарский), в отрицание смысла бытия.

Рассказ «Баргамот и Гараська» о том, как орловский городской на Пасху пожалел нищего как «брата во Христе» и пригласил его домой. Но там случился конфуз. От неожиданности Гараська расплакался, и притом так некрасиво, что испортил Баргамоту и его жене праздник. Кстати, этот конец возник уже во второй, книжной редакции рассказа и не без влияния Горького.

Первая их встреча состоялась 12 марта 1900 года на Курском вокзале в Москве, где Горький оказался проездом из Нижнего в Крым.

«Одетый в старенькое пальто-тулупчик, он напоминал актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах... Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простужено кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неумно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден».

На обратном пути из Крыма в Нижний Горький ненадолго остановился в Москве, и там их отношения «быстро приняли характер сердечной дружбы».

Горький легко сходилась с людьми, молодой Андреев — тоже. Хотя в гимназии Андреева за гордый и сумрачный вид прозвали Герцогом. Но это была одна из его масок. В семье доброго, ласкового Леонида звали Коточкой. Рано потеряв отца, сильно пившего орловского землемера, Леонид нежно любил мать, происходившую из бедных дворян Пацковских. Несмотря на дворянское происхождение, Анастасия Николаевна была полуграмотна. После смерти отца заботы о многочисленной семье легли на плечи старшего из детей — Леонида.

В детских и юношеских биографиях Горького и Андреева, с одной стороны, почти нет ничего общего, кроме ранней потери отца. Но с другой — есть «странные сближенья». Оба подростками ложились между рельс под поезд, испытывая себя. Оба юношами пытались покончить с собой. Андреев — не меньше трех раз.

«Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма, — ответил он. — Вы сами знаете, — человек, который не пробовал убить себя, — дешево стоит».

Любопытно: первый раз Андреев бросился под поезд, прочитав «В чем моя вера?» Толстого. Из этой статьи он сделал странный вывод: Бога нет. А раз нет, то зачем жить? И вот, возвращаясь с ребятами с пикника вдоль железной дороги, лег под поезд. Конечно, были и другие причины. Андреев с детства был влюбчив. Первый опыт любви к зрелой женщине случился у него в 11 лет.

Как и Горький, Андреев рано увлекся Шопенгауэром, а затем Ницше.

«Еще в гимназии, классе в 6-м, начитался он Шопенгауэра, — вспоминала сестра его матери З.Н.Пацковская. — И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты — тоже только мое представление».

Но, в отличие от Горького, круг философского чтения Андреева был весьма ограничен. Писарев, Толстой, Гартман, Шопенгауэр. Здесь же почему-то «Учение о пище» Молешотта. И все понималось им как отрицание смысла бытия. Еще подростком он записывает в дневнике, что станет «знаменитым писателем и своими писаниями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь всеразрушением». Когда в зрелом возрасте Андреев читал свой дневник, эти слова удивили его самого «совсем не мальчишеской серьезностью».

В отличие от Горького, не закончившего даже средней школы, Андреев учился в классической гимназии и в 1891 году, когда Пешков уже странствовал по Руси, поступил на юридический факультет Петербургского университета. Во время учебы страшно бедствовал, почти голодал. Тогда им был написан первый рассказ — о голодном студенте, который пытается покончить с собой необычным способом: снимает с кровати матрас и ложится спиной на железную сетку, поставив под нее пылающую жаровню.

«Я плакал, когда писал его, — вспоминал потом Андреев, — а в редакции, когда мне возвращали рукопись, смеялись».

Впоследствии Андреев использовал этот сюжет в рассказе «Загадка», но жаровня тогда сменилась на свечу. Таким образом, самоубийство выглядело еще более странным, изощренным и невероятным. Интересно, что в 1925 году, обсуждая в переписке с И.А.Груздевым самоубийство Сергея Есенина, Горький неожиданно повторил андреевский сюжет (см. «Суицидомания Горького» в главе «Сирота казанская»).

Вообще удивительно, что они подружились. Более непохожих людей трудно себе представить. Горький — поклонник Человека и его разума. Андреев — отрицатель разума и смысла жизни человеческой.

«Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь — безумно страдая — искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе».

«Мне эта тема не понравилась, — пишет Горький, — он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему, в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно...»

Это был их первый серьезный разговор после встречи на вокзале. И сразу между Андреевым и Горьким обозначилось противостояние. Но отчего их так тянуло друг к другу? Ведь именно после этой встречи они стали друзьями.

Вопрос этот больше относится к загадочной, сотканной из множества противоречий натуре Горького. Андреев, при всей своей загадочности, весь нараспашку, весь — комок обнаженных нервов, даже когда пытается играть. Он, говоря словами Достоевского о Некрасове, «раненое сердце». Ужаленный мыслью о смерти, он нигде не находит покоя, везде одинок и страдает, даже оказавшись на вершине славы. На этом фоне Горький со своим железобетонным гуманизмом неинтересная фигура. И легко забыть, что этот невыгодный образ самого себя создал не кто иной, как сам Горький. Здесь было своего рода благородство художника, который самоустранился, дав возможность проявиться и высказаться своему герою. Потом этот прием Горький использует в очерке о Блоке.

«Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л.Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которые не часто являются результатом даже долготелней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, — Леонид поглощал его в неимоверном количестве...»

Беседа длиною в двадцать и более часов не может держаться на одном умственном интересе. Почему Андреев нуждался в Горьком, понятно. Если рассуждать прагматически, то Горький предоставил Андрееву площадку для успешного старта. Он выполнил миссию, которую по эстафете получил от Короленко: известные писатели должны помогать неизвестным. В идеалистическом плане Андреев видел в Горьком «рыцаря духа», называя себя «колеблющимся поклонником» духа. Горький был для Андреева своего рода Данко, который выводил его из тьмы сомнений к ясности. Под влиянием Горького Андреев настолько увлекся освободительными идеями, что порой становился революционером больше, чем Горький (роялистом больше, чем король).

Например, Андреев не мог понять, как Горький может любить В.В.Розанова. Ведь Розанов — монархист, сотрудник суворинской газеты «Новое время»! И для Горького здесь было противоречие, но не из самых трудных. Весь сотканный из противоречий, подобные вопросы он решал легко. Розанов

талантлив, следовательно, уже является украшением образа Человека. А монархист он или нет, это не суть важно. Не верящий в Человека Андреев подобного решения вопроса не понимал из-за своей прямолинейности. Не мог он понять и того, почему Горький так увлекается житийной, религиозной литературой. Для Андреева, не верящего в Бога так же, как и в Человека, любая мистика — это трусость. «... Ядро культурных россиян совершенно чуждо мистической свистопляске и якобы религиозным исканиям — этой эластичной замазке, которой они замазывают все щели в окнах, чтобы с улицы не дуло», — писал Андреев В.С.Миролюбову в 1904 году. Под этими словами подписался бы и Владимир Ленин.

Для Горького же святые подвижники вроде Стефана Пермского — это прежде всего люди прямого, ответственного дела. Их цельность, твердая воля привлекали Горького так же, как привлекал его Ленин.

«Мужское» и «женское»

У переписки Горького с Андреевым была сложная судьба. После смерти Андреева его огромным архивом владела его вторая жена — Анна Ильинична. Наиболее значительную часть писем Горького к Андрееву она передала сыну Валентину Леонидовичу, жившему во Франции. Затем девяносто три письма приобрел у Валентина Леонидовича Архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете в Нью-Йорке, десять писем он передал старшему брату, Вадиму Леонидовичу, жившему в Швейцарии. Копии этих ста трех писем получил Илья Зильберштейн, они легли в основу 72-го тома «Литературного наследства». Судьба писем Андреева к Горькому еще сложнее. Часть их Горький сжег, по-видимому, не желая, чтобы наиболее откровенные (быть может, скандально откровенные) письма Андреева были обнародованы. Часть — раздарил. В результате в 72-м томе «Наследства» были опубликованы 103 письма Горького и 75 писем Андреева. Но и этого достаточно, чтобы том писем превратился в напряженный и увлекательный психологический роман.

В этом романе Андрееву отведена «женская» роль, а Горькому — «мужская». Андреев постоянно о чем-то вопрошает Горького, о чем-то умоляет его, что-то требует от него. Горький же неизменно делает поправку на психологическую неустойчивость своего корреспондента. Андреев несколько раз признается ему в любви как к художнику и человеку. Горький это благосклонно принимает, но не позволяет слишком увлечь себя темой своего «я», полагая, что есть темы более важные. Эта его закрытость злит Андреева. Он желает предельной откровенности. Горький от нее лукаво уклоняется. Несколько раз Андреев провоцирует ссоры, разрывы отношений, совершает глупости, ведет себя по-хулигански, как бы испытывая другую сторону: а вот это ты стерпишь? а это? а так?

Наконец Андреев «изменяет» Горькому. Вернее, не ему, а их делу, как его понимает «серьезный» Горький. И тут Горький обнаруживает ревность, которой не было прежде. После большой измены он не прощает Андрееву уже и малейших прегрешений, на которые раньше смотрел сквозь пальцы. Выволочка следует за выволочкой, и Андреев, униженный, подавленный, рвет с Горьким. Оба страдают от этого разрыва, но в большей степени Андреев. По крайней мере, его страдания более заметны. Несколько раз они пытаются помириться, но не получается. Что-то непоправимо сломалось в их отношениях, какой-то стержень, порвался какой-то центральный нерв. Остается только вспоминать прошлое.

Наличие «мужского» и «женского» начал тут очевидно, хотя, разумеется, не нужно делать из этого слишком прямолинейные выводы. И так же очевидна взаимная дополняемость двух сторон, которые, будучи антагонистичны по природе своей, тем не менее нуждаются друг в друге, может быть, как раз в силу обоюдного комплекса неполноценности.

Волевой и позитивно мыслящий Горький нуждается в слабом и негативистски настроенном Андрееве. Почему? Потому что это позволяет ему, не изменяя своей внешней цельности, внутренне переживать андреевский «раздрай» как свой собственный и тем самым «отдыхать» на этом «раздрае» от тягостной необходимости быть всегда волевым, всегда лидером. В свою очередь Андреев нуждается в Горьком и в качестве душевной опоры, и в качестве объекта для своих провокаций. Провоцировать такого же провокатора, как ты сам, неинтересно да и бессмысленно. Психологическая искра высекается, когда объект сопротивляется твоим провокациям.

Например: Горький — поклонник книги, страстно влюбленный в литературу. Следовательно, Андреев

должен «ужалить» его в это «место».

«Читать Л.Н. не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня «Илиада», Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, протитупировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара. <...> Однажды я читал газетную статью о Дон Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой, у него хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь...»

Провокация тут очевидна. Для Горького русская и мировая литература — это незыблемая система ценностей. Да и Андреев, конечно, не верит в то, что говорит. На самом деле он видел в русской литературе ее «вселенский» смысл, обожал Достоевского и был как писатель зависим от него.

Но его «женская» природа возмущена «мужской» объективной любовью Горького к Литературе, где писатель Андреев вместе с остальными писателями, как единица, значит очень мало, а пожалуй, и не значит вообще ничего в отдельности от общемировой системы ценностей. Это все равно что любить Красоту, не замечая живущей рядом красивой женщины. Уже в период разрыва отношений с Горьким в статье «Летопись»¹⁴ Горького и мемуары Шалапина» Андреев выскажет свою обиду откровенно:

«Любя литературу как нечто отвлеченно-прекрасное и безгрешное, Горький не сумел внушить своей аудитории и своим последователям любви к литераторам, — к живой, грешной, как все живое, и все же прекрасной литературе. Всю жизнь смотря одним глазом (хотя бы и попеременно, но никогда двумя сразу), Горький кончил тем, что установил одноглазие как догмат».

Несправедливость обвинительных слов Андреева в отношении Горького очевидна. Никто из русских писателей никогда не сделал столько именно для живых, конкретных литераторов, сколько сделал Горький. И ни один писатель так не умел ценить «чужое», как он. Но по-человечески Андреева можно понять. Ведь совсем недавно Горький не захотел вникнуть в его проблемы, не пожелал прислушаться к его голосу. И сразу забыты и горьковский искренний восторг от «Баргамота и Гараськи», и от первой книги Андреева в «Знании», и многое другое.

Интересно, что мотив «одноглазия» Горького в несколько ином виде затем появится в дневниковой записи Блока от 22 декабря 1920 года: «Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому — по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии — о двух правдах. Оба (северо) — восточные».

Эти строки возникли год спустя после того, как Блок, по просьбе Горького, написал свои воспоминания об Андрееве. В этих воспоминаниях он выделил важную характерную черту не только андреевского творчества, но и личности Андреева — постоянное чувство хаоса в себе. Таким образом, Горький, как он предстает в дневниковой записи 1920 года, и Андреев, как видит его Блок в мемуарном очерке 1919 года, стоят в отношении друг друга на разных полюсах. В том же очерке Блок сочувственно цитирует отзыв Андрея Белого о пьесе Андреева «Жизнь Человека», которая была антитезой ранней поэмы Горького «Человек». Белый услышал в пьесе «рыдающее отчаянье». «Это — правда, — писал Блок, распространя творческую характеристику Белого на личность Андреева, — рыдающее отчаянье вырывалось из груди Леонида Андреева, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны».

Кто «некоторые»? По-видимому, писатели из круга символистов, которые ценили Андреева. И уж точно не «волевой» Горький. Ему «рыдающее отчаянье» Андреева как раз не нравилось, так как он всерьез переживал за разум и психику своего друга.

«Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

¹⁴ «Летопись» — журнал, издававшийся Горьким с 1915 по 1917 год.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго натянутое внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, и, по естественной гордости человеческой, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти».

Это волевой, «мужской» взгляд.

В свою очередь Андреев хорошо чувствовал женскую логику.

«Однажды я рассказал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски искренно стал хвастаться:

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера».

Революция и эмиграция

В начале 1905 года Андреев предоставил свою московскую квартиру для заседания большевистской фракции ЦК РСДРП. В донесении в департамент полиции сообщалось, что 9 февраля состоялось собрание «главных деятелей Российской социал-демократической рабочей партии для выработки программы по вопросу о революционизировании народных масс». Вместе с участниками заседания хозяин квартиры был арестован и отправлен в Таганскую тюрьму. После освобождения под залог за ним было установлено наблюдение полиции, которое велось до его отъезда в Берлин.

Настроение Андреева после освобождения было более чем оптимистическим. «Воспоминание о тюрьме, — писал он Горькому, — будет для меня одним из самых милых и светлых — в ней я чувствовал себя человеком». Пребывание в тюрьме он назвал «увеселительной поездкой».

Полностью свое жизненное кредо Андреев излагает в письме к Вересаеву: «Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное «нет» — сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»?

Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно. Смысл, смысл жизни — где он? Бога я не приму, пока не одурею, да и скучно — вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно — но конец где? Стремление ради стремления — так ведь это верхом можно поехать для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий ответ — ложь. Остается бунтовать — пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем».

«Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве? — спрашивает он Вересаева. — Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию — именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю, и странно — точно ответ какой-то есть в этой любви. А начнешь думать — снова пустота».

В апреле 1906 года Андреев переехал жить в Финляндию. Ее северная природа, ее скалистые берега были сродни мрачной натуре Андреева. 8—9 июня он присутствовал на съезде представителей финской революционной Красной гвардии и выступил там против роспуска Государственной думы в России, призвав к вооруженному восстанию. Однако жестокое подавление Свеаборгского восстания 17—20 июля произвело перелом в сознании Андреева.

«Вскоре он уехал в Финляндию, — вспоминает Горький, — и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно,

выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим: "У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, — наша родина свернула к точке, наиболее любезной ей, и снова долго будет жить распивочно и на вынос".

Революционная эйфория Андреева прошла быстро потому, что революцию он воспринимал слишком абстрактно. Вот он пишет Н.Д.Телешову в 1905 году из Берлина, когда в Москве на баррикадах льется кровь: «Милый мой Митрич! <...> Что, брат, Москва-то? Для меня — это сон, и для тебя — тоже должно быть вроде сна. Живодерка¹⁵ — и баррикады! Целыми часами переворачиваю в голове эти дикие комбинации и все не могу поверить, что это не литература, а действительность. И хотя это было, но это — не действительность. Это сон жизни. Брат Павел описывает мне сидение свое на Пресне под бомбами и бегство оттуда сквозь линию огня — какая же это, черт, действительность! <...> Знаешь, Митрич, самая лучшая все же страна: Россия. Возлюбил я ее тут...»

Это важный момент! Известное русофильство Леонида Андреева, которое во время русско-германской войны привело его в стан «патриотов» и окончательно поссорило с Горьким, началось с обиды на Германию и немцев за их отношение к русской революции. Андреев возненавидел буржуазную Европу за то, что она может позволить себе быть сытой и спокойной, когда в России льется кровь. Об этом он очень выразительно писал Н.Д.Телешову: «Немец испорчен дотла своим порядком. Как в их языке всё по порядку: подлежащие, сказуемые... так и в голове, так и в жизни. Все они тут ненавидят русскую революцию, замалчивают ее — и прежде всего потому, что она — беспорядок».

Андреев страстно ругал не только немцев вообще, но и немецких социал-демократов в частности: «...Хоть они и с.-д. и в этом звании очень себя уважают, но не менее уважают они и шуцмана, который позволяет им быть с.-д.-тами, и всюду эту махинацию, при которой все в таком порядке: налево — социал-демократы, направо — консерваторы. И попробуй его посадить направо — он сразу ошалевает и позабудет, что ему хочется. И дай ему свободы не на 10 пфеннигов, а на марку, — он сперва растеряется, потом отсчитает себе сколько нужно, а остальное отдаст шуцману».

О своих германофобских настроениях Андреев объявил и в письме Горькому, и это был один из тех случаев, когда его голос, обращенный к «старшему брату», звучал энергично и уверенно.

«Если хочешь особенно полюбить Россию, приезжай на время сюда, в Германию. Конечно, есть и здесь люди свободной мысли и чувства, но их не видно — а то, что видно, что тысячами голосов кричит в своих газетах, торчит в кофейнях, хохочет в театрах и сбегается смотреть на проходящих солдат, всё это чистенькое, самодовольное, обожествляющее порядок и шуцмана, до тошноты влюбленное в своего kaiser'a, — все это омерзительно. На всю Германию, с ее сотнями газет, есть четыре-пять органов, сочувствующих русской революции. Но их и читают только люди партий. А все остальное, либеральное, консервативное — ненавидит революцию. Что они пишут! «Новое время» — единственный источник их мудрости. Сволочи!»

Вообще в письмах из Берлина Андреев едва ли не впервые резко и откровенно выказал Горькому свой собственный «ндрав», не задумываясь о том, как это будет воспринято «старшим братом». И сразу произошел надлом в их отношениях. Если еще в марте 1905 года Андреев писал из Москвы: «Как я люблю тебя, Максим Горький!» — то уже в марте 1906 года Андреев тревожно намекает в письме на «странный характер» их отношений «за последнее время», на что Горький отвечает:

«Что Савва (герой одноименной пьесы Андреева. — П.Б.) похож на меня — сие не суть важно, но что наши отношения «по причинам совершенно непонятным для тебя изменились» — это важно. И — печально.

Расходиться нам — не следует, ибо оба мы друг для друга можем быть весьма полезны — не говоря о приятном. Почему изменились твои отношения ко мне — не ведаю, а за себя могу, по правде, сказать вот что: сумма моих отношений к тебе есть нечто твердое и определенное, эта сумма не изменяется ни

¹⁵ Улица Владимир-Долгоруковская близ Тишинского рынка.

количественно, ни качественно, она лишь перемещается внутри моего «я» — понятно?

Живя жизнью более разнообразной, чем ты, я постоянно и без усталости занят поглощением «впечатлений бытия» самых резко разнообразных, порою обилие этих впечатлений массой своей отодвигает прежде сложившиеся в глубь души — но не изменяет созданного по существу. Это очень просто. Вот и всё, что я могу сказать тебе об «отношениях».

Начало вражды

Это было началом серьезного расхождения Горького и Андреева. Бывали между ними и раньше разрывы и даже крупные ссоры, длиною в полгода, но теперь было не то. Теперь никакого «разрыва», собственно, и не было. Началось худшее — неуклонное охлаждение в их отношениях. И виноват в этом охлаждении в большей степени был Горький. Увлеченный новой для него религией, религией социализма, он фактически потерял единственного друга.

Все начиналось незаметно. Андреев каким-то шестым чувством, а может быть, просто по сведениям, поступающим ему о жизни Горького, о его новых умонастроениях, вдруг стал ощущать недостаток той самой энергетической «подпитки» от Горького, в которой всегда нуждался как натура слабая, неуверенная.

«Милый Алексеюшка! — пишет он в марте 1903 года. — Что ты не отзовешься, черт? Тошно на душе становится, когда ты молчишь. Вот что мне нужно. Я еду на днях в Крым и очень хотел бы повидаться до отъезда с тобой».

Горький отозвался бодрой телеграммой: «Обожаю тебя. <...> Жму руку, обнимаю».

По-видимому, Андреев написал Горькому еще письмо или несколько, которые нам неизвестны, где жаловался ему на что-то. Но вспомним девиз Горького: «Правда выше жалости». А правда была в том, что Андреев с его метаниями начинал раздражать Горького.

«Прочитав твои письма, — отвечает он, — наполненные перечислением всех существующих и разрушающих тебя болезней, стал с озлоблением ждать телеграммы твоей с извещением о смерти и подписью "Новопреставленный Леонид"».

Это был хотя и дружеский, но обидный ответ. Вероятно, задело Андреева и то, что посланный им Горькому в рукописи рассказ «Из глубины веков» Горький похвалил скупом («недурная вещь»), но печатать его без серьезной правки не посоветовал, что Андреев и сделал, то есть не печатал рассказ до 1908 года.

Именно в это время в первой книге сборника «Знания» за 1903 год (вышел в 1904 году) появляется программная вещь Горького — поэма или рассказ, написанный ритмической прозой, под названием «Человек».

В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века ходил в диссидентских кругах такой анекдот. Одного инакомыслящего решили принудительно поместить в психиатрическую лечебницу. Врач, просматривая арестованные у его подопечного бумаги, натолкнулся на переписанную от руки поэму Горького «Человек». Вероятно, эта вещь служила для инакомыслящего своего рода памяткой, как неуклонно идти к своей цели, не поддаваясь никаким искушениям. Прочитав листок, где имени Горького не было, врач решил, что эта поэма принадлежит его пациенту, и с чистой совестью поставил такой диагноз: депрессивно-маниакальный психоз в острой форме, выраженный в маниях величия и преследования.

Как ни трагикомично это звучит, но поэму «Человек» вполне можно прочитать такими глазами. В художественном смысле горьковская задача изначально была обреченной: нельзя изобразить Человека. Человека *вообще*.

В двадцатые годы двадцатого века французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить Человека вообще, то есть человеческую сущность. Для этого он опять-таки «схитрил» и прибег к иносказанию — к мифу о Сизифе. Между «Человеком» Горького и «Мифом о Сизифе» Камю есть буквальные и просто поразительные переклички, причем, скорее всего, невольные, ибо нет сведений, что Камю читал горьковского «Человека».

Сизиф, наказанный богами тем, что вечно обречен катить в гору камень, сравнивается у Камю с Человеком, который тоже наказан Богом за свое своеволие, за попытку создания собственной человеческой

культуры, не санкционированной Богом. Его «камень» — это вечное постижение собственной «existence», «сущности», в эпоху, когда «Бог умер», и Человеку нет иного оправдания, кроме как в самом себе. Вспомним горьковское: «Всё — в Человеке, всё — для Человека!» Если не воспринимать эти слова как бравадный девиз, то обнажится их страшный смысл: если все оправдание только в Человеке, а он смертен, значит, жизнь бессмысленна? Да, отвечает Камю, жизнь бессмысленна, но в том-то и заключено высшее достоинство Человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность жизни.

То, что Камю понимал как трагическую проблему, которая не может иметь решения, ибо Сизиф вечно обречен катить камень в гору, в поэме Горького представало апофеозом гордого человека, который не просто один во Вселенной, «на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства», не просто «мужественно движется— вперед! и— выше!» (вспомним Сизифа), но и обязательно придет «к победам над всеми тайнами земли и неба».

Однако в конце собственной поэмы Горький противоречит себе, так как объявляет, что «Человеку нет конца пути». Но если конца пути нет, то и побед над *всеми* тайнами земли и неба не будет, и надо либо признавать бытие Божье и непостижимость Его для Человека, как сделал это праведный Иов, либо уходить, как Камю, в разумный стоицизм: Бога нет, и жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, не сходящий от этого с ума и даже способный творить, *пока* существую.

Если бы Леонид Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов — Габриеля Марселя, Альбера Камю, Жана Поля Сартра и других, чье творчество Андреев, как и Горький, во многом предвосхитил, возможно, его мятущийся ум нашел бы какую-то опору. Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Льва Толстого, которые, как мы знаем, привели его к атеизму и нигилизму, а также на мыслительные и духовные поиски своего друга — Горького.

Вот почему он с жадностью прочитал в первом сборнике «Знания» «Человека» Горького и немедленно пылко и сочувственно отреагировал.

Это сочувствие тем более трогательно, что, во-первых, на «Человека» обрушились практически все, а во-вторых, в поэме была не просто полемика со взглядами Андреева на Человека и Смерть, но и прозрачное отрицание Андреева как возможного соратника Горького.

Поэма «Человек» ошеломила даже благоволящего к Горькому В.Г.Короленко. Чуткий художник, защитник униженных и оскорбленных, Короленко почувствовал в философии Горького страшный разрыв между новым гуманизмом и человечностью. Это было уже и в ранних рассказах Горького, и особенно в пьесе «На дне», но там ответственность за свои речи брали на себя персонажи, а здесь?

Короленко впервые (Толстой почувствовал это раньше, познакомившись с «На дне») понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый философский и, если угодно, религиозный лидер.

«Подлинный Человек, — писал он в «Русском богатстве», — не противостоит человеку и человечеству, а состоит «из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих *в совокупности* представление о величии всё совершенствующейся человеческой природы».

«Человек» г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, — есть именно человек нищенский: он идет «свободный, гордый, *далеко впереди людей* (значит — не с ними?) и *выше* жизни (даже самой жизни?), *один*, среди загадок бытия...» И мы чувствуем, что это «величание», но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества; нищенский «Человек» г-на Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый — сама жизнь, второй — только фантом».

Отрицательно принял «Человека» и художник М.В.Нестеров. Он писал своему другу А.А.Турыгину: «"Человек" предназначается для руководства грядущим поколениям, как «гимн» мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножью мысли чувства всяческие — религиозные, чувство любви и проч. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувства над мыслью, всю жизнь доказавший, что он раб «чувства»...» И ему же Нестеров писал чуть позже о Горьком: «Дилетант-философ в восхвалении своем мысли позабыл, что все лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании *мысли и чувства*».

Резко отозвался о «Человеке» Лев Толстой. К тому же это был публичный отзыв, напечатанный в газете «Русь». «Упадок это, — сказал корреспонденту газеты Лев Толстой, — самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно...» В разговоре с тем же корреспондентом Толстой говорил: «Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно — пытаться исправлять природу, бессмысленно...»

24 июля 1904 года А.Б.Гольденвейзер записал в дневнике: «Говорили о Горьком и о его слабом «Человеке». Л.Н. рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим. Л.Н. сказал: "Его мирозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени..."»

Но, пожалуй, самый язвительный отклик о поэме принадлежал А.П.Чехову. Он писал А.В.Амфитеатрову: «Сегодня читал «Сборник», изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на о...»

Отношение критики к «Человеку» тоже было скорее отрицательным. Известный критик «Нового времени» В.П.Буренин писал о поэме в развязном тоне: «"Человек" Горького — не «услужующий» из трактира, а «человек до того особенный», что наш сочинитель воспекает его "размеренной прозой". Создавая свою «курьезную пииму», — продолжал издеваться Буренин, — Горький руководствовался «образцами «словесности», переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров». Это был прямой намек на повара Смурого с парохода «Добрый», где посудником служил Алеша Пешков. О конце Горького как художника писала Зинаида Гиппиус. Впрочем, защищать его пытались А.В.Амфитеатров и В. В. Стасов.

Но самого высокого отзыва о «Человеке» Горький удостоился от Леонида Андреева. Это было письмо истинного друга, поклонника не только таланта, а всей личности Горького.

«Милый Алексей! — писал он Горькому из Ялты в апреле 1904 года. — <...> Прочел я «Человека», и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о «труде и честности», ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и все это называется «литературой». Написавши вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали. И в твоём «Человеке» не художественная его сторона поразила меня — у тебя есть вещи сильнее, — а то, что он при всей своей возвышенности передает только *обычное* состояние твоей души. *Обычное* — это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждою, — у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным, а в частности для меня таким дорогим и незаменимым. Если б ты разлюбил меня, ушел бы от меня с своей душою, это было бы непоправимым изъяном для моей личной жизни — но только личной. Не любитя, так и не любитя — что же поделаешь. Но если бы ты изменился, перешел к нам, невольно или вольно изменил бы себе — это разворотило бы всю мою голову и сердце и извлекло бы оттуда таких гадов отчаяния, после которых жить не стоит».

Этим письмом пылкий Андреев подписал их дружбе смертный приговор, ибо сам дал Горькому право относиться к себе не по-человечески, но как-то иначе.

Так оно и вышло... Примерно с 1906 года отношения Горького и Андреева начинают непоправимо меняться.

На Капри

28 ноября 1906 года в Берлине после мучительной агонии от родовой горячки скончалась первая жена Андреева Александра Михайловна (урожденная Велигорская), дальняя родственница Тараса Шевченко. Это был удивительной души человек, ставший для Андреева и женой, и талантливым читателем-редактором его рукописей. Умерла, разрешившись вторым сыном (первого звали Вадим), Даней, Даниилом, будущим религиозным мыслителем, визионером, поэтом, которого называют «русским Данте», «русским Сведенборгом».

Крестным отцом Даниила был Максим Горький. Но затем пути крестного и крестника решительно разойдутся: Горький станет великим «пролетарским писателем», «основоположником социалистического

реализма», Даниил Леонидович, отслужив в Красной Армии, окажется во владимирской тюрьме, где будет сидеть до самой смерти Сталина и где придет к нему видение «Розы мира» (название его знаменитого поэтического трактата).

Не в состоянии управляться с малолетним сыном, Андреев отправил Даню в Москву, к бабушке по матери, урожденной Шевченко. И впоследствии, когда Андреев с новой женой, Анной Ильиничной, Вадимом и новыми детьми, Верой, Саввой и Валентином, стали жить в Финляндии, Даниил оставался в Москве, где его застигла революция.

О том, насколько мучительно переживал Андреев смерть «дамы Шуры» (как шутливо называл ее Горький, и ей нравилось это прозвище), можно судить по его письму от 23 ноября 1906 года, за два дня до кончины его жены:

«Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4-й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться — как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды в сущности никакой и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром — неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто она уже умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщили. Но к вечеру сегодня температура поднялась, и начались сильные боли в боку, от которых она кричит, и гнилостный запах изо рта. Очевидно, заражение проникло в легкие, и там образовался гнойник. Если выздоровеет, то весьма вероятен туберкулез. Но это-то не так страшно, только бы выздоровела.

Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи.

И мальчишка (Даниил. — П.Б.) был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.

И временами ошалевашь ото всего этого. Третьего дня я все смутно искал какого-то угла или мешка, куда бы засунуть голову, — все в ушах стоят крики и стоны. Но вообще-то я держусь и постараюсь продержаться. Ведь ты знаешь, она действительно очень помогала мне в работе.

До свидания. Поцелуй от меня Марию Федоровну.

Твой Леонид

Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной. Только поп-то настоящий уехал в Россию, а явился вместо него какой-то немецкий поп, не знающий ни слова по-русски. Служит по-славянски, то есть читает, но, видимо, ничего не понимает. И Шуре, напрягаясь, пришлось приискивать немецкие слова. 32 дня непрерывных мучений!»

В декабре 1906 года Андреев вместе со старшим сыном Вадимом приехал на Капри к Горькому.

Но прежде надо представить себе положение Горького в Италии. Его американская поездка фактически сорвалась и сопровождалась постоянным скандалом: его с М.Ф.Андреевой, как невенчаных, отказались пустить в какую-либо гостиницу, даже самую захудалую.

Впрочем, поначалу Горький даже был восхищен Америкой, особенно Нью-Йорком, по распространенной ошибке всякого вновь приезжего путая всю Америку с Нью-Йорком, и даже не со всем Нью-Йорком, а с Манхеттеном. «Вот, Леонид, где нужно тебе побывать, — уверяю тебя. Это такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа, фантазия, которую создали безумные великаны, уроды, тоскующие о красоте, мятежные души, полные дикой энергии. Все эти Берлины, Парижи и прочие «большие» города — пустыки по сравнению с Нью-Йорком. Социализм должен впервые реализоваться здесь...»

Через несколько дней он уже изменил свое отношение к стране и писал Андрееву:

«Мой друг, Америка изумительно-нелепая страна, и в этом отношении она интересна до сумасшествия. Я рад, что попал сюда, ибо и в мусорной яме встречаются перлы. Например, серебряные ложки, выплеснутые кухаркой вместе с помоями.

Америка — мусорная яма Европы. <...>

Я здесь все видел — М.Твена, Гарвардский университет, миллионеров, Гиддингса и Марка Хаша¹⁶, социалистов и полевых мышей. А Ниагару — не видел. И не увижу. Не хочу Ниагары.

Лучше всего здесь собаки, две собаки — Нестор и Деори. Затем — бабочки. Удивительные бабочки! Пауки хорошо. И — индейцы. Не увидав индейца, нельзя понять цивилизацию и нельзя почувствовать к ней надлежащего по силе презрения. Негр тоже слабо переносит цивилизацию, но негр любит сладкое. Он может служить швейцаром. Индеец ничего не может. Он просто приходит в город, молча, некоторое время смотрит на цивилизацию, курит, плюет и молча исчезает. Так он живет, и когда наступит час его смерти, он тоже плюется, индеец!

Еще хороши в Америке профессора и особенно психологи. Из всех дураков, которые потому именно глупы, что считают себя умными, эти самые совершенные. Можно ездить в Америку для того только, чтобы побеседовать с профессором психологии. В грустный час ты сядешь на пароход и, проболтавшись шесть дней в океане, вылезешь в Америке. Подходит профессор и, не предлагая понести твой чемодан, — что он, вероятно, мог бы сделать артистически, спрашивает, заглядывая своим левым глазом в свою же правую ноздрю:

— Полагаете ли вы, сэр, что душа бессмертна?

И если ты не умрешь со смеха, спрашивает еще:

— Разумна ли она, сэр?

Иногда кожа на спине лопается от смеха.

Интересна здесь проституция и религия. Религия — предмет комфорта. К попу приходит один из верующих и говорит:

— Я слушал вас три года, сэр, и вы меня вполне удовлетворяли. Я люблю, чтобы мне говорили в церкви о небе, ангелах, будущей жизни на небесах, о мирном и кротком. Но, сэр, последнее время в ваших речах звучит недовольство жизнью. Это не годится для меня. В церкви я хочу найти отдых... Я — бизнесмен — человек дела, мне необходим отдых. И поэтому вы сделаете очень хорошо, сэр, если перестанете говорить о... трудном в жизни...или уйдете из церкви...

Поп делает так или эдак, и все идет своим порядком».

Судя по этим письмам, а также по очерку «Город Желтого Дьявола», посвященному Нью-Йорку, Горький был не слишком доволен американской поездкой.

1 апреля 1906 года его и М.Ф.Андрееву буквально выставили на улицу из отеля «Бельклер» и не приняли ни в какой другой. Сперва Горький со своей гражданской женой был вынужден поселиться в клубе молодых писателей на 5-й авеню, а затем их любезно приютили в своем доме Престони и Джон Мартини.

По этому поводу Горький написал возмущенное письмо в «Times»: «Моя жена — это моя жена, жена М.Горького. И она, как и я — мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-то объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право — игнорировать сплетни. Лучшие люди всех стран будут с нами».

Совсем иной прием ждал Горького в Италии. Там его знали задолго до приезда. Его произведениями увлекалась молодежь, его творчество изучали в Римском университете. И потому, когда пароход «Принцесса Ирэн» с Горьким и М.Ф.Андреевой на борту 13 октября подошел к причалу неаполитанского порта, на борт его ринулись журналисты. Корреспондент местной газеты Томмазо Вентура по-русски произнес приветствие от имени неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому.

На следующий день все итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. Газета «Avanti» писала:

«Мы также хотим публично, от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он — символ революции, он является ее интеллектуальным началом, он представляет собой все величие верности идее, и к нему в этот час устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии.

¹⁶ Франклин Гиддингс — американский социолог. Эдвин Маркхэм (Горький ошибочно называет его Марком Хашем) — американский поэт.

Да здравствует Максим Горький!

Да здравствует русская революция!»

На узких неаполитанских улочках его везде поджидали восторженные толпы, которые скандировали: «Да здравствует Максим Горький! Да здравствует русская революция!» И Горький едва не пострадал от всеобщего обожания: в дело пришлось вмешаться карабинерам.

Неаполитанский театр «Политеама» пригласил Горького и Андрееву на спектакль «Маскотт». Гости опоздали, и когда они вошли в ложу, увертюра уже началась. Представление немедленно остановили, зажгли свет, музыка прервалась, артисты вышли из-за кулис, публика вскочила с мест с криками: «Да здравствует Горький!», «Да здравствует революция!», «Долой царя!». Оркестр вместо увертюры заиграл «Марсельезу». После спектакля народ уже ждал Горького у подъезда, он едва добрался до своего экипажа, который потом долго двигался сквозь толпу к отелю. Пожалуй, подобного Горький не знал даже в России.

Вопрос о месте его пребывания в Европе был решен. Горькому понравился остров Капри, где было относительно тихо, в сравнении с Неаполем, и можно было спокойно работать, принимать гостей. Для старейшин и жителей острова это была огромная честь. На Капри Горький провел семь лет и написал здесь многие из своих лучших произведений: «Исповедь», «Детство», «Городок Окуров», «Хозяин», «По Руси» и другое.

Но в чадую апофеоза встречи великого писателя мало кто обратил внимание на два очевидных противоречия. Во-первых, странно, что политический изгнанник поселяется сперва в роскошном отеле «Везувий», а затем снимает виллу на самом дорогом итальянском курорте. Вспомним рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Именно на острове Капри останавливались богатые американские туристы. Во-вторых, непонятно, почему левые итальянские журналисты с настойчивостью желали русской революции и свержения русского царя, будто в самой Италии, в том же Неаполе, не было проблем с нищетой. Нельзя сказать, что Горький закрыл на это глаза. В его «Сказках об Италии» сказано и об этом.

Но Россия посадила его в Петропавловку и выдворила из страны. Европа его приняла, а Италия почти обожествила. В России было неловко жить богато автору «Челкаша» и «На дне». Русская этика не принимает расхождения между словом и поведением, а слово и образ жизни у Горького в какой-то момент стали расходиться. С точки зрения европейской этики в этом не было противоречия.

Уже в письме к Андрееву, написанном Горьким в марте 1906 года, когда он впервые оказался за границей, в Берлине; чувствуется, что он очарован европейской жизнью — внешне чистой, культурной. Для него, видевшего в жизни немало грязного, смрадного, это был немаловажный аргумент в пользу Запада.

«Когда ворочусь из Америки, — пишет он, — сделаю турне по всей Европе — то-то приятно будет! А ты живи здесь (то есть за границей. — П.Б.). Ибо в России даже мне стало тошно, на что выносливая лошадка».

И вот они встречаются на Капри. Горький находится в апофеозе своей итальянской славы, весь переполнен восторгом от Италии, ее моря, ее солнца, весь насыщен творческими планами. Бодрый, веселый, щедрый Артистичный. Способный обворожить любого гостя. Даже Бунин, несколько раз побывавший у Горького на Капри вместе с Верой Николаевной Муромцевой, вспоминал, что это было лучшее время, проведенное им с Горьким, когда он был ему «особенно приятен». Вера же Николаевна была просто без ума от горьковских рассказов, его остроумия и какого-то аристократического артистизма. Кажется, именно она впервые заметила, что у Горького длинные тонкие пальцы музыканта.

А Андреев в это время страдает после страшной потери «дамы Шуры». И не получается у него отдохнуть душой в обществе Горького.

Андреев пишет Евгению Чирикову с Капри: «Скучновато без людей. Горький очень милый, и любит меня, и я очень люблю, — но от жизни, простой жизни, с ее болями, он так же далек, как картинная галерея какая-нибудь. Во всяком случае, с ним мне приятно — хоть часть души находит удовлетворение. Занятный человек и Пятницкий, но сблизиться с ним невозможно. Остальное же, что вокруг Горького, только раздражает. <...> И неуютно у них. Придешь иной раз вечером — и вдруг назад на пустую виллу потянет».

Вспоминает Горький:

«Андреев приехал на Капри, похоронив «даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь, — сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторил мальчик.

— Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль».

Вспоминает Е.П.Пешкова:

«Вскоре после смерти жены Леонид Николаевич решил уехать на Капри, зная, что там живет Горький. Когда они встретились, он просил Алексея Максимовича быть крестным отцом несчастного ребенка, на что Алексей Максимович дал письменное согласие¹⁷.

На другой же день я отправилась к Леониду Николаевичу. Он жил в большой мрачной вилле, густо заросшей деревьями, которые подступали к окнам. Жил он с матерью, Анастасией Николаевной, и маленьким сыном Вадимом.

Леонид Николаевич мне обрадовался, повел в столовую, усадил за стол, на котором стоял горячий самовар, привезенный Анастасией Николаевной из Москвы, — налил мне и себе чаю и тут же стал подробно рассказывать о болезни Александры Михайловны. Говорил, что ее лечили неправильно, обвинял берлинских врачей.

Рассказывал Леонид Николаевич медленно, с остановками, глядя куда-то вдаль, точно оживляя для себя то, о чем рассказывал. Стакан за стаканом пил он очень крепкий чай, потом опять ходил по комнате,

¹⁷ Как политический эмигрант, Горький не мог лично присутствовать на крещении Даниила в Москве. Сохранилась записка Горького, которая была адресована в духовную консисторию и передана в церковь Преображения на Песках в Москве, где крестили Даниила: «11 марта 1907 года. Сим заявляю о желании своем быть крестным отцом сына Леонида Николаевича Андреева — Даниила. Алексей Максимович Пешков». В метрической записи в графе «восприемники» указано: «Города Нижнего Новгорода цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков».

порою подходил к буфету, доставал фиаско¹⁸ местного вина, наливал в бокал и залпом выпивал. И снова молча ходил по комнате.

Я старалась перевести разговор на другое. Рассказывала о жизни в Москве. Он слушал рассеянно, видимо, думая о другом.

В одно из моих посещений, когда мы были одни, Леонид Николаевич сказал:

— Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие; боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я ее часто вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями... точно растаяла...

Мы долго сидели молча».

«Когда я уехала с Капри, — продолжала Екатерина Павловна, — он собирался мне писать, но получила я только одно письмо:

«14 февраля 1907

Милая Екатерина Павловна!

Не пишу, потому что в ужасно мерзком состоянии. И душа и тело развалились.

Бессонница, мигрень и пр. Кроме того, пишу рассказ («Иуда Искариот». — П.Б.) и десятки, сотни деловых писем.

И писать мне вам — скучно. Хочется поговорить, а не писать. Вероятно, приеду — к вам. Вы верите, что я вас люблю? Даже — когда молчу и ничего не пишу. И Максимку (сын Горького — Максим Пешков. — П.Б). Алексей — крестный отец у моего несчастного Данилки, а я — разве я не чувствую себя крестным отцом Максимки? Вы не смеетесь? Вы не сердитесь?

И вы мне всего не сказали, и я вам всего не сказал. Но это — впереди. Крепко, так, чтобы почувствовалось, жму вашу милую руку. И Софье Федоровне хороший поклон. Мне до сих пор жалко, что не отдал ей калош!»¹⁹»

В гостях у Горького на его вилле «Спинола» в период с 1906 по 1913 год побывали десятки гостей — Ленин, переводчик «Капитала» Маркса Генрих Лопатин, Иван Бунин, Федор Шаляпин, издатель А.Н.Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков, будущий боевой генерал, герой французского Сопротивления. Бывали здесь и сын Максим с матерью, Е.П.Пешковой И все они получали заряд силы, бодрости, радости. Чудотворные лучи каприйского солнца и морской воздух как бы умножались энергетической натурой Горького, который поистине «расцвел» на Капри.

И только с Андреевым, его лучшим другом, отношения не заладились. Судя по письму Е.П.Пешковой, даже с первой женой Горького Андреев чувствовал себя свободнее. Отчасти это объяснено в письме Андреева к Чирикову. Вокруг Горького находилось слишком много людей, как это всегда бывает вокруг человека, когда он находится «в силе и славе». Андреев после смерти «дамы Шуры» нуждался в особом отношении к себе. По-видимому, он этого не получил.

Вражда

Горький вспоминал:

«Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы неспособны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

¹⁸ Бутыль для вина.

¹⁹ С.Ф.Витютнева, наша приятельница, приехавшая со мной в Италию. Как-то Леонид Николаевич пошел меня проводить, и мы попали под сильный дождь. Софья Федоровна заставила его снять мокрые каприйские полотняные сандалии и дала ему надеть свои калоши. — *Прим. Е.М.Пешковой.*

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди... кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

— Это, Алексеюшка, тоже Арзамас, — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха...»

И все же недолгий период пребывания на Капри благотворно отразился на творчестве Андреева. Здесь он написал «Иуду Искарюта», затеял одну из самых знаменитых пьес — «Черные маски», создал план большого романа «Сашка Жегулев», сделал две или три главы повести «Мои записки» и, наконец, написал самую скандальную после «Бездны» вещь — рассказ «Тьма». Именно «Тьма» явилась причиной решительной ссоры Горького с Андреевым.

Впрочем, были и еще причины. На Капри Андреев стал уговаривать Горького и Пятницкого реорганизовать «Знание», привлечь туда новых талантливых писателей из лагеря символистов, в частности Александра Блока и Федора Сологуба. Нельзя отказать Андрееву в удивительной точности в выборе этих имен. Блок — первый поэт среди символистов, к тому же явно тяготеющий к «народной» теме. Сологуб — один из самых талантливых символистских прозаиков, автор романа «Мелкий бес». Пятницкий отказался от соредакторства с Андреевым, и Андрееву было предложено самому взяться за редактуру сборников.

После возвращения в Россию Андреев с жадностью взялся за дело. В письмах к знакомым писателям он отговаривал их от участия в только что созданном издательстве «Шиповник». В письме к Чирикову он писал: «И согласился я с тем, чтобы ведение сборников сделать нашим общим делом, твоим, зайцевским, серафимовическим и т.д. Сообща, я убежден, мы двинем к достоинствам первых сборников, но перещеголяем их. Все малоценное выбросим к черту, подберем новых ценных сотрудников, реформируем и внешность — одним словом, создадим то, что называется «своим журналом». Будут у нас и собрания и всё. И уже в денежном отношении ты получишь больше, чем в «Шиповнике» или где бы то ни было. Таких гонораров, как у «Знания», ни одно издательство долго не выдержит».

В письме к Серафимовичу повторял: «...Хочу я к работе привлечь всю компанию: тебя, Чирикова, Зайчика (Б. Н. Зайцева. — П.Б.) — сообща соорудить такие сборники, чтобы небу жарко стало. В сборнике будут только шедевры».

В.В.Вересаев, марксист, пытался ввести Андреева в литературный марксистский кружок. Несколько человек из этого кружка он пытался приводить на московские собрания «Среды», где на квартире Телешева собирались по средам писатели-реалисты. Андреев наивно восторгался: «Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как бы было хорошо, если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы».

Кстати, на квартире Телешева еще до первой русской революции в Москве собирались Бунин, Серафимович, Вересаев, Зайцев и другие, впоследствии и объединившиеся в кружок под названием «Среда». Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. В отсутствие Горького всегда заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. Однажды Вересаев не выдержал и сказал: «Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького...»

В 1907 году, уже вплотную взявшись за издание сборников «Знания» и, вероятно, пообещав кому-то какие-то денежные авансы, Андреев пишет Горькому: «А сейчас — дело. Нужно собирать материал для сборника, вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых (на одних старых никуда не уедешь, жизнь уходит от них), а я не знаю, насколько в этом случае я могу быть самостоятелен. По-моему, например, следует... пригласить теперь же: Блока, Сологуба, Ауслендера, еще кой-кого. Как бы не вышло у нас недоразумений! Вообще, веришь ли ты, что я не подведу? Выбор материала будет у меня параллелен моей собственной работе: «буду помещать только то, что ведет к освобождению человека». Точнее формулировать трудно, ибо все, в конце концов, дело такта и понимания. Так вот: как ты думаешь?»

Очень мешает отсутствие Константина Петровича (Пятницкого. — П.Б.). Некоторые просят аванса, и

дать необходимо, а как я могу? И вообще получается какая-то неопределенность. «Шиповник» же действует энергично».

Горький решительно отказался печатать новых сотрудников, предложенных Андреевым, а кроме того, напомнил ему о его ограниченных финансовых полномочиях:

«О пределах твоей власти тебе напишет или скажет лично Константин Петрович, который скоро едет в Финляндию, а я скажу о литературе.

Мое отношение к Блоку — отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью, его маленький талант положительно иссякает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика с душою без штанов и без сердца.

Нет, ты его оставь в покое года на три, может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах — о том, что сейчас кажется ему изумительно премудрым и что уже сказано во Франции сильнее и красивее, чем это может сделать он.

Старый кокет Сологуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих, и заигрывающий с нею всегда с тревожным ожиданием получить щелчок по черепу; склонный к садизму Сологуб — фигура лишняя в сборниках «Знания». Будь добр, не беспокой его ветхие дни и будь уверен, что он еще раз не напишет «Мелкого беса», — единственную вещь, написанную им как литератором — с любовью и, по-своему, красиво.

<...> Сборники «Знания» — сборники литературы демократической и для демократии — только с ней и ее силою человек будет освобожден. Истинный, достойный человека индивидуализм, единственно способный освободить личность от зависимости и плена общества, государства, будет достигнут лишь через социализм, то есть через демократию. Ей-то и должны мы служить, вооружая ее нашей дерзостью думать обо всем без страха, говорить без боязни.

Указанные тобою Сологуб и Блок боятся своего воображения, стоят на коленях перед своим страхом — куда уж им человека освобождать!»

Письмо это било не только и не столько по Блоку, к которому Горький впоследствии сильно изменил свое отношение. Косвенно это письмо ударило по самому Андрееву.

То, что Андреев не был социалистом, а больше склонялся к анархистам, это было еще половиной беды. Хуже было то, что Горький бил по самому больному месту Андреева — его страху перед жизнью, его болезненной влюбленности в смерть. Таким образом, Горький как бы говорил: где уж тебе, Леонидушка, «освободить человека», если ты сам находишься в патологическом плену мыслей о смерти!

Горький фактически поставил Андреева в ложное, двусмысленное положение. На Капри он дал Андрееву карт-бланш на ведение сборников, на основании чего Андреев вступил в переговоры с людьми, которые, как он считал, украсят сборники своим присутствием, и пообещал им огромные гонорары. И после всего этого Горький словно окатил Андреева холодным душем, напомнив ему и о пределах его финансовых возможностей, и о том, что единственным идеологическим диктатором в «Знании» остается он, Горький. Надежда Андреева перестроить «Знание» на подлинно «товарищеских» началах рухнула.

Андреев с плохо скрываемой обидой ответил Горькому длинным письмом, в котором решительно отказывался от редакции сборников «Знания», предоставив это К.П.Пятницкому. Письмо было написано в исключительно вежливых, даже как бы извиняющихся тонах: «Милый мой Алексеюшка! Самое плохое в этой истории то, что ты — боюсь — рассердишься на меня. И это было бы очень тяжело. Отношусь я к тебе с великой любовью, с великой дружбой; понимаю тебя, как очень немногие...» и т.п.

Но этот несколько даже заискивающий тон не должен сбивать с толку. Андреев обиделся на Горького, и отчасти результатом этого было, что из «Знания» он ушел в «Шиповник» — редактировать его альманахи. Кстати, и платить в «Шиповнике» стали больше, чем в «Знании». Одновременно из «Знания» редактировать сборники «Земля» Московского книгоиздательства ушел Иван Бунин. За ними потянулись Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович, Айзман, Юшкевич и другие. Остались Телешов и Гусев-Оренбургский, но на этих именах, даже при поддержке горьковского имени, сборников было не сделать.

Горький вскоре понял это. В одном из писем он заметил: «Видя, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод «Знания», Тимковские, Брусянины, Измайловы и другие пескари осыпают меня своим творчеством. Как много я читаю рукописей и какие все р-р-революционные, если бы вы знали!»

Тем не менее Горький не только не пошел на компромисс, но даже отказался напечатать в «Знании» произведения Андреева «Тьма», «Царь-Голод» и «Жизнь Человека».

А ведь было время, когда Андреев колебался и еще верил в союз с Горьким, который был нужен обоим и с душевной, и даже с практической точки зрения, ибо они все еще оставались самыми знаменитыми писателями России (если не считать Льва Толстого, разумеется).

Позже он с горечью напишет Горькому, что «Знание» тогда ничего не сделало для возобновления с ним отношений. Больше того: когда в конце 1908 года Андреев опять принес в «Знание» пьесу «Любовь студента» и Пятницкий телеграфировал о том Горькому на Капри, Горький отказал в резкой форме. Все же Пятницкий был вынужден поместить пьесу в сборнике ввиду нехватки материала. Но это было сделано вопреки воле Горького.

Прощальные слова Андреева во время его последнего посещения «Знания» были исполнены горечи: «Чувствую, что Алексей Максимович злобствует на меня, незаслуженно обвиняет меня. Как я верю в то, что сойдись я теперь с ним, вместе с ним появись и мои вещи в сборниках, — всем конкурирующим альманахам конец».

Казалось, и Горький понимал проблемы своего бывшего друга. Во всяком случае, переписка между ними пока не прерывалась. Более того, Горький звал Андреева к себе на Капри:

«Ехал бы ты, Леонид, сюда и жил здесь до поры, пока не выстроят тебе дом (в Финляндии. — *П.Б.*), — нечего тебе делать на этом рынке нищих, кои торгуют краденым тряпьем и грязными обносками гнилых своих душ.

Ты посмотри, что делают с тобой все эти хулиганы — ныне товарищи твои по сотрудничеству: основоположник их, Мережковский, ходит грязными ногами по твоему лицу, Гиппиус поносит тебя в «*Mercure de France*», а в журнале Брюсова ты назван невеждой и дураком — это уже не критика, а организованная травля, гнусная травля, нечто невиданное в нашей литературе.

<...> Эх ты, дитя мое.

<...> Имей в виду и впредь — будут тебя гнуснейше травить, доколе не получат должного отпора, который, вероятно, придется дать нам, то есть с нашей стороны».

На Капри Андреев не поехал. Его отношения с Горьким стремительно ухудшаются, а в период русско-германской войны 1914—1919 годов перерастают в открытое противостояние. Во время войны Андреев возглавляет беллетристический отдел газеты «Русская воля», уже своим названием выражающей радикально-патриотическую позицию, которой держится и Андреев. Наоборот, вернувшийся в 1913 году в Россию Горький в созданном им журнале «Летопись» занимает пацифистскую позицию, а в своей статье «Две души» (декабрь 1915 г.) обращается к национальной самокритике, что выглядело уж совсем вызывающе, учитывая, что Россия находилась в состоянии войны.

У Горького всегда было пристрастное отношение к русскому народу. С одной стороны, он считал его «изумительно», «фантастически» талантливым, с другой — не принимал его смирения перед жизнью, социальной пассивности. Даже дураки в России, по мнению Горького, «глупы оригинально», и нет более богатого материала для художника, чем русские лица. Здесь Горький неожиданно смыкался с русским мыслителем Константином Леонтьевым. «Чем знаменита, чем прекрасна нация? — писал он. — Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованием и самобытностью» («Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве»).

Русь — грешная, вольная, «окаянная» — всегда пленяла творческое воображение Горького. Ей он посвятил, может быть, лучшие страницы своей прозы. Но тот же Горький писал о России и ее народе совсем другие слова. Один из истоков отрицательного отношения Горького к отдельным явлениям в жизни русского народа лежал в его ранней биографии, и не только в истории с сожженной в Красновидове лавки

народника Ромася. Во время странствия по Руси в селе Кандыбино Пешков был зверски, до полусмерти избит мужиками за то, что вступился за женщину. Унизительное наказание, которому была подвергнута молодая крестьянка за измену мужу (голой ее везли на телеге по деревне и при этом били кнутом), Горький описал в очерке «Вывод», опустив все подробности о своем рыцарском поступке. Но травма эта оставалась в его душе на всю жизнь.

В «Истории русской литературы», созданной на Капри, читаем: «русский человек всегда ищет хозяина, кто бы командовал им извне, а ежели он перерос это рабье стремление, так ищет хомута, который надевает себе изнутри, на душу, стремясь опять-таки не дать свободы ни уму, ни сердцу». В статье «Две души» Горький писал: «У нас, русских, две души, одна от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя... а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая...» По убеждению Горького, Восток погубит Россию, только Запад может ее спасти. Поэтому «нам нужно бороться с азиатскими настроениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма, — он постыден для молодой нации...»

Статья Горького прозвучала подобно разорвавшейся бомбе на фоне патриотических настроений, связанных с русско-германской войной. В редакцию «Летописи» приходили письма, некоторые из них содержали анонимные угрозы. Корней Чуковский, сотрудничавший с Горьким в это время, вспоминал, что иногда к письмам «было приложение — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены».

Но не только черносотенцы возмутились статьей Горького. Возмущен был и Леонид Андреев. В полемической статье в журнале «Современный мир» он резонно заметил, что критика русской души в устах Горького звучит слишком «по-русски», не имея ничего общего с западным типом самокритики. «Не таков Запад, — писал он, — не таковы его речи, не таковы и поступки... Критика, но не самооплевание и не сектантское самосожжение, движение вперед, а не верчение волчком — вот его истинный образ».

В письме к И.С.Шмелеву Андреев высказался о Горьком еще более откровенно. «Даже трудно понять, что это, откуда могло взяться? Всякое охаяние русского народа, всякую напраслину и самую глупую обывательскую клевету он принимает как благою истину... нет, и писать о нем не могу без раздражения, строго воспрещенного докторами. Ну его к лысому... А бороться с ним все-таки необходимо...»

В 1921 году в эмигрантской газете «Общее дело» Иван Бунин с наслаждением процитирует высказывание о Горьком из предсмертного дневника Леонида Андреева. Процитирует, впрочем, не совсем точно. Приведем точные слова Андреева:

«Вот еще Горький. Мучает меня мысль о нем и несправедливости. На днях попал в руки номер «Новой жизни» — все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество «Культура» устраивает митинг для сбора книг и участвуют Зелинский и другие истинно почтенные, а председатель Горький и товарищ председателя В.Фигнер. Мучает меня то, что моя ненависть и презрение к Горькому (в теперешней фазе) останутся бездоказательными. Если Фигнер, Зелинский и другие могут совместно с Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят и не понимают, что так ясно; и нужно составить целый обвинительный акт, чтобы *доказать* им преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России».

Такой обвинительный акт, убийственный, неопровержимый, можно составить, проследив с первого номера «Новой жизни», — но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, не помнят, не знают, пропустили — а там новые времена и новые песни, когда тут раскапывать старье».

Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, неразоблаченным, «уважаемым»? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если этого не случится (а возможно, что и не случится, и Горький сух вылезет из воды) — можно будет плюнуть в харю жизни».

Газета «Новая жизнь» издавалась Горьким. В 1917—1918 годах он печатал в ней статьи в цикле «Несвоевременные мысли», в которых, в частности, резко осуждал большевиков и лично Ленина за октябрьский переворот и развязывание кровавой гражданской войны. Другое дело, что вторым и едва ли не

самым главным объектом его обвинений стало русское крестьянство с его, по убеждению Горького, зоологическим анархизмом, неискоренимым инстинктом частного собственника и звериной жестокостью. По мысли Горького, большевики были виноваты не в том, что совершили революцию, а в том, что совершили ее, опираясь на освобожденные звериные инстинкты крестьянской массы в лице вернувшихся с фронта Первой мировой войны солдат и матросов.

«Горький и его «Новая жизнь» невыносимы и отвратительны именно тем, — продолжал свою мысль Андреев, — что полны несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом. Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи, убийцы и погубители, всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы».

И это было последнее, что мог сказать о своем бывшем друге Андреев. С этим чувством и с этими мыслями он скончался 12 сентября 1919 года в финской деревне Нейвала, оторванный не только от оставшихся в России собратьев по писательскому цеху, но и от большинства русских эмигрантов. И хотя Горький в 1919 году этих слов еще не мог знать, об отношении к себе Андреева он знал прекрасно, так как раскол между ними давно начался, а война и революция только сделала этот раскол необратимым. Кстати, накануне революции они едва ли не помирились.

«В 1916-м году, когда привез мне книги свои²⁰, оба снова почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии, я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям. Л.Н.Андреев чувствовал иначе, Но я не поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины».

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ: РЕЛИГИЯ СОЦИАЛИЗМА

Как бы ни рассматривать социализм — с теоретической ли или с философской точки зрения, — он содержит в себе мощный дух и пламя религии.

Горький «О "Бунде"»

Гапоновщина

«Рабочих, с которыми шел Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов, в 3 часа Гапон уже был у меня, — вспоминает Горький. — Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы: «Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы...» — все это плохо рекомендовало его как народного вождя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто человеку, который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления».

Позвольте! Гапон был не *только очевидцем* этого преступления, но одним из самых деятельных и амбициозных *организаторов* его.

Сам Горький пишет об этом в начале очерка «Гапон». Кстати, когда он писался, Горький уже знал о двурушничестве Гапона и догадывался о том, что Гапон не самоубийством покончил, а его убили его же «товарищи» из боевой организации; вот только имени убийцы Гапона, эсера Петра Рутенберга, он еще не мог знать, так как очерк писался в Америке.

²⁰ Последнее прижизненное собрание сочинений.

«Человек этот, имя которого прогремело по всему свету как имя вождя русского народа, родился двадцать восемь лет тому назад на юге России, в маленьком городке Белинках, Полтавской губернии. Его отец — управляющий именем генерала Рындина, человек религиозный, — пожелал, чтобы сын служил церкви, и отдал его в семинарию. Там Георгий Гапон, юноша впечатлительный, как всякий южанин, подпал под влияние рационалистических идей графа Л.Толстого. Однако это увлечение враждебными духу ортодоксальной церкви идеями не помешало ему кончить семинарию и принять священство.

В 1901 году Георгий Гапон получил место священника в церкви пересыльной тюрьмы Петербурга. Тюрьма стоит в местности, где группируется много фабрик, в том числе обширный казенный Путиловский завод. Здесь Гапон невольно должен был войти в соприкосновение с рабочими. Он — человек футов около шести, черноволосый, худой, с темными, тревожными глазами, быстрый в движениях. Черты лица его — мелкие и острые — не останавливают на себе внимания и запоминаются с трудом. Говорит он очень страстно, обнаруживая сильный темперамент и очевидный для интеллигентного человека недостаток эрудиции, широкого образования и политических знаний.

Чтобы понять его влияние на рабочих, необходимо рассказать следующее.

В 1900—1901 гг. правительство, испуганное развитием интереса к вопросам политики и ростом революционного настроения среди рабочих Москвы и Петербурга, задумало взять это движение в свои руки. С этой целью были ассигнованы крупные суммы и избраны лица, на которых департамент полиции возложил задачу перенести интересы рабочих с вопросов политики на вопросы экономические. В Москве за это принялся чиновник охранного отделения Зубатов, быстро доказавший, что департамент не ошибся, поручив ему [это дело]. В короткое сравнительно время агенты Зубатова успели убедить рабочих Москвы, что правительство ничего не имеет против экономического улучшения быта рабочего класса, но этому всеми силами препятствуют капиталисты. Рабочие должны бороться с капиталом, а не с правительством, правительство же готово всячески способствовать успешной борьбе рабочих. Бороться с фабрикантами необходимо на экономической почве, а потому правительство предлагает рабочим организовывать союзы для улучшения быта рабочих, общества взаимопомощи, кассы и т.д. Было обещано издание законов о фабричной инспекции, о стачках, страховании, была сказана туча ласковых слов; для тех рабочих, которые вошли в организацию Зубатова, дана свобода собраний. Рабочие пошли на эту удочку, революционное настроение среди них стало понижаться, образовалось «Общество рабочих механического производства». На собраниях этого общества всякий начинавший говорить на политические темы немедленно изгонялся рабочими вон из зала, а затем шпионы Зубатова тащили его в тюрьму.

Эта наивная и грубая политика... бездарных и жадных людей, озабоченных только сохранением своей власти, разумеется, не могла держаться долго. На первых же порах она возбудила тревогу среди капиталистов и сильно помогла росту их оппозиционного настроения, что вполне естественно. Затем — наиболее разумные рабочие скоро начали понимать, что их обманывают. Но раньше, чем дело Зубатова провалилось в Москве, оно нашло для себя почву и организаторов в Петербурге.

Поп Георгий Гапон явился на сцену как организатор петербургских рабочих в начале 1904 г. Его публичному выступлению в этой роли предшествовало следующее весьма важное обстоятельство. В феврале 1904 г. он пришел к петербургскому митрополиту и просил главу церковных учреждений разрешить ему, Гапону, посвятить свои силы делу организации рабочих Петербурга для проповеди среди них религиозно-нравственных идей... Митрополит категорически запретил ему заниматься этим делом. Но, несмотря на запрет непосредственного начальства, министр внутренних дел Плеве удовлетворил просьбу Гапона, что являлось со стороны министра явным нарушением прерогатив церкви, а со стороны Гапона — слушанием, за которое, по церковным правилам, он подлежал духовному суду и строгому наказанию. Однако митрополит не протестовал против грубого вторжения Плеве в область, ему не подведомственную, и не предал суду Гапона. Последнее обстоятельство всех очень удивило, потому что русская церковь крайне строго следит за дисциплиной среди своих служителей и наказывает их весьма сурово. Такое мягкое отношение к Гапону могло бы быть объяснено нежеланием раздражать рабочих, но в то время Гапон еще не был популярен среди них.

Через несколько дней после визита к митрополиту Гапон публично открыл основанное с разрешения

Плеве «Общество петербургских рабочих» и был выбран председателем этого общества. На открытии присутствовал петербургский градоначальник Фуллон, чиновники полиции и агенты охранного отделения. Гапон снялся вместе с ними в одной группе. Общество основало в разных частях города Петербурга одиннадцать отделов, председателем каждого отдела был выбран рабочий, а во главе всех стоял сам Гапон.

Когда факт сношений Гапона с министром Плеве и охранным отделением был точно установлен — революционная интеллигенция и политически развитые рабочие решили не вступать в сношения с Гапоном, но вести революционную пропаганду на собраниях его легального общества.

На первых же митингах среди рабочих своей организации поп стал резко нападать на деятельность революционных партий и предостерегать рабочих от увлечения политикой. Его личная политическая программа была крайне неопределенна, можно, однако, характеризовать ее старой славянофильской формулой «Царь и народ», т. е. — непосредственное общение царя с народом. Но в своих речах он старался избегать вопросов политики. Критикуя весьма невежественно и пристрастно деятельность революционных партий, он не выдвигал, как я сказал уже, ясной программы. Такой же неопределенностью отличались и его экономические взгляды, в формулировке их он подчинялся практическим указаниям самих рабочих, творчество его личной мысли отсутствовало и в этой области.

Кратко говоря — он был только фонографом идей и настроений рабочей массы. Около него группировалась бессознательная, но все более возбуждавшаяся под давлением действительности рабочая масса, он собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, все возраставшее революционное настроение, и его сильный темперамент отражал это настроение обратно в массу, не вводя, однако, в ее духовный мир каких-либо своих идей. Пафос его речи, его странные жесты, сверкающие глаза, сильный, хотя грубый язык показывал рабочим, как в зеркале, самих себя в образе, уже несколько облагороженном, в формулах, уже более ясных, чем их личные, полусознательные догадки о причинах бедствий рабочего класса в России. Он был типичный демагог очень дурного толка.

<...> «Кровавое воскресенье» было подготовлено силою рабочей массы, и роль Гапона в этот день мог с успехом выполнить любой из них. В этот день рабочие двинулись к Зимнему дворцу сразу из одиннадцати разных пунктов; во главе одной из этих волн шел Гапон... Была ли именно эта волна самой сильной?

В ней было около двадцати тысяч человек, всего же к Зимнему дворцу шло почти 200 000» («Гапон»).

Очерк о Гапоне оставляет сложное ощущение. В нем слишком много противоречий. Если Гапон был фигурой настолько сильной и темпераментной, что сумел уговорить умнейшего Плеве, победить всевластного в Петербургской епархии митрополита, организовать общество, которому подчинялось 200000 человек, и вывести рабочих к Зимнему (ведь руководители одиннадцати ячеек подчинялись непосредственно ему), то каким образом можно представлять этого несомненного лидера лишь безликим отражением несознательной рабочей массы?

Кстати, в письме к Е.П.Пешковой от 9 января 1905 года Горький отзывался о Гапоне совсем иначе, чем в американском очерке. «Его (Гапона. — П.Б.) будущее <...> рисуется мне страшно интересным и значительным — он поворотит рабочих на настоящую дорогу». Да и гибель рабочих совсем не воспринималась им тогда как бессмысленная бойня: «Рабочие проявляли сегодня много героизма, но это пока еще героизм жертв. Они становились под ружья, раскрывали груди и кричали: "Пали! Все равно — жить нельзя!"»

Сравните это описание с описанием расстрела в очерке «9 января», написанном после того, как Горький окончательно отошел от эсеров и примкнул к большевикам.

«— Какая там стрельба? К чему? — солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. — Просто они не пускают на мост, дескать — идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

— Холостыми... — не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась

за грудь и быстрыми шагами пошла вперед на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед ее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, — точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнула вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивали к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывной, напряженно дрожащей пестрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь».

Как существенно смещены акценты в очерке «9 января»? Это уже пишет человек, серьезно разуверившийся в возможностях народной революционной сознательности, на которую делали ставку народники и эсеры. Это пишет совсем иной революционер, делающий ставку на партийную элиту, на рабочую революционную аристократию, которую он изобразил в повести «Мать».

С другой стороны, при всем видимом презрении к Гапону в очерке не чувствуется ненависти к нему. Если вспомнить ранний рассказ Горького «Мой спутник» о проходимце князе Шакро, то Гапона — конечно, с большой долей условности — можно считать «спутником» Горького. Да и разве его одного? Разве не целое поколение маленьких вождей, «героев» было воспитано достаточно неопределенной, но явно взрывной, революционной философией раннего Горького? Снимая с Гапона вину за то, что случилось 9 января, Горький фактически снимал вину и с себя, считая причиной случившегося неразвитость массы. Но не он ли когда-то «возбуждал» эти неразвитые массы? Не он ли призывал к *безумству* храбрых и высмеивал *мудрость* кротких?

Очерк о Гапоне писался в 1906 году в Америке, как видно, с целью убедить американскую прессу, что проблема поражения революции заключается не в ее вождях, а в недостаточной подготовленности народа. Поэтому с таким жаром Горький возражал против того, что Гапона могли убить сами революционеры. «В американской прессе говорят, — пишет Горький, — что Гапон повешен революционерами. Этого не может быть. Революционерам не было никакого дела до попа Гапона, они не состояли в сношениях с ним. Дело русской революции — чистое, честное и великое дело, в нем не могут играть никакой роли люди, подобные попу Гапону. Если попа повесили, это должны были сделать его друзья, рабочие созданной им организации, они могли казнить его за попытку продать их правительству...»

Горький был неискренен. Конечно, он мог не знать тогда, что попа Гапона убил его друг и учитель П.М.Рутенберг. Позже он узнал и написал об этом в «Климе Самгине». Но то, что после расстрела рабочих 9 января Гапон скрывался в квартире Горького, что его остриг и передел Савва Морозов, что Петр Рутенберг вместе с Гапоном тут же сели писать воззвание к рабочим против царя, — этого Горький не знать не мог.

Сектант и еретик

Для горьковедов и лениноведов советской эпохи не слишком приятным было то обстоятельство, что первое известное письмо Горького к Ленину было связано с просьбой... передать послание Гапону. Это письмо от июня-июля 1905 года было переслано из Петербурга в Женеву и опубликовано во вполне доступном сборнике «В.И.Ленин и А.М.Горький. Письма, воспоминания, документы» (изд-е 2-е, дополненное. — М., Издательство Академии наук СССР, 1961).

Это даже не письмо, а записка человеку из партии, к которой Горький тяготел, общаясь одновременно и с эсерами, и с другими партийными революционерами, и с непартийными революционерами, и просто с людьми, разделявшими революционные взгляды. А таких людей среди либеральной интеллигенции было тогда великое множество.

«Владимиру Ильичу Ульянову

Глубокоуважаемый товарищ!

Будьте добры — прочитав прилагаемое письмо — передать его — возможно скорее — Гапону.

Хотел бы очень написать Вам о мотивах, побудивших меня писать Гапону так — но, к сожалению, совершенно не имею свободной минуты.

Крепко жму Вашу руку.

Да, — считая Вас главой партии, не будучи ее членом, и всецело полагаясь на Ваш такт и ум — предоставляю Вам право, — в случае если Вы из соображений партийной политики найдете письмо неуместным — оставить его у себя, не передавая по адресу.

А. Пешков»

В письме к Гапону Горький пытался убедить попа-провокаатора отказаться от планов создания в России новой рабочей партии без участия интеллигенции. «...Вашу работу считаю вредной, малопродуманной и разъединяющей силы пролетариата».

Из записки к Ленину можно понять следующее. Во-первых, бежавший после событий 9 января 1905 года Гапон общался за границей с самой верхушкой РСДРП. Строго говоря, он *и бежал к ним*. Так что не только Плеве и Зубатов были повинны в провокации 9 января. Во-вторых, для Горького Ленин уже тогда был главным авторитетом в РСДРП. Учитывая то, что Горький понимал неизбежность своего отъезда за границу (слишком тесно сотрудничал он с теми силами, которые развязали революцию), он зондировал почву для знакомства с Лениным, о котором был уже слышан как о вожде волевым и широко образованном (последнее было для Горького едва ли не самым важным). В-третьих (и это самое главное), Горький зондировал почву для своего вступления в партию.

Выпущенный из Петропавловской крепости после мощного давления на царя мирового общественного мнения, Горький через Финляндию попадает в Германию. Судя по письму сестры Ницше Элизабет Фёрстер, которое мы цитировали в главе «Опасные связи», в Германии Горький встречался с виднейшим бельгийским социал-демократом Эмилем Вандервельде. Встречался он и с социалистом Августом Бебелем. Вандервельде сообщил Элизабет, что Горький «уважает и ценит» ее брата и «хотел бы посетить последнее местожительство покойного», которое стараниями сестры и поклонников было превращено в архив-музей Ницше. Сюда в конце двадцатых годов придет с визитом Адольф Гитлер, чтобы засвидетельствовать сестре Ницше свое почтение и преклонение перед философией ее брата. Растроганная Элизабет сделает Адольфу символический подарок — трость Ницше. Кстати, муж Элизабет — Фёрстер — был одним из первых немецких идейных нацистов, — он основал в Парагвае колонию для спасения немецкого духа от всемирной «еврейской заразы», поразившей, по его мнению, Германию. Сам Ницше Фёрстера не терпел, считал грубым и невежественным.

Итак, судьба готовила для Горького новое испытание. Ему предстояло стать «мостом между Ницше и социализмом», по символическому выражению Томаса Манна. Но Горький не просто окончательно повернул к социализму. Он стал партийным функционером.

Для писателя его масштаба, известности это было, надо полагать, не простым выбором. И если Горький пошел на него, значит, он сильно изменил стратегию своего поведения. Ведь когда-то он гордился тем, что не принадлежит ни к одной из партий, «ибо это свобода».

В русской критике немедленно заговорили о «конце Горького» (Д.В.Философов). Дело дошло до смешного. Леопольд Сулержицкий, близкий знакомый Чехова, Толстого, Горького, известный анархист, дал интервью газете «Утро России» 20 ноября 1909 года, где утверждал, что А.П.Чехов глубоко сожалел о вступлении Горького в партию. Но Чехов скончался в 1904 году, когда Горького в партии еще не было.

Отправляясь в Америку, он еще не был по-настоящему знаком с Лениным. Не был он знаком и с Плехановым, и с другими виднейшими лидерами РСДРП. Идея американской поездки, как пишет сам Горький, принадлежала Л.Б.Красину. Но о Ленине Горький вроде бы слышал давно, еще с 1896 года.

Увиделись они впервые в Петербурге 27 ноября 1905 года, во время краткосрочного пребывания Ленина в России между эмиграциями и перед длительной эмиграцией самого Горького. Когда Горький писал очерк о Ленине, он странно забыл об этой встрече, о которой ему затем напомнили посторонние люди, и он согласился с этим уточнением.

Это действительно странно. Если бы Горького познакомили с Лениным уже тогда (а как было не познакомить вождя большевистской фракции РСДРП с виднейшим русским писателем на тайном

заседании ЦК РСДРП, куда допускались самые проверенные люди?), он едва ли забыл бы это, так как, по собственному признанию, был очень внимателен к людям, помнил их сотни и сотни, в лицах, жестах, характерных словечках. А ведь Ленин уже тогда был в его глазах не простым революционером. Судя по первому письму, он считал его «главой партии».

Так или иначе, но близкое знакомство Горького с Лениным состоялось в апреле 1907 года на V Лондонском съезде РСДРП, где Горький присутствовал как член партии, ее большевистской фракции. Съезд открывал лидер меньшевиков Г.В.Плеханов. Тогда Плеханов был фигурой более влиятельной, чем Ленин. Кстати, и с Плехановым Горький впервые познакомился в Лондоне.

Он всё замечает. И — сразу! — отмечает для себя главную особенность Ленина — это прирожденный вождь, который никогда не признает себя вторым. Стоило Плеханову заявить во время выступления, что «ревизионистов в партии нет», как «Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади него, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

— А по ту сторону — какие сидят?»

Это спросил кто-то из «своих», большевиков. Из ленинской фракции. Говоря иными словами, из ленинской партийной секты.

«Партия» и «секта» — почти синонимы. «Партия» (фр. parti, нем. partei, англ. party) означает «часть», или «группа». «Секта» (secta) слово латинское и значит «школа», «учение». В то же время «secta» является однокоренным со словом «sector», то есть «отделяющий», «отсекающий». Обособляясь в «школе», в «учении» (научном, религиозном, революционном), человек неизбежно отсекает себя от целостного восприятия мира. Часто это необходимо именно для более глубокого изучения этого мира. Но иногда это приводит к отсечению человека или группы людей как «части» от «целого». Не понимая этого, личность или группа людей подменяют понятие «целого» своей «частью» и начинают утверждать, что их «часть» и есть «целое». Поэтому всякая «школа» или «партия» всегда находится в опасной близости к сектантству.

Ленин был прирожденным сектантом. И не просто сектантом, но лидером. Горький указывает на это с первых страниц своего очерка «В.И.Ленин». Но не зная всего комплекса их отношений, этого не понять.

Солженицын в «Красном колесе» предполагает, что впервые сектантские настроения возникли у Ленина после сильной душевной травмы, нанесенной ему Плехановым во время их первой встречи в Швейцарии.

«С каким еще молодым восторгом и даже влюбленностью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперед, в письме из Мюнхена — тому «Волгину», — в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было — не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбывши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты-организатора, совместно раздуть революцию! Дико вспомнить — еще верил во всеобщее объединение с экономистами и защищал даже Каутского от Плеханова, — анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты — заодно и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везем — мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись — на задний расчет: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России — ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя — каменным революционером. И преподал урок преимущества в расколе: кто требует раскола — у того линия всегда тверже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац — сошли с женевского парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожженные, униженные, и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, — а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце».

Можно спорить с историко-художественной версией Солженицына, так же как можно спорить с версией, что причиной ленинской нетерпимости была душевная травма, нанесенная казнью брата Дмитрия Ульянова. Но в любом случае сектантская нетерпимость Ленина и его страсть к постоянным расколам внутри партии — это факты известные.

В частности, это подтверждается его перепиской с Горьким в период пребывания писателя на Капри и создания так называемой «каприйской школы» для рабочих-эмигрантов из России, организованной им вместе с А.В.Луначарским, Г.А.Алексинским и другими. Все они, по мнению Ленина, были «махистами»²¹, «ревизионистами», посягнувшими на учение Маркса, которое Ленин не просто считал единственно верным, но единственно верным считал и свое понимание марксизма. Впрочем, как раз в этом вопросе (борьбе с «махистами») он оказался солидарен с Плехановым. Но это ни о чем не говорит. Когда лидер секты освобождается от соперников, он может прибегнуть к помощи самого заклятого врага. Это тоже логика сектантского поведения: «отсекать» для своей пользы врага от чужой «части», использовать его, внося раскол и в его «часть» тоже. Таким образом сектант убивает двух зайцев.

Впоследствии в цикле статей в газете «Новая жизнь», объединенных названием «Несвоевременные мысли», Горький не раз употребит это слово — «сектантство». Но есть подозрение, что гнев его был разогрет еще и тем, что в политической перспективе сектантская политика Ленина оказалась продуктивней горьковского идеализма и веры в объединение демократических сил. Ленин взял власть. Он сумел ее удержать. И это благодаря тому, что, пока Горький с Богдановым и Луначарским занимались «богостроительством» и прочими душеспасительными вещами, Ленин ковал свою партию. Свою секту. И хотя, как считает Солженицын, к началу мировой войны и Февральской революции партия Ленина была в плачевном состоянии, уж точно единственным непререкаемым ее лидером был он, Ленин.

Об отношениях Горького и Ленина в советские годы написаны тысячи страниц. И почти все это, за редким исключением, невообразимая риторика о сложной «дружбе» вождя революции и писателя, изредка омрачаемой какими-то темными разногласиями между ними. Когда советская власть кончилась и были опубликованы «Несвоевременные мысли» Горького, родилась демагогия совсем другого сорта: о Горьком, якобы противостоявшем Ленину, но, увы, не сумевшем справиться с ним и вынужденном уехать в эмиграцию.

На самом деле и друзьями они никогда не были, и в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал, потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от Наркомпроса.

Все было проще и сложнее...

Надпись на венке от Горького и Андреевой покойному Ленину — «Прощай, друг» — была, конечно, ритуальной. Но не был Горький и врагом Ленина в 1917—1921 годах. Конечно, он был нравственно потрясен и раздавлен волной «красного террора». Конечно, Горький и в страшном сне не мог представить, что чаемая им русская революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов. Конечно, он «мечтал» о другом. О «культурной роли» революции. Об освобождении энергии демократии для перестройки жизни в духе «коллективного разума».

Если Ленин был сектантом, то Горький был еретиком. Он неоднократно называл себя «еретиком» в письмах и часто писал о том, что любит еретиков как духовный тип.

Православный словарь так объясняет слова «ересь», «еретик»: «учение (и последователь его), противное точной церковной догматике». Корень слов греческого происхождения и означает по-гречески «личный произвол, захват истины, стремление противопоставить религиозной догме свое субъективное мнение».

Не нам судить, что с церковной точки зрения опаснее — сектантство или еретичество, тем более что между ними есть прямая связь. Не будем забывать, что не только для Ленина, который, по собственному признанию, «бесился» при словах «Бог», «церковь», но и для Горького церковная точка зрения не являлась

²¹ «Махизм» — субъективно-идеалистическое философское течение конца девятнадцатого — начала двадцатого века, основанное Э.Махом и Р.Авенариусом.

авторитетной. Слова «сектантство» в отношении Ленина и «еретичество» в отношении Горького не следует понимать буквально. Скорее это образная характеристика. Горький был еретиком в том смысле, что всегда внутренне противился догме, всякой догме. И даже если он внешне подчинялся ей, душа и разум его протестовали. Существует легенда, будто бы Ягода, прочтя предсмертные дневники Горького, вздохнул: «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит».

В этом и состоит, так сказать, «контрапункт» непонятного союза Горького с Лениным. В отличие от союза со Сталиным, это был «брак» во всех отношениях добровольный. Ленин не угрожал Горькому и его «семье», Ленин не вынуждал Горького вступать в партии и ехать в Америку, Ленин мог только просить Горького о финансовой поддержке большевиков и т.д. И, наконец, Ленин до революции был в сравнении с Горьким фигурой, практически неизвестной широким массам.

Но — удивительно! — письма Ленина к Горькому каприйского периода (1907—1913 годы) и письма Ленина к Горькому послеоктябрьского времени (1919—1921 годы) по тональности своей почти не отличаются. Отличия есть, но они объективного происхождения. Ленин в женевско-парижской эмиграции и Ленин, лихорадочно бившийся за большевистскую власть в России после Октября, конечно, не одно и то же. Так же и Горький «каприйский» и Горький «петроградский» сильно отличались. Горький после Октября — это уже не идеалист, создавший на Капри паломническую атмосферу, странно напоминавшую атмосферу Ясной Поляны. Это старик, который харкает кровью и вопреки очевидности пытается спасти остатки культуры, вообще — цивилизованной жизни.

Но по тональности некой «музыки» отношений Ленина и Горького в этих письмах ничего не изменилось...

Странная это была музыка!

С церковной точки зрения, еретик и сектант не так далеко отстоят друг от друга. Ересь может привести к созданию секты, а всякая секта есть ересь, и т.д. Но во внецерковном смысле еретик и сектант как бы противостоят друг другу. Еретик стремится вырваться за пределы «абсолютной истины», утверждая свой произвол, а сектант, напротив, ревностно охраняет свою «абсолютную истину», претендуя на обладание ею. Для еретика всякая окончательная правда есть ложь, от которой он отказывается, как только она объявляет себя окончательной, а сектант, наоборот, ищет окончательной правды, которая всё в мире строго расставила бы по своим местам. Еретик бежит от догмы, сектант стремится к ней.

Конечно, и Ленин не был исключительно сектантом, и Горький не всегда поступал как еретик. Но первый был сектантом, а второй — еретиком, так сказать, *par excellence*, по преимуществу.

Почему же их притягивало друг к другу? Почему, как бы ни относиться к очерку Горького о Ленине, Горький искренне горевал о смерти «друга» и даже «плакал» о нем, как плакал при известии о смерти Толстого?

В их отношениях вообще немало загадочного. Большая часть их переписки каприйского периода — это жестокая перепалка, выражаясь по-ленински, «драчка». Но при этом они считают друг друга «товарищами», обращаются друг к другу «дорогой мой человек», «дружище» и т.п. Не надо быть крупным психологом, чтобы понять: внутри одной партии Горький и Ленин были несовместны. Они давили один на другого своими «авторитетами», оба претендовали на лидерство, пусть и понимая его по-разному. Внутри партии это были два сома в одном бассейне. Но если у Горького, кроме бассейна, были и другие водоемы для питания и нереста, то у Ленина, кроме его партии, не было решительно ничего. Поэтому, по всем сектантским законам, он должен был ненавидеть Горького. А между тем странное подобие дружбы действительно существовало, это невозможно отрицать. Может быть, их притягивало друг к другу по каким-то объективным законам, как притягивает друг к другу всякие очень крупные тела, планеты или корабли.

Для Ленина Горький одновременно и партийный фракционер, и великий писатель. Как фракционер (Ленин часто повторяет это словечко — «фракция», возможно, чтобы напомнить Горькому его *status quo*) Горький виноват перед Лениным бесконечно. Он посягнул на сектантскую этику! Мало того, что вместе с другими большевиками — большевиками! — Богдановым и Луначарским — он «ревизует» марксизм да еще создает в этом духе школу для рабочих, куда — это просто возмутительно! — приглашает Ленина

читать лекции. Но он выносит сор из избы! Он объявляет о своих «богостроительских» идеях в печати и даже — это уж вовсе за пределами сектантского понимания! — присылает в любимое детище Ленина, газету «Пролетарий», статью «Разрушение личности», где опять-таки солидаризуется с «ревизионистскими» идеями Богданова. Богданов в это время находится в Женеве и выслушивает от Ленина «мнение» не печатать статью Горького. Богданов, как и Ленин, соредатор «Пролетария» (третий — И.В.Дубровинский). Богданов возмущен. Не напечатать Горького?! Горького!!!

Богданов требует «третьего суда», говоря партийным языком, «тройки»... и проигрывает. Дубровинский — на стороне Ленина.

И вот Ленин, нимало не стесняясь, сообщает обо всем этом «другу»: «Когда я, прочитав и перечитав Вашу статью, сказал А. А-чу (Богданову. — П.Б.), что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо нависла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную тройку в специальное заседание для обсуждения вопроса».

Вот как получается. В расколе виноват Горький.

Богданов возмущен, Горький «изумлен». Получив и от Богданова письмо и уже понимая, что в родной партии цензура покруче царской будет, он отвечает Богданову: «Дорогой и уважаемый Александр Александрович! До Вашего письма получил я три листа, свирепо исписанных Ильичом и — был изумлен — до смерти! Ибо странно мне и, не скрою, смешно видеть себя причиной «драчки», как Ильич выражается».

Статья Горького не была напечатана в «Пролетарии»²². Ленин фактически перекрыл Горькому как идеологу выход в партийную печать.

«Разрушение личности» (1908 г.) не просто программная статья Горького этого времени, но и единственная его философская работа. И хотя в «Пролетарии» не было философского отдела и с первого же номера газета объявила, что будет держаться философского «нейтралитета» (на этом настоял опять-таки Ленин, понимая, что «махистов» в большевистской верхушке много, а он один), для Горького-то могло быть сделано исключение. Пусть и с редакционной оговоркой, пусть даже и с ленинской критикой в том же номере. Но так может думать нормальный журналист, а не руководитель сектантского издания. Для Ленина допущение Горького — как идеолога, а не писателя — в святая святых большевистской прессы было невозможно. Это нарушало баланс авторитетов, где главным идейным авторитетом мог быть только Ленин.

Горький пытался примирить «эмпириомониста» Богданова, «религиозного марксиста» Луначарского с Лениным, не понимая (или все-таки понимая?), что тем самым только раздражает Ильича. Примирение, объединение — это ведь идеологическая стратегия, а стратегия Ленина всегда была направлена на раскол. Горький-«примиренец», таким образом, вытеснял Ленина как идеолога раскола, и Ленин безошибочным сектантским чутьем почувствовал грозящую с этой стороны опасность.

Прямо устранить Горького из партии он, конечно, не мог. К тому же именно от Горького и через Горького шли в большевистскую кассу финансовые потоки. Каким бы ни был Ленин аскетом, но жизнь в Париже и Женеве была не дешевой. Как финансовый источник, как «разводящий» финансовые потоки (между прочим, в сотрудничестве с Богдановым) Горький вполне устраивал Ленина. Горький был посвящен в истории экспроприации на Кавказе, когда большевики грабили местных богачей. Цинизм, с которым его партийные товарищи получали деньги, видимо, не смущал Ленина. Вот только один пример финансовой махинации, в которой был замешан и Горький.

Семья Н.П.Шмита принадлежала к известной в России купеческой династии Морозовых (по материнской линии Н.П.Шмит приходился племянником Савве Тимофеевичу Морозову). Студент Московского университета, к 1905 году после ранней смерти матери и отца он стал, как старший в семье, опекуном сестер Екатерины и Елизаветы и распорядителем всего семейного состояния. Николай Шмит и его сестры с сочувствием относились к революционным событиям 1905—1907 годов. Через Л.Б.Красина и Горького ими были пожертвованы крупные суммы денег в пользу большевиков. При посредничестве Горького на деньги Шмита вооружались рабочие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в

²² Она появилась в сборнике «Очерки философии коллективизма».

Москве стала мебельная фабрика на Пресне, принадлежавшая семье Шмитов. В начале 1906 года Николай Шмит был арестован. Ему предъявлялось обвинение в непосредственной причастности к революционным событиям. Но суд откладывался. После четырнадцатимесячного предварительного заключения Шмит был убит в тюрьме при загадочных обстоятельствах.

Незадолго до ареста Шмит устно высказал намерение передать свое состояние большевикам. Очевидцем этого *устного* заявления Шмита был Горький. Но юридически оформить передачу денег было невозможно. Сложность была в том, что младшая сестра и брат, в силу своей молодости, могли вступить во владение своим наследством только через опекуна. Тогда большевистский ЦК выработал особый план. Было решено организовать фиктивный брак младшей сестры, с тем чтобы через мужа как можно быстрее получить наследство Шмита. В разработке этого плана принимали участие Горький и М.Ф.Андреева.

Фиктивным мужем Елизаветы стал А.М.Игнатъев. При этом был фактический муж — А.Р.Таратута. Старшая сестра, Екатерина, была замужем за адвокатом Н.Андриканисом. Она стала оспаривать план большевиков по присвоению наследства ее брата.

Дело осложнялось еще и тем, что на наследство Шмита претендовали не только большевики, но и меньшевики, и группа «Вперед». В конце концов победили большевики, но история вышла грязная, а кроме того, она дошла во всех подробностях до Охранного отделения.

Итак, как финансист партии (а также как «великий писатель») Горький Ленина совершенно устраивал. Но как идеолог — да еще и партийный — Горький был для Ленина, повторяем, смертельно опасен. Если бы стратегией большевистской элиты стало объединение, в этой новой стратегии для Ленина просто не было бы места, ибо раскол был его главным делом.

Бесконечно посылая Горькому в письмах поклоны как «великому писателю» и даже соглашаясь с тем, что «художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии», бесконечно справляясь о здоровье Горького (живет на одном из самых дорогих европейских курортов — Капри) и целуя руку М.Ф. (Марии Федоровне Андреевой), Ленин только и делает, что отсекает, отсекает и отсекает Горького от своей партии.

С Богдановым и Луначарским был другой разговор. Эти не так опасны. Эти хотя и элита партии, но в сравнении с Лениным рядовые «вожди». С тем же Богдановым, которого Ленин нещадно бил за «эмпириокритицизм», он тем не менее солидаризировался по вопросу о бойкоте Думы. Луначарский ему просто «симпатичен». А вот Горький — это вождь фактический, настоящий! Ленин прекрасно понимал, какой это колоссальный авторитет и какая угроза его сектантскому вождизму. Поэтому он не давал Горькому ни малейшего шанса реально влиять на партийную идеологию. Финансы — ради бога! «Мать»? Слабовато. (Ленин не скрывает этого.) Но — «своевременная книга»! Да даже о новой повести Горького «Исповедь», напичканной размышлениями о Боге и являющейся манифестом «богостроительства», Ленин отзывается почти равнодушно²³. Надумал было написать ему сердитое письмо, да раздумал. Или написал, но не послал. «Зря не послали!» — сердится Горький, не понимая (или понимая?), с кем он имеет дело.

С лидером секты. Матерым. Непререкаемым. Бескомпромиссным. Но только в том, что касается вопросов секты. Во всем остальном это «душа-человек»!

Горький злится ужасно. «Все вы склокисты!» — пишет он Ленину. «Меньшевики выиграют от драки!» Затем пытается урезонить Ленина простыми человеческими словами, опять-таки не понимая (или понимая, но поступая вопреки пониманию, может быть, назло Ленину?), что сектанта переубедить нельзя. С сектантом можно говорить как с нормальным человеком до тех пор, пока речь не зашла о делах сектантских. Об охоте, о рыбалке, о литературе, о мировой культуре... Но как только вы коснулись дел секты, тогда вы или сектант, подчиняющийся решению лидера, или вас отсекают прочь. Или... устраняют. Впрочем, в случае философских распрей Ленина с Горьким в этой крайней мере не было необходимости.

²³ Впрочем, на заседании редакции «Пролетария» «Исповедь» критиковали косвенно, обсуждая статью о ней Луначарского. Ленин обязал Л.Б.Каменева написать против Луначарского и «богостроительства» Горького статью. Каменев приказание исполнил. Статья называлась «Не по дороге» («Пролетарий», 1909, № 42). Так на Горьком отрабатывалась будущая, послереволюционная модель «партийной» критики.

Но уже в 1918 году готовящийся в лидеры большевистской секты Иосиф Сталин напишет в партийной печати в связи с «Несвоевременными мыслями», что Горького «смертельно потянуло в архив».

«Знаете что, дорогой человек, — с лукавой наивностью пишет Ленину Горький. — Приезжайте сюда, до поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят Вашего приезда. Отталкивать их — ошибка, более чем ошибка».

Несколько раз Ленин прямо отказывался приехать на Капри. Это было уже почти неприлично. И это при том, что Ленин прекрасно знал разницу между Горьким и «баринном» Плехановым. Знал о горьковском такте, чуткости, о том, что его не только не станут унижать, но, напротив, Горький расстарается, чтобы Ленин на Капри чувствовал себя как можно комфортнее. Обычному человеку не понять этой нечеловеческой сектантской логики. Но она работала у Ленина безупречно. И она никогда его не подводила.

«Дорогой А.М.! Насчет приезда — это Вы напрасно. Ну, к чему я буду ругаться с Максимовым²⁴, Луначарским и т.д. (Да зачем же непременно «ругаться»? — П.Б.) Сами же пишете: ершитесь промеж себя — и зовете ершиться на народе. Не модель. А насчет отталкивания рабочих тоже напрасно. Вот коли примут наше приглашение и заедут к нам (в Париж, где была ленинская школа для рабочих. — П.Б.), — мы с ними покалякаем, повоюем за взгляды одной газетины, которую некие фракционеры ругают (давно я это от Лядова и др. слышал) скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей».

Насчет нового раскола некругло у Вас выходит. С одной стороны, оба — нигилисты (и «славянские анархисты» — э, батенька, да неславянские европейцы во времена вроде нашего дрались, ругались и раскальвались во сто раз почище!), а с другой, раскол будет не менее глубок, чем у большевиков и меньшевиков. Ежели дело в «нигилизме» «ершей», в малограмотности и пр. кое-кого, не верящего в то, что он пишет, и т.п., — тогда, значит, не глубок раскол, и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем большевики и меньшевики, — значит, дело не в нигилизме и не в не верящих в свои писания писателях. Некругло выходит, ей-ей! Ошибаетесь Вы насчет теперешнего раскола и справедливо²⁵ говорите: «людей понимаю, а дела их не понимаю».

Но что это за «газетина»? И что это за «фракционеры», которые называют ее «скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей»?

Поразительно! Ленин настолько обозлен, что даже не стесняется признаться Горькому, что пользуется наушничеством «Лядова и др.», которые уже донесли ему мнение Горького о «Пролетарии». Он даже не спорит с Горьким. Выкрикивает какие-то слова, из которых можно понять одно: или я, или никто! или со мной, или ни с кем!

Встреча Горького с Лениным в присутствии Богданова на Капри все-таки состоялась. Горький Ленина «дожал». Да и неприлично уже было снова отказывать «великому писателю». Тем более писателю, который (об этом в следующей главе) написал целое произведение, где изобразил большевистских сектантов святыми. Который создал для большевиков новое «евангелие».

В очерке Горького о Ленине эта встреча описана в смягченных тонах. Но и здесь можно почувствовать леденящее дыхание сектантства.

«После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

— Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность примирения с махистами, хотя я вас предупреждал в письме: это — невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было

²⁴ Максимов и Богданов — псевдонимы А. А. Малиновского.

²⁵ Добавление насчет «справедливо»: оговариваюсь. Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе как... внешне. Т.е, можно понять психологию того или иного участника борьбы, но не *смысл* борьбы, не *значение* ее партийное и политическое (сноска Ленина. — П.Б.).

намерения примирять философские распри, кстати — не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала:

«Куда идешь? Зачем идешь? Почему — думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

— Ну, это — юмористика, — сказал он. — А что мир только начинается, становится — хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А.А.Богданов, А.В.Луначарский, В.А.Базаров — в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

— Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

— В конце концов, я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятое и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

— Значит — все-таки надежда на примирение жива? Это — зря, — сказал он. — Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю, что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, также как его удивительный смех, — не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин — прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех — «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердец».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нем:

— Так смеяться может только честный человек».

В письмах к Богданову Горький признавался, что он любит Ленина. А в очерке о Ленине утверждает, что Богданов в Ленина был просто «влюблен». Между тем, вот образчик разговора Ленина с Богдановым:

«— Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм — революционное марксизма?»

Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно.

— Бросьте,— советовал Владимир Ильич. — Кто-то, кажется — Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом».

Богданов говорил «многословно», потому что Богданов, в отличие от Ленина, был философом. Он был автором трехтомного труда «Эмпириомонизм», нескольких других книг по философии и множества статей. Горький, эрудиция которого многих поражала, был восхищен эрудицией Богданова.

Ленин ничего не говорит от себя, но при этом рубит фразы так, словно он единственный обладатель абсолютной истины. Таковым он себя и считал, и этой истиной был марксизм. Богданов был «ищущим» материалистом. Марксизм не был для него догмой, Богданов искал новые пути в материалистической философии. И вот это сектанта Ленина злило в Богданове. Потому что если кто-то начинает «искать», вся пирамида секты может рухнуть.

Так, может, Горький лгал, когда писал о любви к Ленину, своей и Богданова? Думается, нет.

Настоящий сектантский вождь тем и отличается, что умеет влюблять в себя людей. Чем? А вот своей «цельностью», своим «аскетизмом», своей беспредельной преданностью секте. Наконец, особенным «магнетизмом», о котором не случайно пишет Горький. Думается, Ленин завораживал Горького именно всем этим, хотя его сектантство он распознал мгновенно.

Горький не остался в долгу у Ленина. Книга «Материализм и эмпириокритицизм», предложенная издательству «Знание», по настоятельному письму Горького к Пятницкому была отвергнута так же, как Ленин отверг «Разрушение личности». Книга целиком была посвящена критике «махизма», критике Богданова отводилась отдельная глава. И хотя имя самого Горького в ней ни разу не было упомянуто, цель книги была понятна.

В этот раз Горький не стал поступать как «рыцарь» (что было ему свойственно) и, даже не прочитав рукописи книги Ленина, написал Пятницкому:

«...Относительно издания книги Ленина: я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок его насмешит. Издай «Знание» *эту* его книгу, он скажет: дурачки, — и дурачками этими будут Богданов, я, Базаров, Луначарский».

Слово «боец» следовало бы заменить на слово «сектант», ибо настоящий боец не смеется над рыцарским поступком.

Но гораздо важнее часть письма, где Горький объясняет, почему его философские симпатии на стороне Богданова, а не Ленина. «...Спор, разгоревшийся между Лениным — Плехановым, с одной стороны, Богдановым—Базаровым и К⁰, с другой,— очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедуют исторический фатализм, противная сторона — исповедует философию активности. Для меня — ясно, на чьей стороне больше правды...»

«Материализм и эмпириокритицизм» (с трудом, но Ленин все-таки издал свою книгу) был направлен против *корня* мировоззрения Горького — Человека. «Всё — в человеке, всё — для человека». А у Ленина? «Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, т.е. *не зависящую от человека и от человечества, истину* (курсив мой. — П.Б.) значит так или иначе признавать абсолютную истину». Как это — «не зависящую от человека»?! Ведь именно это Горький и отрицал всю жизнь! Человек способен на всё. Он может даже «построить» Бога.

Ведь логика «богостроительства», если не вдаваться в философские детали, в целом проста. «Бог умер» (Ницше). Но Бога необходимо возродить, *построить*, опираясь на коллективную волю и коллективный разум человечества. Надо внести в окружающий мир с его бессмысленностью новый, *человеческий* смысл. Надо заполнить страшный «провал», где отныне, со «смертью Бога», образовалась «пустота», или, выражаясь экзистенциалистским языком, «Ничто». Поэтому Бог — это партия («Мать») или народ («Исповедь»), но в любом случае это человеческий коллектив, который, не признает «абсолютной истины».

А Ленин? «Для Богданова (как и для всех махистов) признание относительности наших знаний исключает самое малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов — релятивист. Энгельс — диалектик».

Энгельс, может быть, и «диалектик», но эта диалектика органически была противна мироощущению Горького. Именно через отрицание мира как суммы ветхих «относительных истин» стремится Горький к новой абсолютной истине, но созданной уже Человеком. Он еретик. А сектант Ленин предлагает ему встать «по стойке смирно» перед Энгельсом.

Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» возмутила Горького еще и по тону своему. Это был не философский спор, а выволочка лидера фракции «зарвавшимся» фракционерам. Даже непонятно было, зачем Ленин столько читал, готовясь к написанию книги, зачем привлекал столько авторитетных философских имен. Ведь цель книги была сразу обозначена в подзаголовке — «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». Если «реакционной», то о чем спорить?

В предисловии к первому изданию было сказано однозначно: «Целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Сюда

относятся прежде всего «Очерки по (? Надо было сказать: против) философии марксизма», СПб., 1908, сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова; затем книги: Юшкевича — «Материализм и критический реализм», Бермана — «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова — «Философские построения марксизма».

Что касается меня, то я тоже — «ищущий» в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное».

Это стиль не философской полемики, а партийной выволочки.

Получив книгу Ленина, изданную в Москве в 1909 году издательством «Зерно», Горький был в ярости.

«Получив книгу Ленина, — писал он Богданову, — начал читать и — с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философские экскурсии напоминают, как ни странно — Шарапова и Ярморкина²⁶, с их изумительным знанием всего на свете, — наиболее тяжкое впечатление производит тон книги — хулиганский тон!

И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей «нового типа», «творцов новой культуры». Когда заявление «я марксист!» звучит как «я — Рюрикович!» — не верю я в социализм марксиста, не верю! И слышу в этом крике о правоте своем — ноты того же отчаяния погибели, кои столь громко в «Вехах»²⁷ и подобных надгробных рыданиях.

Все эти люди, взывающие городу и миру: «я марксист», «я пролетарий», — немедля вслед за сим сядящиеся на головы ближних, харкая им в лицо, — противны мне, как всякие бары; каждый из них является для меня «мизантропом, развлекающим свою фантазию», как их поименовал Лесков. Человек — дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством — самолюбию своему.

Ленин в книге своей — таков. Его спор «об истине» ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтоб доказать: «я марксист! Самый лучший марксист это я!»

Как хороший практик — он ужаснейший консерватор. «Истина незыблема» — это для всех практиков необходимое положение, и если им сказать, что, мол, относительно всякая истина, — они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колебание почвы под ногами. Но беситься можно и добросовестно — Ленину это не удалось. В его книге — разъяренный публицист, а философа — нет: он стоит передо мной как резко очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те привычки мыслить, кои наладили его «я» известным образом, и — теперь будет и уже, и хуже. Вообще — бесчисленное количество грустных мыслей вызывает его работа — неряшливая, неумелая, бесталанная.

Рекомендую А<лександр>у Алек<андровичу> (Богданову. — П.Б.) эпиграф к статье по поводу книги Ленина:

«— Что это он как говорит?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило».

(«Однодум» Лескова)»

К этой характеристике почти нечего добавить, кроме того, что нужно все-таки сделать поправку на адресата. Письмо писалось для Богданова, против которого была направлена книга Ленина.

Эти слова — приговор еретика, вынесенный сектанту. Это взрыв возмущения человека «ищущего» против догматика, рыцаря истины против насильника ее. Но поразительно! — это не мешало Горькому любить Ленина.

«Люблю его — глубоко, искренно, а не понимаю, почему взбесился человек, какие *ереси* (курсив мой).

²⁶ Публицисты консервативного толка.

²⁷ Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. В сборник вошли статьи Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, М.О.Гершензона, П.Б.Струве и других, повернувших от легального марксизма и материализма в сторону идеализма и христианства.

— П.Б.) узрел?» — писал он Богданову. И ему же: «Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных». И ему же: «Товарищ Л<енин> уважает кулак — мы, осенью, получим возможность поднести к его носу кулачище, невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него».

Это была уже прямая угроза, которая говорит о том, что Ленин не напрасно боялся Горького. В том же письме Богданову Горький заявляет: «Наша задача — философская и психическая реорганизация партии, мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить — к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии». Вот так!

В истории конфликта Ленин — Горький — Богданов политическую победу одержал Ленин. Каприйская рабочая школа раскололась и закрылась. С 1910 года личные отношения Горького с Богдановым (Малиновским) были порваны по причинам не вполне понятным.

С Лениным Горький поддерживал отношения и вел переписку вплоть до своего отъезда из России в 1921 году. Но это не было дружбой. Скорее союзом крупных исторических фигур, коими они себя, конечно, осознавали. Любил ли Ленин Горького, сказать трудно, если не считать любовью банальные письменные заботы о здоровье и советы лечиться у лучших швейцарских врачей («Пробовать на себе изобретения большевика — это ужасно!»). Но Горький Ленина любил. «С гневом», как признался Горький Ромену Роллану, но любил. Так же, как любил Толстого, Шалапина и других русских людей. С изумлением каким-то любил, словно не понимая: откуда они берутся такие?

Евангелие от Максима²⁸

Повесть «Мать» — одно из самых слабых в художественном отношении и самых загадочных с точки зрения творческой судьбы произведений Горького. Таким образом, сотворив из этой повести своего рода культовую для «социалистического реализма» вещь, коммунистические идеологи совершили двойную ошибку. И в художественном и в смысловом планах «Мать» является произведением невнятным даже для взрослого читателя, не говоря о школьниках, которым навязывалась эта повесть в советских учебных программах.

Сам Горький прекрасно знал цену этой повести и не слишком высоко ее ставил. Тем не менее, если «вынуть» «Мать» из творчества Горького, обнажится серьезная пустота и многое в судьбе Горького станет непонятным. Дело в том, что «Мать» — это единственная (и провалившаяся) попытка написать новое евангелие, евангелие для пролетариата.

Дореволюционная критика догадалась об этом сразу, да и мудрено было не догадаться. Ведь «Мать» писалась Горьким в расчете на пусть и образованных, но все же простых рабочих. Для них, крещенных, воспитанных в православной вере, с детства ходивших в местную церковь в какой-нибудь из рабочих слобод и уже потому знавших евангельский текст, была специально создана эта повесть. Для советских школьников, церковь не посещавших и евангелия не читавших (за это строжайше наказывали юных пионеров и комсомольцев, а еще больше могли наказать их родителей), «Мать» превращалась в своего рода *tabula rasa*, «чистый лист», на котором советская идеология выводила какие-то собственные письмена, не имевшие к смыслу этой вещи почти никакого отношения.

Только «погрузив» «Мать» в евангельский контекст, можно понять, зачем Павел Власов однажды приносит в дом картину с христианским сюжетом.

«Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Кто эти трое людей? Дореволюционный читатель не нуждался в дополнительных объяснениях. Сюжет «Христос на пути в Эммаус» использовался многими художниками и был известен всякому образованному рабочему. Кроме Христа на картине двое его учеников, один из них — по имени Клеопа. Христос уже

²⁸ Определение принадлежит критику и литературоведу Генриху Митину.

распят, и жители Иерусалима уже знают о чудесном исчезновении Его тела из гроба и о явлении возле гроба Ангела, который возвестил о Его Воскресении. Явившись своим ученикам в виде простого путника, Христос сделал так, чтобы они не узнали Его. Он стал расспрашивать их о случившемся в Иерусалиме. Ученики удивлены, ибо об исчезновении тела Христа говорит весь город. Они рассказывают Иисусу его собственную историю. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики Его так и не верят до конца в Божественность Его происхождения и в чудо Воскресения.

«Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании».

В Эммаусе, селении, находившемся в шестидесяти стадиях (древняя мера длины. — П.Б.) от Иерусалима, Христос остался с учениками на ночлег. Там, преломив хлеб и благословив учеников, Он открылся им и тотчас стал невидимым. После этого ученики отправились к одиннадцати апостолам и рассказали им о чуде. Когда они рассказывали это, Христос вновь явился им, но они, «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа».

«Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».

Поев с учениками печеной рыбы и сотового меда, Христос снова напомнил им тайну Своего происхождения и объяснил смысл всей истории человеческой. После этого они отправились в Вифанию, где Христос стал отдаляться от учеников и возноситься на небо.

Так рассказывает об «эммаусском» сюжете евангелист Лука.

Для «Матери» Горького этот сюжет не просто один из главных. Это ключ, без которого повесть «не открывается».

Павел Власов приносит картину именно в то время, когда началось его духовное перерождение из простого рабочего в революционера. Но это же, с точки зрения Горького, означало и перерождение из человека неверовавшего в верующего. Только религией Павла становится «новое христианство» — социализм. Это христианство истинное, не искаженное церковной догматикой и не поставленное с помощью церкви на службу «хозяевам жизни».

С матерью Павла, главной героиней повести Пелагеей Ниловой, происходит перерождение иного рода. В отличие от сына, отшатнувшегося от веры и переставшего ходить в церковь, Ниловна глубоко верующий и церковный человек. На протяжении повести Ниловна «прозревает». Но меняет она не веру, а взгляд на христианство. Фактически она как бы переходит из одной «конфессии» в другую, из православия в «новое христианство», или социализм. За это время сын ее становится не просто коммунистом, но партийным лидером, одним из «апостолов» новой веры. Недаром имя у Власова апостольское — Павел.

Апостол Павел был наследственный римский гражданин, который зарабатывал изготовлением палаток. (Его настоящее имя — Савл, данное в честь царя Саула.) Он был воспитан в строгой фарисейской традиции, даже участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями. Направляясь в Дамаск, чтобы преследовать бежавших туда христиан, Павел имел видение света, павшего с небес и ослепившего его. Он услышал голос Христа, который укорял его: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» После этого началось духовное перерождение Павла. Он принял христианство и стал великим христианским миссионером среди язычников, за что и удостоился (хотя не был личным учеником Христа) первоапостольского звания сразу после Петра и вместе с ним. Павел знаменит своими посланиями римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, которые входят в Евангелие как канонические тексты наряду с Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

А чем занимается Павел Власов с товарищами? Сочинением, изготовлением и распространением революционных листовок. Это тоже послания, но уже от новых духовных лидеров, перехвативших апостольскую инициативу и решивших вернуть христианству его первоначальный облик.

Когда Пелагея Ниловна понимает это, все для нее становится на свои места. Чтобы быть вместе с «детьми» (так она называет Павла и его товарищей), ей не только не нужно отречься от Христа, но

напротив — необходимо Его заново обрести, но уже вне церковных стен. В конце романа Пелагея арестована за распространение листовок. В это время ее сын находится в ссылке. Одно из двух: или Пелагея станет «прихожанкой» новой «церкви», которую вместе с другими сильными духовными лидерами создал ее сын (называется она «коммунистическая партия», еще точнее — РСДРП), или (что более вероятно ввиду ее преклонных лет) она останется сочувствующей «детям» и посильно помогающей им в распространении новой веры. Павел после ссылки (или побега из нее), скорее всего, из простого миссионера выбьется в «вожди». Мать будет его поддержкой. Кстати, мать Ленина до конца своих дней поддерживала Володю материально, немедленно посылая ему деньги, когда он нуждался.

Но гадать о том, что случится после ареста Ниловны, можно бесконечно. Горький задумывал повесть «Сын» как продолжение «Матери», но не написал ее. Это говорит о том, что «власовский» сюжет больше не давал пищи его художественному вдохновению. Прототипом Павла Власова был сормовский рабочий-революционер Петр Заломов, один из главных организаторов первомайской демонстрации в Арзамасе 1902 года. Предшественник Павла Власова в творчестве Горького — Нил из пьесы «Мещане», характер сильный, волевой, но малоинтересный. Продолжением «власовского» сюжета стал Петр Кутузов в «Жизни Клима Самгина» — уверенный в себе большевик, знающий ответы на все вопросы и потому особенно ненавистный Климу. «Эхом» Власова можно считать и Якова Лаптева, крестника Егора Булычова, в поздней пьесе Горького «Егор Булычов и другие». В этой гениальной пьесе, своего рода лирической исповеди Горького, Лаптев фигура все-таки «проходная», в том числе и в буквальном смысле: он лишь временами «проходит» через булычовский дом, а свою бурную революционную деятельность развивает где-то в другом месте, о котором Горький лишь глухо намекает. Почему? Пьеса замышлялась в 1930 году, была написана в 1931-м и предназначена для постановки в театре имени Евг.Вахтангова. Никаких цензурных препятствий для того, чтобы изобразить революционную деятельность Лаптева или, по крайней мере, дать ему мощно, «во весь голос» высказаться в пьесе, для Горького не существовало.

Ответ на этот вопрос мы найдем в пьесе «Достигаев и другие», написанной в 1932 году как своеобразное продолжение «Булычова». «Достигаев», пожалуй, самая слабая вещь Горького, созданная по слишком очевидному заказу из Кремля. Это произведение о том, как неустрашимый гэпэшник Лаптев арестовывает «осиное гнездо» «вредителей», возникшее в доме Булычова после его смерти. Через дом своего крестного Лаптев в этот раз не «проходит». Он входит в него как один из хозяев новой жизни, которым, увы, решил творчески «поклониться» Горький. К чести Горького, это его единственное законченное художественное творение в данной области.

Наиболее мощной попыткой «склонить» Горького-художника, а не только публициста, стало недвусмысленное предложение Сталина написать о нем книгу или хотя бы очерк, вроде воспоминаний о Ленине. И Горький даже взялся было за эту работу в конце 1931 года, стал изучать специально подготовленные для него материалы о вожде. Но дело ограничилось кратким описанием истории Грузии, на этом чернила Горького, так сказать, «иссякли». На дальнейшие попытки приставленных к Горькому литературных и издательских чиновников уговорить писателя взяться за книгу о Сталине Горький делал «глухое ухо». Эту «миссию» выполнил французский писатель-коммунист Анри Барбюс, создавший о Сталине оглушительно бездарную книгу с очевидными подтасовками фактов. Оказывается, Сталин не только «исправлял» все ошибки Троцкого в гражданской войне, но и октябрьский переворот был его заслугой! В книге угодливо описывался аскетизм Сталина, жившего в маленькой квартире в Кремле, и, конечно, не было ни слова о том, чего Анри Барбюс не мог не знать: какие раблезианские пиры закатывали для Сталина и его окружения на даче Горького в Горках.

Горький-художник «дрогнул», но выстоял. Тем не менее эхо «Матери» пронесится по всей его последующей жизни. Нельзя, хотя бы раз заставив свое перо служить сектантским целям, затем до конца «отмыть» его. Это возможно только через глубокое раскаяние, а Горький каяться не умел да и не желал. Таков был тип его духовной личности.

Для нас совершенно очевидно, что на протяжении жизни Горький последовательно разочаровывался во «власовском» сюжете. Иного и быть не могло. Горький был подлинный художник и не мог не чувствовать собственной фальши, как Шаляпин не мог бы не услышать фальшивую ноту в своем голосе.

«Мать» была первым опытом партийного заказа, который в 1906—1907 годах, когда писалась эта вещь, отчасти совпадал с мироощущением самого Горького. Он захотел (и заставил себя) уверовать в РСДРП и конкретно в большевиков как в «апостолов» новой веры и созидателей новой церкви. Эта новая церковь должна была проповедовать не смирение перед жизнью, но активное вторжение в нее. И все это для конечной победы «коллективного разума».

В повести «Исповедь», написанной после «Матери» и без всякого внешнего заказа, Горький показывает, на какие чудеса способен «коллектив». Незримая энергия, исходящая из толпы богомольцев, излечивает обезноженную девушку. Странствуя по Руси, Пешков мог наблюдать подобные случаи в действительности, хотя бы и в Рыжовском монастыре, где он встретился с Иоанном Кронштадтским. Но если толпа способна на такие чудеса, то какие волшебства может творить организованное и сознающее свою мощь человечество? Вот примерный абрис новой веры Горького, его «богостроительства», зачатки которого мы найдем в ранней пьесе «На дне», где Сатин обожествляет «коллективного» Человека.

Однако насколько искренен был Горький в собственной вере? Как художник, он чувствовал, что «Мать» не удалась, а в «Исповеди» самое слабое место — это описание рабочей слободки, где обитают рабочие-«богостроители».

Горький уже знал, что «найти» Бога нельзя. Но можно ли Его «построить»? Скорее всего, внутренне он сомневался в этом, как сомневался во всем в этом мире.

И тогда Горький решился на трюк с «иллюзией».

Это была самая страшная и роковая ошибка на его духовном пути!

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Эти стихи Бомарше в переводе В.С.Курочкина, шатаясь и держась руками за косяки, декламирует пьяный Актер в «На дне» незадолго до того, как повеситься. По сути, это и стало «самоубийственной» религией Горького, а первым сигналом этого была повесть «Мать». Изображая революционеров «апостолами», то есть святыми, Горький лукавил и знал об этом. Но может быть... как-нибудь... и выйдет так, что рабочие, прочитав евангелие от Максима, в самом деле станут новыми святыми и подвижниками? Ведь вера чудеса творит!

После Октябрьской революции эти «святые» по первому приказу Зиновьева явятся в его дом с обыском. И если б не Ленин, который своей гвардии не сдавал, они, может быть, «шлепнули» б его. Вот и вся иллюзия.

Разумеется, «Мать» по содержанию шире внешнего, да и внутреннего заказа, который выполнял Горький. Есть в этой повести художественно сильные места, в основном связанные с действительно непростым образом Пелагеи Ниловны. В описании рабочей слободки, быта рабочих сегодняшней внимательный читатель обнаружит отнюдь не только «свинцовые мерзости», но и, например, то, что поведение рабочих-революционеров не одобряют наиболее пожилые и квалифицированные рабочие фабрики. Что вся «революционность» Павла Власова не имела бы смысла, если бы на фабрике была возможность создания профсоюза, который защищал бы экономические интересы рабочих...

Вообще, с точки зрения «правды жизни» «Мать» достаточно емкое и интересное произведение. Но нельзя забывать, что в судьбе Горького именно «Мать» сыграла роковую роль, явив собой первый образец партийной (читай: сектантской) художественной литературы. Будущих разрушителей России эта повесть изображала «апостолами», святыми, на долгие годы «канонизируя» их. Это было первое несомненное духовное поражение Горького, от которого он не смог оправиться до конца жизни. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Наконец вспомним, что «проповедовал» новый «апостол» Павел Власов и чему в течение десятилетий учили школьников.

Вот его знаменитая речь на суде.

«— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей...»

Допустим, это позиция социального идеалиста, хотя — как можно быть врагом чужой собственности? Но дальше Павел говорит:

«...мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть».

Какой же это идеализм? Это слова политика.

Вспомним самое начало речи Павла:

«— Человек партии, я признаю только суд моей партии...»

Нет другого суда, ни юридического, ни человеческого, ни божеского — кроме суда членов своей секты!

«Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим».

И за все это Павел Власов получил высылку «на поселение», откуда в любой момент мог бы убежать.

И последнее. Наброски к неосуществленной повести «Сын», рассказы «Романтик» и «Мордовка», написанные в 1910 году, оставляют впечатление безнадежного поражения «власовского» сюжета. И в той и в другой вещи фигурируют молодые рабочие-революционеры (в «Мордовке» даже имя героя — Павел), но акцент смещен в область неразделенной либо неудавшейся любви.

Короче говоря: «пролетарского писателя» из Горького не получилось. То, что впоследствии его назвали «великим пролетарским писателем», было подменой, но подменой, которую он подготовил сам. Вакантное место истинно пролетарского писателя мог занять только один человек — Андрей Платонов, который называл рабочий класс своей духовной родиной. Но именно его-то Сталин решительно вычеркнул из списка советских писателей. В творчестве Горького рабочая тема занимает мало места и не породила ничего выдающегося в художественном отношении. Гораздо ярче в творчестве Горького звучит тема, с одной стороны, босячества, а с другой — купечества. Такова была парадоксальная природа горьковского таланта.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ: В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Лучше гореть в огне революции, чем гнить в помойной яме монархии.

Горький. «Революция и культура»

Революция была ему тяжела. Убытки революции приводили его в ужас.

Виктор Шкловский. «Удачи и поражения Максима Горького»

Крушение гуманизма

19 января 1918 года в газете «Знамя труда» была опубликована статья Александра Блока «Интеллигенция и революция». В ней поэт романтически приветствовал революцию (после октябрьского большевистского переворота) и обвинял интеллигенцию в трусости и непоследовательности, в ее нежелании разделить ответственность за кровь.

Статья вызвала бурю возмущения в стане недавних соратников Блока. Особенно возмущалась Зинаида Гиппиус. В лучшем случае Блок жалели как «овцу заблудшую».

В 1921 году, когда Блок умирал от болезней, вызванных недоеданием, а также состоянием глубочайшей депрессии, большевики во главе с Лениным «отблагодарили» поэта тем, что на своем заседании отказались выпустить его в Финляндию на лечение, хотя на этом многократно настаивал Горький, а накануне заседания о выезде Блока непосредственно с Лениным разговаривал нарком

просвещения Луначарский. Зато разрешили выехать Федору Сологубу, Константину Бальмонту и Михаилу Арцыбашеву. Затем Блока «отпустили», но стали затягивать с разрешением на выезд его жене Л.Д.Менделеевой, хотя понятно было, что ехать один Блок не в состоянии. Пока «рассматривали вопрос», Блок скончался.

Казалось бы, обстоятельства смерти Блока, которого Ахматова назвала «наше солнце, в муке погасшее», несовместимы с его взглядами на революцию 1917—1918 годов (статья «Интеллигенция и революция», поэмы «Скифы» и «Двенадцать»). Напомним, что в конце «Двенадцати» во главе революционного патруля Блок поставил Христа «в белом венчике из роз».

В контексте блоковской статьи «Интеллигенция и революция» Горький конечно же «интеллигент». Но выбор Горького был опять-таки «еретический». В то время, когда к коммунистам переметывались писатели из лагеря прежних врагов, от крупного поэта-символиста Брюсова до незначительного беллетриста Ясинского, который до революции печатался в суворинском «Новом времени» (одно это участие стоило «нововременцу» М.О.Меньшикову жизни), Горький вдруг рассорился со своими партийными товарищами, публично назвал октябрьский переворот «авантюрой», которая «погубит Россию», и напечатал в газете «Новая жизнь» цикл обличительных статей против власти.

После 1917 года все партийцы проходили перерегистрацию. Горький не стал ее проходить, то есть фактически вышел из партии и затем в нее уже никогда не возвращался. Его отношения с «дружищем» Лениным, которого Горький атаковал просьбами-требованиями, портились день ото дня, потому что Ленин относился к интеллигенции в лучшем случае равнодушно. Например, он предлагал разрешить петроградским профессорам иметь лишние комнаты для кабинета или лаборатории, мотивируя это тем, что Питер стал город «архипустой». (Правильно: из «буржуйских» квартир голодного Петрограда бежали все, кто мог: за границу, во внутренние, более сытые губернии.) В худшем случае Ленин считал мозг нации просто «г...» (о чем, не смущаясь, написал Горькому в связи с В.Г.Короленко) и лично распоряжался использовать интеллигенцию в виде заложников, «живого щита», например, во время наступления на Петроград Юденича. Председателем Петросвета до 1926 года (когда пришел С.М.Киров) был ленинский ставленник Григорий Зиновьев, человек (и Ленин это знал) редкой трусости, лживости и двуличности.

Расстрелянный по распоряжению Зиновьева поэт Николай Гумилев встретил смерть с такой спокойной улыбкой, что палачи его были потрясены. Когда в 1937 году Зиновьева вели на расстрел, он, по воспоминаниям заместителя Ягоды Ежова, не мог идти сам, пришлось нести его на носилках, при этом он кричал и умолял «позвонить товарищу Сталину».

Но, как утверждал Ленин, в апреле 17-го, когда он вернулся в Россию из эмиграции, у него было только два верных соратника — «Надя (Крупская. — П.Б.) и Зиновьев». Поэтому он сделал преданного Зиновьева фактическим хозяином Северной области, отдав в его распоряжение и «град Петров», и миллионы жизней, а также «дружища» Горького, которого Зиновьев в 1921 году начал методично травить, а до этого в его квартире устроил обыск.

Перечитывая статью Блока «Интеллигенция и революция» уже сегодня, после ознакомления с письмами Короленко к Луначарскому, «Несвоевременными мыслями» Горького, бунинскими «Окаянными днями» и многими другими публицистическими и художественными произведениями о революции тем не менее вновь убеждаешься: это великая статья! В ней нет и тени фальши, нет ни одной попытки спрятаться от истины или солгать. Но, говоря об этой статье, нужно помнить, насколько «интимно» переживал Блок революцию, как своеобразен был его взгляд на тогдашние события не только в России, но и во всем мире. Статьи Блока, как и поэмы этого времени, нужно рассматривать как «лирические величины», как страстный человеческий документ бесчеловечной эпохи.

Дело в том, что Блок взял на себя ответственность интеллигенции за революцию. А за революцию интеллигенция, конечно, была ответственна. Но не хотела этого признать, как не признал этого Горький.

В отличие от Горького, раз и навсегда отказавшегося от фаталистического взгляда на историю, Блок был фаталистом и смотрел на революцию как на процесс почти природный, подобный вихрю или землетрясению. К ней нелепо приступать с требованиями морали. Она «легко калечит в своем водвороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных», но это все — «частности, это не

меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о великом».

Взгляд Горького на революцию был более конкретен. Он видел не просто поток, но гибнущих художников, ученых, поэтов (и Блока) и на этом фоне — рыхлого, похожего на истеричную бабу Зиновьева, который раскатывал по Петрограду в автомобиле царя.

Кроме того, Горький мог публично не признавать, но не мог не чувствовать внутренней *личной* вины за Октябрь 17-го. Ведь большевиков к власти привел отчасти и он.

В логике рассуждений Блока о революции, казалось бы, был один шаг до этики коммунистов: «лес рубят — щепки летят», «цель оправдывает средства». Но Блок, говоря о «стихийном» характере революции, предлагал видеть ее грядущую цель: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

А это уже не «фатализм». Это уже по-горьковски. Как Горький, Блок верил, что старое целиком отомрет и на смену ему явится не только новое общество, но и «новый человек». Но в то же самое верил и Горький. В реальности все это предопределяло грандиозный эксперимент над человеком как Божьим творением, оправдывало операцию (хирургическую, страшную) по отсековению «старой», «ветхой» морали.

Вот выразительный пример.

В № 3 журнала «Октябрь» за 1930 год был напечатан очерк Михаила Пришвина «Девятая ель», написанный под впечатлением его поездки на территорию бывшего Гефсиманского скита недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Кстати, именно в Гефсиманском скиту похоронены русские философы Константин Леонтьев и Василий Розанов. С конца двадцатых годов там размещался «дом инвалидов труда с примыкающим к нему исправительным домом имени Каляева»²⁹. «Оба эти учреждения революционной силой внедрились в святая святых старой России...» — писал Пришвин.

Цель заведения объяснил Пришвину заведующий: «Сила коллектива в будущем затянет всех в работу (в том числе и инвалидов труда? — П.Б.), нищие и всякого рода бродяги исчезнут с лица земли».

Судя по описанию Пришвина, «коллектив» этого исправительного учреждения был весьма пестрый: нищие, бродяги, калеки, умственно и физически неполноценные люди, проститутки, беспризорные, воры. Все они вместе трудились и «перековывались» в «людей будущего».

Если вспомнить, что монастыри на Руси издавна служили прибежищем для нищих, сирых, убогих, станет понятна зловещая ирония истории. Всякая попытка радикально изменить то, что создавалось веками, оборачивается не созданием нового, но дурной пародией на старое. В данном случае это была пародия на Святую Русь, в которую так отчаянно хотелось «пальнуть пулей» блоковским красногвардейцам из «Двенадцати».

Но было бы неверно говорить, что Блок этого не понимал. Понимал. В наброске письма-отклика на стихотворение Владимира Маяковского 1918 года «Радоваться рано», где тот призывал к разрушению дворцов и прочего «старья», Блок верно заметил, что «разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно». «Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем Вы думаете, проклятия времени не избыть».

Все же Блока мучила скорее невозможность разрушения старого (это «проклятие времени»), чем попытки его разрушения. Здесь он был в гораздо большей степени «революционер», чем Горький, который бросился как раз спасать «старье» от разрушения и разграбления.

Блок призывал «всем сердцем» слушать «музыку революции», но это было, как правильно заметил Горький, похоже на заклинание сил тьмы. В конце концов сам Блок признал, что «музыки революции» он не слышит. Да и трудно было расслышать «музыку» за криками казнимых людей, за стонами умирающих от голода детей, а с другой стороны — за фырканием зиновьевского автомобиля.

²⁹ Эсер-террорист, экзальтированно веровавший во Христа, убийца московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Романова.

«Я спрашивал у него, — вспоминал Горький, — почему он не пишет стихов. Он постоянно отвечал одно и то же:

— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?»

Нет, Горький слышал звуки. Но это была не музыка, а постоянные, порой назойливые просьбы о дополнительных пайках, жалобы на бывших партийных товарищей Горького и мольбы о спасении жизни друзей и родственников, попадавших в застенки ЧК не только за реальную вину перед новой властью, но и просто в качестве заложников (потом этот безотказный способ воздействия на противника позаимствуют у Ленина и Троцкого террористические «красные бригады», а затем и весь мировой терроризм).

«Новых звуков давно не слышно, — твердил Блок, говоря о своей «музыке». — Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».

Кощунственно в отношении чего или кого? Блок говорил опять-таки о «музыке», которой ему, как поэту, стало недоставать в революции. По словам Горького, Блок был человеком «бесстрашной искренности», который умел чувствовать «глубоко и разрушительно». В момент разрушения России «еретик» Горький, может быть, даже из чувства внутреннего противостояния фатальной исторической реальности, хотел быть создателем и собирателем «камней». Как остроумно заметил Виктор Шкловский (уже в 1926 году, но имелось в виду явно революционное время), «у него развит больше всего пафос сохранения культуры, — всей. Лозунг у него — по траве не ходить. Горький как ангар, предназначенный для мирового полета и обращенный в склад Центросоюза».

Наоборот, Блок весь желал отдаться полету, мировой стихии (не как горьковский Буревестник, внешне, а внутренне, через «музыку»). Но он не слышал ветра, не видел стихии, а слышал стоны и жалобы и видел «железную» поступь новой власти.

Горький, хотя был не в силах помочь всем и спасти культуру, был в лучшем положении, чем Блок. Он оказался на своем месте. А вот Блок был просто «не нужен» новой действительности. Современность «выдавливала» его из себя, как организм «выдавливает» чужеродный объект. Отсюда (помимо элементарного голода) и блоковская депрессия.

Вот сценка — разговор Горького с Блоком в Летнем саду:

«С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что вы думаете о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламенне³⁰: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье в Летнем саду. Он спросил:

— Это вы — серьезно?

Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламенне менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю — панпсихизм, что ли?

³⁰ Ламенне Фелисите Робер — французский публицист и философ первой половины девятнадцатого века, один из родоначальников «христианского социализма». В ранних работах выступил против Февральской революции. Интерес Горького к «христианскому социалисту» в 1917—1921 годах, когда он вновь оказался в полемике с Лениным, едва ли случаен.

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков сознания до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия, — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нес.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидели бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще; все дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только Бог и я. Человечество? Но разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили».

На самом деле «фантазия» Горького предваряла философские открытия двадцатого века: В.И.Вернадского и Тейяра де Шардена. А вполне религиозная мысль Блока следовала в русле «метафизического эгоизма» Константина Леонтьева. Но Леонтьев и Шарден — фигуры несовместимые. А Блок и Горький как будто нашли один другого. Как будто весь мир замкнулся на Летнем саду, где беседуют эти двое, и вслушивается в их разговор. Блоку один шаг до веры в Бога, Горькому — до окончательного признания богом Человека. Но только ни один, ни другой не делают этих шагов.

«Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах».

Горького «заказывали»?

Когда-то вопрос о том, почему М.Горький в 1921 году уехал из советской России за границу, а в 1933 году окончательно вернулся в СССР, казался неуместным. Понятно — почему! Уехал потому, что «друг» Ленин считал нужным лечение Горького за границей и «дружески» на этом настоял. А вернулся потому, что был «пролетарским писателем», «соратником Ленина», «основоположником социалистического реализма», и где же еще находиться такому писателю, как не в СССР?

Хотя вопросы, конечно, все равно возникали.

Например, почему нельзя было организовать лечение Горького в советской России? Кто довел страну до такого состояния, при котором писателю с мировой известностью элементарно выжить можно было только за границей? Почему из России бежал даже Горький, находившийся, в отличие от других писателей, в привилегированном положении? Что за статьи писал и печатал Горький в своей газете «Новая жизнь»? Почему в 1918 году ее закрыли? Почему закрыли «Новое время» — это понятно. Газета консервативная, явно антибольшевистская. Но почему закрыли старейший журнал «Русское богатство», выходивший с 1876 года и печатавший цвет русской демократической прозы, Горького в том числе? А «Новая жизнь» Горького была просто газетой социалистической, под логотипом ее красовался лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Почему ее закрыли? Впрочем, для того, кто знал о том, что вся небольшевистская периодика была тогда запрещена, тут не было вопросов.

Но вопросы возникали, и ответы давать становилось все труднее по мере публикации обширного

публицистического и эпистолярного наследия Горького. Трудно было объяснить, почему «соратник» и «основоположник» в 1917—1918 годах азартно ругался с Лениным. Почему с конца 1921 года и до 1933-го (двенадцать лет!) жил за границей, а не в СССР, и почему наконец все-таки вернулся.

Последние опубликованные документы говорят о том, что отъезд Горького за границу в 1921 году оказался итогом сплетения двух обстоятельств, а вот возвращение его в СССР явилось результатом длинной цепи очень сложных явлений, рассмотрение которых переворачивает привычный взгляд на жизнь Горького как в эмиграции, так и в СССР в двадцатые—тридцатые годы.

Уехал за границу Горький потому, что, во-первых, не смог договориться с Лениным о своем месте в революции (иными словами, «дружище» Ильич, как и в 1908—1909 годах, элементарно «отсек» Горького от партии; во-вторых, Горький был действительно очень болен. Гибель А.А.Блока и В.В.Розанова, расстрел Н.С.Гумилева и откровенное хамство Зиновьева, который устраивал в квартире Горького обыски, сделали свое дело. Кстати, формально (с позиции «революционной законности») Зиновьев и Ленин были «в своем праве». Русская интеллигенция в целом большевиков ненавидела, в прочность их власти не верила и являлась, по сути, «пятой колонной», которую Горький старательно *опекал и организовывал*.

Зрелый Горький был «дипломатом» по натуре, но у всякой дипломатии ограниченные возможности. Когда Ленин арестовал почти всех участников Компомгола (Комитета помощи голодающим), кроме Горького и Фигнер, «дипломат» стал невольным провокатором. Именно так и назвал его бывший соратник по кругу реалистов Борис Зайцев. Ведь это Горький с согласия Ленина организовал комитет, куда вошли известные ученые, писатели, общественные деятели С.Прокопович, Е.Кускова, М.Осоргин, Б.Зайцев, С.Ольденбург, куда в качестве почетного «комитетчика» приглашали и В.Г.Короленко, но смерть его помешала этому. О Горьком как о человеке можно говорить разное. Он мог быть и хитрым, и лукавым. Он не любил неприятной для него правды, умел делать «глухое ухо», нередко позволял ввязывать себя в темные провокации. Но подлецом и провокатором Горький никогда не был.

И наконец, он действительно был болен. Все, кто вспоминает его в это время (за исключением разве что Зинаиды Гиппиус, писавшей в дневниках, что Горький на Кронверкском чуть ли не пирожными объедается и скупает за бесценок уникальные произведения искусства), отмечали болезненную худобу и сильное нервное истощение. Привычное уже кровохарканье приняло угрожающие формы. Не знаю, как переживал ссору с Горьким Ильич, но для Горького разрыв революции и культуры несомненно был глубочайшей личной трагедией, такой же, как для Блока отсутствие в революции «музыки». Он верил в революцию как в способ освобождения культурной энергии народа и верил во власть как способ организации этой энергии. На деле революция освобождала низменные инстинкты толпы. Власть их в лучшем случае контролировала.

В худшем случае поощряла и разжигала сама.

И началось это не 25 октября 1917 года. Художник А.Н.Бенуа описывает в дневниках 1917 года, как он, Горький, Шаляпин и еще несколько крупных и известных представителей литературы и искусства после отречения царя и установления власти Временного правительства мчались в Таврический дворец, чтобы решить вопрос об Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе. Ведь там бесценные сокровища! Ведь изгадят! Ведь разворуют! Растащат по сундукам!

И что? Один революционный чиновник кивал на другого. А в общем всем на всё было наплевать. Но главное, что отметил про себя проникательный Бенуа: *это* — не власть! *Это* — что угодно, но не власть. Только в А.Ф.Керенском Бенуа заметил «жилку власти».

Был ли отъезд Горького за границу осенью 1921 года эмиграцией в точном смысле этого слова?

Нет, конечно. И тем более это не было бегством за границу, подобно бегству Бунина или Гиппиус и Мережковского. Официально Горький выехал в заграничную командировку «для сбора средств в пользу голодающих», а также для лечения. То есть для Ленина и его окружения Горький формально продолжал оставаться «своим». А на самом деле?

Для большевиков Горький уже не свой. В советской прессе его имя не упоминают. А это имя самого известного из живых русских писателей! В то же время его официальный отъезд на лечение предполагал участие во враждебных советской власти зарубежных изданиях. Причем такое соглашение соблюдалось

не только Горьким, но всеми, кто уезжал «в командировку» или эмигрировал с разрешения большевиков. Ни Вячеслав Иванов, ни Константин Бальмонт (первое время), ни Андрей Белый, ни Виктор Шкловский, ни Алексей Ремизов, ни Павел Муратов, ни Михаил Осоргин советскую власть публично не ругали. Не говоря уж о выезжающих в короткие командировки Есенине, Маяковском и других.

Например, Андрей Белый вообще не считал себя эмигрантом, но только «временно выехавшим». Так же говорил о себе «красный граф» Алексей Толстой, бывший белогвардейский публицист, покающийся и с весны 1922 года издававший «сменовеховскую» газету «Накануне» с прокоммунистической ориентацией. Да просто выходившую на деньги Кремля.

Эмиграция была расколота на непримиримых, лояльных, идейно-сочувствующих и элементарно работавших на Москву. Кстати, по отношению того или иного эмигранта к коммунистам и определялся его статус в эмиграции. Одно дело — Бунин, другое — Белый и третье — Алексей Толстой. Были и какие-то совсем непонятные, «маргинальные» варианты. Например, Марина Цветаева, которая воспела Белую гвардию («Белая гвардия, Путь твой высок...»), обожала поэта Маяковского, при этом была замужем за бывшим белым офицером Сергеем Эфроном, завербованным НКВД. Внутри лагерей были свои оттенки разногласий. Они проявились, например, во время присуждения Бунину Нобелевской премии. На нее, как известно, одновременно претендовали Бунин, Мережковский, Шмелев и Горький. Получил премию Иван Бунин. Но любопытно отношение и самих претендентов, и всей эмиграции к этому событию. Бунин и Мережковский — оба «непримиримые», оба пострадали от большевиков. Но на предложение Мережковского в случае любого решения Нобелевского комитета поделить премию пополам Бунин говорит решительное «нет!» В литературе они почти враги. Но и мелькнувшая было кандидатура Шмелева, который и «непримиримый», и эстетически близок Бунину, казалась Бунину несерьезной. Зато Марина Цветаева была возмущена тем, что премию получил Бунин.

Как оказалось, Иван Шмелев затаил обиду не только на Бунина, но и на всю эмиграцию. В 1941 году в письме к своей последней возлюбленной Ольге Бредиус-Субботиной Шмелев писал: «Здесь (в парижской эмиграции. — П.Б.), в продолжение 12 лет, меня пробовали топить, избегали называть меня и моё (до смешного доходило!) — но даже левая печать — «Современные записки»³¹ — уже не могли без меня: меня требовал читатель. О, что со мной выделывали, с моим «Солнцем мертвых»³² <...> Поверь, Оля, давно бы я был «лауреатом». За Бунина 12 лет старались: сам Нобель, шведский архимандрит, ряд членов Нобелевского комитета...»

Это письмо отражает истинные отношения внутри эмиграции.

Но что же Горький за границей?

Долгое время он старается быть в стороне от эмигрантских споров. «Сидит на двух стульях» (Глеб Струве), но стулья эти, по крайней мере, не разъезжаются. Печататься в газете «Накануне» отказывается (в литературном приложении — иное дело), но с самим А.Н.Толстым, как писателем и человеком, поддерживает хорошие отношения. Нина Берберова, которая вместе с Ходасевичем близко общалась с Горьким в это время, так описывает его: «Теперь Горький жил в Герингсдорфе (лето 1922 года. — П.Б.), на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на А.Н.Толстого и газету «Накануне», с которой не хотел иметь ничего общего». Но и с другими изданиями («Руль», «Дни», «Современные записки» и др.) Горький не сотрудничал. Впрочем, и не выступал публично против эмиграции до 1928 года.

Зато Горький своеобразно мстит крестьянству, написав о нем в 1922 году злую брошюру и выпустив в Берлине («О русском крестьянстве»). Получалось, не большевики виноваты в трагедии России, а крестьянство с его «зоологическим» инстинктом собственника. «Жестокость форм революции, — объявлял Горький на всю Европу, — я объясняю исключительной жестокостью русского народа». Кстати, эта брошюра — первый шаг Горького к будущему Сталину с его политикой «сплошной» коллективизации.

Тогда в эмигрантской прессе в связи с книгой Горького появилось слово *народозлобие*, вариант будущей «русофобии».

³¹ Лучший эмигрантский литературно-публицистический журнал, издаваемый в Париже.

³² Роман И.С.Шмелева о гражданской войне в Крыму.

Но досталось от Горького и большевикам. То есть Горький фактически нарушил соглашение — быть лояльным в отношении советской власти после официального отъезда за границу.

Весной 1922 года в открытом письме к А.И.Рыкову он выступил против московского суда над эсерами, который грозил им смертными приговорами. Письмо было опубликовано в немецкой газете «Форвертс», затем перепечатано во многих эмигрантских изданиях. Ленин назвал горьковское письмо «поганым» и расценил его как предательство «друга». В «Известиях» Горького «долбанул» Демьян Бедный, в «Правде» — Карл Радек.

Значит, война?

Нет, он не хотел воевать.

Да покайся Горький перед эмиграцией (пусть даже самой «непримиримой»), как А.Н.Толстой покался перед коммунистами, она конечно же приняла бы его в свой *политический* круг в качестве персоны № 1. Какой это был бы козырь для международного оправдания эмигрантского движения, в котором оно в то время чрезвычайно нуждалось!

Но возможно, как раз поэтому, за исключением «письма об эсерах», Горький о большевиках молчал и к эмиграции относился прохладно. Дело дошло до того, что он вежливо отказался присутствовать на собственном чествовании в Берлине в связи с тридцатилетием своей литературной деятельности, которое организовали наиболее дружественно настроенные к нему А.Белый, А.Толстой, В.Ходасевич, В.Шкловский и другие.

Горький злится. На всех. На народ, на интеллигенцию. На эмигрантов и большевиков. Внутренне, вероятно, и на себя.

Но именно это позволяет ему в период с 1922 по 1928 год осуществить творческий взлет, который признали даже самые строгие эмигрантские критики (Ф.Степун, Д.Мирский, Г.Адамович) и самые язвительные из критиков советской метрополии (В.Шкловский, К.Чуковский). Да и как не признать достоинств таких произведений, как «Заметки из дневника», «Мои университеты», рассказы 1922—1924 годов!

Он часто любил повторять, что не пишет, а только «учится писать». Даже если согласиться с этим, надо признать, что в эмиграции Горький «учился писать» особенно хорошо.

До 1924 года Горького не пускали в Италию, куда он рвался всей душой, как «политически неблагонадежного». Но вот наконец Италия, Сорренто. (На Капри все-таки не пустили.) Море, солнце, культурный быт. Кто только не побывал у него на вилле — от старых эмигрантов до молодых советских писателей.

Например, приезжал бывший символист Вячеслав Иванов. «Горький встретил своего философского врага с изящной приветливостью, они провели день в подробной беседе, — вспоминает свидетель. — Возвращаясь в «Минерву» (гостиница в Сорренто. — П.Б.), утомленный Иванов должен был сознаться, что не встречал более сильного и вооруженного противника».

Утомленные солнцем. Культурной беседой. На самом деле, влиятельный когда-то и культурнейший из символистов, Вяч.Иванов искал расположения соррентинского отшельника по весьма прозаической причине. По той самой причине, по которой искали его расположения многие писатели эмиграции. Зато другие, как Марина Цветаева, вдруг немотивированно отказывались от встречи с ним. Когда Ходасевич в Праге пытался познакомить страшно нуждающуюся Цветаеву с Горьким, намекая, что это знакомство может быть ей полезным, Цветаева отказалась. Из гордости. Понимая, каким влиянием обладает эта фигура. В то же время Цветаева была благодарна Горькому за помощь ее сестре Анастасии.

Дело в том, что Горький продолжал оставаться «мостом» между эмиграцией и СССР. И те, кто хотел вернуться домой, понимали, что проще (да и «чище») это сделать через посредничество Горького.

В частности, Вяч.Иванов просил Горького о содействии в решении финансового вопроса: чтобы продлили командировку в Италию от Наркомпроса, организованную Луначарским, и продолжали посылать денежное обеспечение. И Горький немедленно бросился «хлопотать». Он «хлопотал» о многих. Как в России в 1917—1921 годах, так и в «эмиграции».

Итак, фактически считать его эмигрантом нельзя. Это был затяжной, вынужденный отъезд, во время

которого Горький не только лечился и писал классические вещи, но и пытался проводить сложную и хитроумную (как он себе представлял) политику по сближению эмиграции и метрополии. Но не так, как А.Н.Толстой, скомпрометировавший себя изданием газеты «Накануне». И уж конечно не так, как муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, завербованный НКВД и впоследствии погубивший не только самого себя, но и свою семью. Горький был слишком умен да и амбициозен для этого. И вообще Горький был Горький. Единственный и неповторимый.

Но это же стало и причиной глубокой внутренней драмы. Художник Павел Корин, посетивший Горького в Сорренто и написавший, возможно, лучший его портрет, гениально «схватил» это. Да, на его картине Горький возвышается над Везувием (так построена перспектива), что можно счесть обычной художественной комплиментарностью. Но как он одинок в своей громадности! Как очевидно неуютно ему на этой скале! Старый Сокол, доживший до крушения своих самых заветных иллюзий и не способный расправить крылья, но понимающий, что бросаться со скалы вниз головой — глупость. Мудрый беспомощный старик, обремененный «семьей» и осаждаемый просителями. Нет, сил в нем еще достаточно. Но опоры уже нет. Только вот эта толстая палка, помогавшая ему еще в его ранних странствиях. Так бы и бил этой палкой по башке всех, кто не понимает, что Человек — «это звучит гордо!»

Возможно, такой (или похожий) взгляд был у Махатмы Ганди в конце сороковых годов, перед тем как его застрелил на улице индусский националист. Тогда, после мировой войны, рушились его главные идеалы, которыми он, говоря словами Толстого, «заразил» индийский народ. Тогда вновь вспыхнул национализм, и великий Ганди оказался «недостаточно» индусом. Как он страдал, видя, что в пламени возбужденных страстей горит то, что он кропотливо созидал всю жизнь, — его идеология «непротивления»!

Но простой народ назвал его Махатмой, что означает «великая душа». Для простых индусов, не для теоретиков национализма, он был почти богом. И до сих пор, подходя к месту его сожжения, надо задолго снимать обувь и идти босиком, какходишь в индусский храм.

А Горький? В двадцатые годы, когда Ганди утверждал свои идеи среди индусов и они триумфально побеждали, Горького с его «социальным идеализмом» «народная власть» выдворила из страны, как при монархии.

О Ганди Горький написал в письме к Федину 28 июля 1924 года: «...В России рождается большой Человек, и отсюда ее муки, ее судороги. Мне кажется, что он везде зачат, этот большой Человек. Разумеется, люди типа Махатмы Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей».

В сущности, они были антиподами. Ганди был «толстовец», а Горький «толстовство» ненавидел. Ганди воспевал этот мир как вечный, данный от богов, а Горький был богоборцем, воспевавшим торжество «чистой» человеческой мысли.

Хотя в жизни этих людей было немало общего. Трудное детство. Страсть к образованию, «вдруг» проснувшаяся после небрежного отношения к учебе и отчаянного подросткового нигилизма (юный Ганди даже мясо ел, что для людей его касты и веры было ужасным грехом). Жажда справедливости. Предпочтение «духа» материи.

И вообще — два «больших человека», несомненных национальных лидера. Только Горький не стал для русского народа «махатмой», как не стал им Толстой. Скорее всего русским «махатмой» мог быть в начале двадцатого века святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский, но революция смела все, что созидал этот человек. И наконец, как ни крути, по крайней мере на двадцать с лишним лет «махатмой» был признан Сталин.

К нему-то Горький и пришел.

Его возвращение в СССР было предопределено массой причин. Назовем некоторые.

Зададим неприятный, но неизбежный вопрос: на какие средства Горький жил за границей? лечился в лучших санаториях, снимал виллу в Италии, содержал многочисленную «семью» из родных и «приживальщиков»?

Месячный бюджет Горького в Италии составлял примерно 1000 долларов в месяц. Это много или

мало? По нынешним «понятиям» — немного. Но не будем забывать о реальной стоимости доллара тогда и сегодня.

При этом значительная часть эмиграции жила даже не в бедности, а в нищете. Так жили Куприн, Цветаева или менее известная поэтесса Нина Петровская, проникновенные воспоминания которой о Брюсове все эмигрантские издания отказались печатать по сугубо цензурным соображениям: ведь Брюсов стал коммунистом.

Горький пишет М.Ф.Андреевой, служившей в советском Торгпредстве в Берлине: «Нина Ивановна Петровская <...> ныне умирает с голода, в буквальном, не преувеличенном смысле этого понятия. <...> Знает несколько языков. Не можешь ли ты дать ей какую-либо работу? Женщина, достойная помощи и внимания...»

Согласно заключенному в 1922 году (то есть уже в «эмиграции») Торгпредством РСФСР в Германии и Горьким договору сроком действия до 1927 года, то есть ровно на пять лет, писатель не имел права «ни сам, ни через других лиц издавать свои сочинения на русском языке, как в России, так и за границей», кроме как в Госиздате и через Торгпредство.

Ежемесячный гонорар, выплачиваемый Горькому из РСФСР за издание его собрания сочинений и других книг составлял 100 000 германских марок (свыше 320 долларов).

Финансовыми делами Горького в Госиздате вместе с М.Ф.Андреевой занимался будущий бессменный секретарь писателя П.П.Крючков, живший тогда за границей и с большим трудом «выбивавший» из России деньги Горького. М.Ф.Андреева в 1926 году писала: «К сожалению, П.П.абсолютно не имеет возможностей <...> добиться от Госиздата каких-либо отчетов. <...> Сердишься ты — напрасно. <...> Ты забыл, должно быть, условия и обстановку жизни в России?»

Последняя фраза гораздо интереснее путаных объяснений Андреевой о неразберихе, царящей в финансах Госиздата, которые мы опускаем. Еще любопытнее другая фраза из ее письма: «Вот будет П.П. в Москве, восстановит и заведет связи...»

Связи Горького с Москвой осуществлялись через П.П.Крючкова, М.Ф.Андрееву, Е.П.Пешкову, полпреда в Италии П.М.Керженцева и других людей. А вот отношения его с эмиграцией становились все хуже и хуже. Даже с Владиславом Ходасевичем, прожившим в «семье» Горького в Италии немало времени, он круто расходится. Тем более что рухнул их совместный издательский проект.

Издавая журнал «Беседа», Горький мечтал объединить все культурные силы Европы, русской эмиграции и советской метрополии. Журнал должен был издаваться в Германии, но распространяться в основном в России. Таким образом осуществлялся бы «мост» между заграницей и Россией. Молодые советские писатели имели бы возможность печататься за рубежом, а эмигрантов читали бы на родине. Такой замечательный проект.

Вероятно, получив неофициальное согласие из советской России, Горький на базе берлинского издательства «Эпоха» в 1923 году выпустил первый номер «Беседы». Работал он над ним со страстью и вдохновением. Сотрудниками, кроме Ходасевича, были А.Белый и В.Шкловский, научный раздел вел Б.Адлер. Список приглашенных в журнал имен впечатляет: Р.Роллан, Дж.Голсуорси, С.Цвейг; А.Ремизов, М.Осоргин, П.Муратов, Н.Берберова. Из советских — М.Пришвин, Л.Леонов, К.Федин, В.Каверин, Б.Пастернак.

Понятно, что в «Беседе» не могли напечататься, с одной стороны, Бунин или Мережковский, а с другой — Бедный или Фадеев. Как и в «каприйский период», Горький лавировал, искал компромисса. И в Кремле его на словах поддержали. Но в секретных бумагах Главлита журнал «Беседа» оценили как издание идеологически вредное. Ни Пастернак, ни Зощенко, ни Каверин, ни Ольга Форш, ни другие советские авторы печататься в нем не имели права. Но самое главное — в СССР «Беседу» не пустили.

Всего вышло шесть номеров. Горький был морально раздавлен. Его снова сделали невольным провокатором, потому что он наобещал и эмигрантам, и советским писателям (тоже жившим скудно) приличные гонорары.

В который раз его обманули, не позволив «сказку сделать былью». В который раз его социальный идеализм и страстное желание всех примирить и объединить для разумной коллективной работы разбились

о тупое партийное чванство и личные политические амбиции.

Но история с «Беседой» преподавала ему и еще один, вполне практический урок. Он ясно понял, что за границей ему развивать деятельность не дадут. Стулья начали разъезжаться, и появилась необходимость выбирать один из них. Но это и было самое трудное для «еретика» Горького — сидеть на одном стуле. «Непривычно сие!» — как скажет он потом Илье Шкапе.

Для Горького-писателя соррентинский период был счастьем, вторым творческим взлетом после Капри. Для Горького-деятеля это был период жестокого кризиса и новой переоценки ценностей. В конце концов он их переоценил. В пользу сталинской «державности».

Насколько непросто складывались издательские и денежные дела Горького за границей, явствует из его переписки с «Мурой» (М.И.Будберг), которая была его доверенным лицом в этих вопросах. Вот она пишет ему в связи с продажей прав на экранизацию «На дне»: «Что же касается требования «скорее денег» с Вашей стороны, а моей просьбы «подождать», то тут я, может быть, проявила излишнюю мягкость. <...> Убедительно все же прошу Вас не предпринимать никаких мер. <...> Деньги у Вас пока есть: 325\$ — это 10 000 лир, и *должно* (курсив М.И.Будберг. — П.Б.) хватить на месяц». «Должно» — настаивает Будберг, намекая, что неплохо бы «семье» Горького ужаться в расходах.

К сожалению, писем Горького к баронессе Будберг сохранилось очень мало. Но и этих писем вполне достаточно, чтобы догадаться, как финансово трудно выживал Горький в предвоенной, кризисной Европе. «Коллекцию (нефрита. — П.Б.) безумно трудно продать, — пишет она, — я справлялась и в Париже, и в Лондоне, везде советуют продать частями и говорят, что стоимость на 50% упала, т.е. не 700 ф<ранков>, а 350. Что делать?»

«Нефрит продать за 350-500 — чего? — уже совсем раздраженно спрашивает она в ответ на какое-то письмо Горького. — Драхм? Лей?»

Сиденье «на двух стульях» затянулось. С одной стороны, Горького настойчиво приглашают в Москву. Туда рвется и сын Максим с молодой женой и двумя детьми: там его знают, там ему интересней. Из СССР приезжают молодые писатели, Л.Леонов, Вс.Иванов и другие. Они жизнерадостные, жадные до творчества, что всегда обожал Горький.

Эмиграция смотрит на Горького или враждебно, или косо. Те, кто «дружит» с ним, сами давно мечтают вернуться в Россию, но как бы *под его гарантию*. «В Европе холодно, в Италии темно...» — напишет О.Мандельштам позже о том, что происходило в Европе, и в частности в Италии, где у власти стоял Муссолини. Обыск на вилле Горького «ребятами» Муссолини мало чем отличался от обыска «ребятами» Зиновьева в Петрограде. Но кому жаловаться? Когда обыскивали «ребята» Зиновьева, он помчался жаловаться в Москву, к Ленину. Теперь же — к советскому послу. Кто еще может защитить несчастного всемирно известного писателя?

В 10 часов вечера 27 мая 1928 года Горький вышел на перрон станции Негорелое и ступил на советскую землю после семилетней разлуки. Здесь, как и на всех других советских станциях, его приветствовали толпы людей. Тысячи людей! Апофеоз встречи состоялся на площади перед Белорусским вокзалом в Москве. Это было началом нового, последнего периода его жизни, разобраться в котором еще сложнее, чем в предыдущем. Очень жестко сказано об этом в воспоминаниях Ходасевича: «Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни».

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ: ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

... Русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед «громкими именами», она их брала на службу либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих «громких имен», отвергнутых потом революцией, — целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они старые. Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дадут спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно»

потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов.

Сталин, газета «Рабочий путь», 1917, 20 октября

Крепко жму Вашу лапу!

Из письма Горького Сталину

«Чудесный грузин»

В феврале 1913 года, накануне возвращения Горького из итальянской эмиграции в Россию, Ленин написал ему письмо. Выражая в самом начале письма свои обычные опасения по поводу здоровья Горького — «Что же это Вы, батенька, дурно себя ведете? Заработались, устали, нервы болят. Это совсем беспорядки», — Ленин снова и снова набрасывается на уже разгромленный им «махизм» вообще и на Богданова лично. «А Богданов скандалит: в «Правде» № 24 архиглупость. Нет, с ним каши не сварить! <...> Тот же махизм = идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни глупые редактора в «Правде» не поняли. Нет, сей махист безнадежен, как и Луначарский...»

Но важно это письмо не этим, а тем, что в нем произошла заочная смычка «Ленин — Горький — Сталин».

Отвечая на какое-то письмо Горького по поводу разгула национализма (проблема, которая сильно волновала Горького накануне первой мировой войны), Ленин писал: «Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посерьезнее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав *все* австрийские и пр. материалы. Мы на это наляжем. Но что наши резолюции (посылаю их в печати) «отписка, канцелярщина», это Вы зря изволите ругаться. Нет. Это не отписка. У нас и на Кавказе с.-д. грузины + армяне + татары + русские работали *вместе*, в *единой* с.-д. организации *больше десяти лет*. Это не фраза, а пролетарское решение национального вопроса. Единственное решение. Так было и в Риге: русские + латыши + литовцы; отделялись *лишь сепаратисты* — Бунд. То же в Вильне».

Ленин был неисправим. По его убеждению, есть одна национальность — его партия, его секта. Все же прочее — тонкости и сложности национальных отношений — должно перед этим стусеваться.

По-видимому, Ленина, по крайней мере до его размолвки со Сталиным, устраивало, как решал национальный вопрос «чудесный грузин», как устраивало его и то, что с Кавказа, в бытность там Сталина и Камо, в большевистскую кассу поступали деньги от экспроприации, то есть грабежей. Ленина вообще устраивало все, что не противоречило его партийным убеждениям. И этот принцип Сталин несомненно перенял у Ленина. Так что он был искренен, когда потом, оказавшись на вершине власти, смиренно называл себя его «верным учеником».

Достаточно оценить, как Ленин относился к собственной стране и ее населению. В письме к Горькому (конец января 1913 года) Ленин писал: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы Франц Иозеф (так у Ленина. — П.Б.) и Николаша доставили нам сие удовольствие».

«Сие удовольствие» большевикам доставили в августе 1914 года, но они сумели воспользоваться им только после февраля 1917-го.

Поражает не столько цинизм Ленина по отношению к своей родине и своему народу, сколько та откровенность, с которой он высказывает свою точку зрения Горькому. Ведь Горького разгул национализма волновал именно из-за опасения новых расколов, раздоров, войн.

И все-таки проблема притяжения-отталкивания между Лениным и Горьким более или менее понятна. Каждый из них — авторитет, большой человек. Пусть один из них «сектант», а второй «еретик» и между этими категориями есть полярность, но существует и степень взаимопонимания и взаимопритяжения.

Но главное — Ленин в глазах Горького был «интеллигентом», и это для Горького являлось решающим обстоятельством. Ленин был умницей, эрудитом. Вне партийного раскола он мог вести беседу

в тональности, которая была понятна и приятна Горькому.

Легко поверить, что Ленин действительно проверял простыни в гостиничном номере Горького в Лондоне — не сыроваты ли? И едва ли Горький выдумывал, когда писал, что Ленин «заразительно смеялся», как ребенок. «Заразительный» смех Ленина не один Горький отмечал, как не один Горький отмечал загадочный ленинский *магнетизм*, его способность влюблять в себя партийцев, не только простых, но и лидеров, даже своих оппонентов, как Богданов и... сам Горький.

Но что нашлось общего у Горького со Сталиным, кроме густых усов? Понятно, что могло сблизать его с «интеллигентом» Львом Каменевым или с «любимцем партии» Николаем Бухариным. Даже с Зиновьевым у Горького до 1921 года были почти теплые отношения. Но об отношениях Горького со Сталиным до того, как они вступили в переписку в конце двадцатых годов, ничего не известно, кроме грубого окрика Сталина в 1917 году в газете «Рабочий путь», вынесенного в эпиграф этой главы.

Впервые Сталин проявил себя в гражданскую войну, а до этого был неприметной фигурой в партии, хотя входил в Политбюро и принадлежал к старой большевистской гвардии. Александр Орлов пишет, что, будучи назначенным после Октября комиссаром по делам национальностей, Сталин имел стол в общей комнате с табличкой на нем, написанной от руки. От Сталина того времени до всемогущего тирана, которого Анри Барбюс назвал «лицом» стомиллионного советского народа, расстояние почти космическое.

Но ни тот, ни другой Сталин не могли быть близки Горькому, который всегда любил больших «человеков», но не терпел тиранов. Пресловутый «вождизм» Горького проявился лишь в самом конце его жизни, и только в статьях, написанных как будто другим человеком. Прочитав его письма к членам писательского товарищества «Серрапионовы братья» Лунцу, Зощенко, Каверину, Вс.Иванову, Федину и другим, можно ощутить, сколько в них неподдельной любви к «молодым». Но главное — сколько в них потрясающего такта! И это понятно. У Горького была «школа» переписки с Чеховым, Толстым, Короленко. Горький элементарно не мог нагрубить начинающему таланту, для него это было все равно что наступить сапогом на пробившийся из семечка росток.

Зато грубость Сталина отмечали многие. Он был груб и с писателями, хотя ценил творчество некоторых из них, скажем, Всеволода Иванова. «Пожалуй, только с М.Горьким он не мог себе позволить снисходительного, порой грубого тона, каким он говорил нередко с другими писателями», — пишет Дмитрий Волкогонов, но, думается, он не совсем прав. После охлаждения отношений с Горьким, с 1934 года, Сталин в письмах к нему позволял себе тон если не снисходительный, то достаточно едко иронический. И то, что он посчитал себя вправе ломиться к умирающему Горькому в два часа ночи, говорит о многом. Из этого становится понятным бешенство больного и беспомощного Ленина, когда Сталин словесно оскорбил Крупскую.

Из предыдущей главы ясно, что в 1928—1931 годах между Горьким и Сталиным была заключена какая-то сделка, даже если она не была оформлена официально. Из дальнейшего повествования будет понятно, что ни Сталин, ни Горький своих условий до конца не выполнили. Именно это стало причиной расхождения между ними. Так что Горький вовсе не был «жертвой» Сталина. Скорее он был жертвой закономерностей своей судьбы, жертвой своего богоборческого разума.

Важнее выяснить другое. Почему от «дружища» Ленина Горький в 1921 году бежал, а к «тирану» Сталину вернулся, да еще и со словами хвалы на устах? Каким «золотым ключиком» к душам человеческим обладал этот «чудесный грузин», что сумел «заманить» к себе Горького почти на восемь лет, на весь остаток жизни, и использовать его мировой авторитет, сделав его частью основания своей пирамиды власти?

Возвращение «условно»

В конце 1921 года Горький уезжал из России, обозленный на коммунистов. Даже трудно сказать, на кого именно он был в наибольшей степени зол (видимо, все-таки на Зиновьева). Но не понимать, что в центре всех событий стоит его «друг» Ленин, он не мог.

Из переписки Горького с Короленко 1920—1921 годов (последний жил в Полтаве) можно судить об отношении Горького к политике большевиков, то есть Ленина и Троцкого. «Вчера Ревтрибунал судил

старого большевика Станислава Вольского, сидевшего десять месяцев в Бутырской тюрьме за то, что издал во Франции книжку, в которой писал неласково о своих старых товарищах по партии. Я за эти три года много видел, ко многому «притерпелся», но на процессе, выступая свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу насквозь».

В этом же письме Горький с уважением отзывается о патриархе Тихоне, которого Ленин ненавидел: «очень умный и честно мыслящий человек». Горький-то, который не терпел церковников, так как еще с юности был обижен ими! Насколько же должно было измениться его сознание!

Письмо было написано в связи со смертью зятя Короленко К.И.Ляховича. Его арестовали, в тюрьме он заразился сыпным тифом, и тогда его отпустили умирать. «Удар, Вам нанесенный, мне понятен, — пишет Горький, — горечь Вашего письма я очень чувствую, но — дорогой мой В.Г. — если б Вы знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжелых драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка. К.Тренев живет в судорожном страхе. А.А.Блок, поэт, умирает от цинги, его одолела ипохондрия, опасаются за его рассудок, — а я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию, в одну из санаторий».

Смерть Блока, расстрел Гумилева (ускоренный потому, что Горький бросился «хлопотать» за него в Москву), наглость Зиновьева и непробиваемое мнение Ленина, что все, чем занимается Горький, — это «пустяки» и «зряшняя суетня», привели к тому, что Горький из России уехал.

Но поостыв в эмиграции, он вновь стал посматривать в сторону советской России. Неверно думать, что причиной тому был исключительно финансовый кризис. Недостаток денег действительно начинает сильно омрачать быт соррентинского отшельника, причем главным образом даже не его, а его большой семьи. Семья Горького привыкла жить на широкую ногу. Тимоша любила одеваться по последней европейской моде (во всяком случае, так пишет Нина Берберова, кстати, без тени осуждения). Сын Максим Пешков был страстным автогонщиком. Спортивные машины стоили дорого. Только в СССР он мог позволить себе иметь спортивную модель итальянской «лянчи». Наконец, глава семьи привык жить в почти ежевечернем окружении гостей, за щедро накрытым столом. И не привык считать деньги, настолько, что их от него прятали, по воспоминаниям В.Ф.Ходасевича.

Все это — неограниченный кредит, отсутствие забот о доме и даче, щедрые гонорары и т. д. — Сталин Горькому обещал через «курсировавших» между Москвой и Горьким. Впрочем, это было и так ясно: всемирно известного писателя, вернувшегося в СССР, не могли поселить в коммунальной квартире, как Цветаеву, и заставить ходить в магазин за продуктами. Эта часть соглашения с Кремлем была очевидна, хотя едва ли сам Горький ожидал, что ему «подарят» особняк Рябушинского, дачу в Горках да еще и дачу в Тессели, в Крыму. В этой части их соглашения Сталин переиграл, как классический восточный деспот, закармливающий своего фаворита халвой до смерти. Да и символика тут была не без фарса. Хозяин роскошного особняка, построенного архитектором Ф.О.Шехтелем, — С.П.Рябушинский — жил в эмиграции, как и все братья Рябушинские, члены огромной купеческой семьи, изгнанной из России революцией. Оставшиеся на родине сестры, Надежда и Александра, погибли на Соловках в 1938 году.

В материальном отношении Горький и семья получили всё и даже сверх разумной меры. Между тем, не будем забывать, что в 1917—1921 годах в квартире Горького на Кронверкском в шкафу висел один костюм, а на фотографии празднования годовщины издательства «Всемирная литература» (главное и любимое детище Горького периода революции) на столе стоят только чашки для чая, и больше ничего.

Справедливости ради надо сказать, что Сталин в этом отношении (как и во многих других) был дальновиднее своего учителя Ленина. Литературе Сталин придавал огромное значение. В разработке проекта создания Союза писателей СССР он принимал личное участие и отступил под нажимом Горького, который пожелал видеть в руководстве «своих» людей. Так он всегда умел временно отступить, чтобы затем вернуться и править единолично.

В отношении писателей у Сталина была не прямолинейная, а весьма избирательная логика.

Сталин поддерживал (впрочем, порой и нещадно критиковал) жившего непосредственно в Кремле большевистского поэта Демьяна Бедного с настоящей фамилией Придворов. Но чуть ли не вторым после Горького по значению писателем стал граф А.Н.Толстой, когда-то работавший в белогвардейской прессе.

Сталину нравилась пьеса Константина Тренёва «Любовь Яровая». Но (впрочем, опять-таки после нажима Горького) он поддержал и Булгакова с его «Днями Турбиных». Смертельно больному и фактически нищему А.И.Куприну было позволено вернуться на родину. И не просто позволено. Ему была сделана бесплатная операция, созданы все условия для того, чтобы он беззаботно дожил последние дни. Ведь Куприн во время гражданской войны, как журналист, «проштрафился» перед красными в гораздо большей степени, чем Толстой, не говоря уж о Горьком. Откуда такая милость? Какой от возвращения Куприна лично Сталину был «прок»?

Объяснения можно найти разные. Но есть некая общая, хотя и трудноуловимая, логика, согласно которой Сталин «окормлял» наиболее крупных писателей. Когда Иван Бунин получил Нобелевскую премию, Сталин будто бы сказал: «Ну, теперь он и вовсе не захочет вернуться...» Допустим, это легенда. Но после войны Бунина пытались «заманить» в СССР. Это известный факт, как и то, что на банкете в советском посольстве Бунин вместе с остальными поднял бокал в честь генералиссимуса.

И Маяковского Сталин безошибочно выделил после его смерти среди футуристов и «лефовцев».

И с Шолоховым вел сложную игру.

В то же время именно в период правления Сталина были уничтожены прекрасные поэты и прозаики. И понять логику этих казней и «немилостей» (даже если пытаться встать на точку зрения тирана) в некоторых случаях невозможно. Уничтожили Даниила Хармса, но до поры не трогали Бориса Пастернака. Старательно истребляли лучших крестьянских писателей — Клюева, Орешина, Клычкова, Васильева. От очерка «Впрок» Андрея Платонова Сталин пришел в такое неопишное бешенство, что автор на всю жизнь был вычеркнут из списка советских писателей. С другой стороны, не был запрещен «Тихий Дон».

Известно одно: Сталин придавал литературе огромное значение и вел с крупными писателями свою, достаточно сложную «игру». Конечно, это не была интрига того накала страстей, которую Сталин вел с «опозицией». Но это были тоже весьма напряженные и по-своему даже увлекательные «игры» (только не для тех, кого в конце этой «игры» казнили) между литературой и Сталиным. И вот в эту «игру» Горький решил ввязаться, рассчитывая на свой мировой авторитет и понимая, что Сталин нуждается в нем.

В короткий период правления Ленина ничего подобного быть не могло. Ленин интересовался не литературой, а «партийной литературой». Наконец, ему было не до литературы. В стране шла гражданская война, царил социальный хаос, власть коммунистов находилась под постоянной угрозой. Но в конце двадцатых годов многое изменилось, по крайней мере в столицах. Жизнь в СССР — ее фасадная часть — налаживалась. О страшном голоде на Украине 1929 года, унесшем миллионы жизней и сделавшем миллионы детей беспризорными, то есть малолетними проститутками и преступниками, советские газеты, разумеется, ничего не писали. О свержении коммунистической власти не могло быть и речи. У власти появилась возможность обращать внимание на то, что всегда больше всего интересовало Горького: искусство, литература, наука, социальная педагогика. К литературе со стороны советской власти стал проявляться повышенный интерес. Молодые советские писатели — Федин, Каверин, Вс.Иванов, Зощенко и другие — могли массовыми тиражами печататься в журналах, издавать книги, могли жить на гонорары, как это было до революции.

Над всеми ними, разумеется, висел дамоклов меч коммунистической идеологии. Но, во-первых, многие из них действительно разделяли эту идеологию, а во-вторых, писатель, занятый литературным трудом, способен преодолеть идеологию, «переварив» ее по законам художественного творчества. И в этом тоже была «игра» — опасная, но и увлекательная.

Советских писателей, пусть и не без волокиты, стали выпускать за границу. Почти каждый из них считал святым долгом посетить соррентинского отшельника, выразить свое почтение и привезти с родины «общий поклон». Напомнить, что его ждут, ему всегда рады и вообще его место там, а не здесь. Кстати, эти писательские командировки с непременно заездом к Горькому в Сорренто тоже были частью политики Сталина, направленной на его возвращение в СССР. Горькому давали понять: смотрите, как свободно разгуливает по Европе Всеволод Иванов, бывший сибирский типографский наборщик, а ныне знаменитый советский писатель. Разве это не свобода, Алексей Максимович? не торжество народной культуры, о которой вы, Алексей Максимович, мечтали?

Список советских писателей, которые посетили Горького в Сорренто, действительно впечатляет: А.Толстой, О.Форш, Л.Леонов, Вс.Иванов, С.Маршак, Ф.Гладков, А.Афиногенов, Л.Никулин, И.Бабель, В.Лидин, В.Кин, В.Катаев, А.Веселый, Н.Асеев, П.Коган, А.Жаров, А.Безыменский, И.Уткин и другие. Только Шолохову не удалось до него добраться. Но кто был в этом виноват? Сталин? Отнюдь. После письма Горького к Сталину с просьбой ускорить выдачу Шолохову загранпаспорта паспорт был незамедлительно выдан. А вот итальянские власти застопорили выдачу визы.

Из всех писателей, посетивших Горького в Сорренто, почти никто реально не следовал за ним, то есть не учился у него *писать*. Горький не мог не понимать этого, читая публикации и книги Зощенко, Каверина, Леонова, Вс.Иванова и других. Не мог не видеть, что куда более авторитетными для них являются не слишком любимые им Гоголь и Достоевский, а из более современных, например, Андрей Белый и Борис Пильняк. Но Горький двадцатых годов еще не впал в «вождизм». Его письма к «молодым» исполнены пониманием их поисков, хотя и не без некоторого ворчания на стилистические огрехи и чрезмерную любовь к Андрею Белому и «нигилисту» Борису Пильняку. Наконец, сам факт, что в нем нуждаются, его ждут в СССР молодые азартные советские писатели (а у них был резон иметь защиту в лице Горького как от власти, так и от «напостовской» погромной критики), не мог не растрогать его в условиях отшельничества и откровенной травли со стороны эмиграции.

Это был весомый аргумент в пользу возвращения в СССР. Думается, более весомый, чем финансовые проблемы. И все же Горький колебался.

Деятель по натуре, он не мог долго заниматься чистым творчеством. Начатый в Сорренто «Клим Самгин» грозил стать безразмерным. К тому же Горький всегда умел сочетать творчество и деятельность. Так что не только сына Максима с женой, но и его самого тянуло в СССР. Однако он понимал, что цена его возвращения слишком дорогая.

Кто первый пригласил Горького вернуться? Как ни странно, это был все тот же Григорий Зиновьев. Уже в июле 1923 года Зиновьев как ни в чем не бывало пишет Горькому в Берлин: «Пишу под впечатлением сегодняшнего разговора с приехавшим из Берлина Рыковым. Еще раньше Зорин³³ мне говорил, что Вы считаете, что после заболевания В. И-ча у Вас нет больше друзей среди нас. Это совсем, совсем не так, Алексей Максимович. <...> Весть о Вашем нездоровье тревожила каждого из нас чрезвычайно. Не довольно ли Вам сидеть в сырых местах под Берлином? Если нельзя в Италию <...> — тогда лучше всего в Крым или на Кавказ. А подлечившись — в Питер. Вы не узнаете Петрограда. Вы убедитесь, что не зря терпели питерцы в тяжелые годы. Я знаю, что вы любите Петроград и будете рады увидеть улучшения.

Если Вы будете в принципе за это предложение, то Стомоняков (или Н.Н.Крестинский)³⁴ всё устроят.

Дела хороши. Подъем — вне сомнения. Только с Ильичом беда».

К письму Зиновьева сделана приписка рукой Бухарина: «Дорогой Алексей Максимович! Пользуюсь случаем (сидим вместе с Григорием на заседании), чтобы сделать Вам приписку. Я Вам уже давно посылал письмо, но ответа не получил. С тех пор у нас основная линия на улучшение проступила до того ясно, что Вы бы «взвились» и взяли самые оптимистические ноты. Только вот огромное несчастье с Ильичом. Но все стоит на прочных рельсах, уверяю Вас, на гораздо более прочных, чем в гнилой Центральной Европе. Центр жизни (а не хныканья) у нас. Сами увидите! Насколько было бы лучше, если бы Вы не торчали среди говенников, а приезжали бы к нам. Жить здесь в тысячу раз радостнее и веселее! Крепко обнимаю, Бухарин».

«Жить стало лучше, жить стало веселее!» Не один Сталин разделял это убеждение, правда, высказано оно было позже, в тридцатые годы.

Итак, два члена ЦК приглашают Горького в Россию. Это через год после его гневного письма к

³³ Секретарь Петроградского комитета РКП(б), затем референт Зиновьева, затем первый секретарь Иваново-Вознесенского губкома РКП(б).

³⁴ Б.С.Стомоняков — работник Торгпредства РСФСР в Берлине. Именно с ним Горький подписал договор о передаче Торгпредству прав на издание своих сочинений, тем самым предоставив Кремлю возможность шантажировать себя задержками с выплатой гонораров. Н.Н.Крестинский — посол в Германии.

Рыкову по поводу суда над эсерами, которое Ленин назвал «поганым». Бухарин делает приписку «на заседании». На заседании чего? Политбюро? В любом случае, сделать столь ответственное приглашение они не могли без коллективного решения партийной верхушки, в которой начиная со времени болезни Ленина все больше и больше укреплялся Сталин, постепенно сосредоточивая в своих руках неограниченную власть. Даже телеграммы о смерти Ленина «губкомам, обкомам, национальным ЦК» были отправлены за «скромной» подписью «Секретарь ЦК И.Сталин».

Вот факт, опрокидывающий прежние классические представления об отношениях Горького с Лениным и Сталиным. Горький в разговоре с А.И.Рыковым в Берлине жалуется, что, кроме Ленина, «друзей» в верхушке партии у него не осталось. А между тем его приглашают вернуться обратно в Россию именно тогда, когда Ильич стал настолько болен, что почти отошел от дел, и власть переходит к Сталину.

Кто же был истинным «другом» Горького?

Ситуация была слишком запутанной. Встреча Рыкова с Горьким в Берлине и некая откровенная беседа между ними вне досягаемости «уха» ГПУ — это один факт. Приглашение Горького его врагом Зиновьевым и Бухариным — другой. Верить в искренность письма Зиновьева можно с большой натяжкой, памятуя об их ссоре в 1921 году, а также о том, как до этого Горький жаловался на Зиновьева Ленину, и тот был вынужден устроить «третейский суд» на квартире Е.П.Пешковой с участием Троцкого, суд, на котором у Зиновьева случился сердечный приступ.

Но факт остается фактом: Горького «позвали», когда Ильич отошел от дел, а Сталин к ним подбирался. Горький, переговоривший с Рыковым в Берлине, это знал.

Жалобы Горького Рыкову тоже весьма интересны. Возможно, таким образом Горький зондировал почву для возвращения, как бы намекая большевистской верхушке, что о нем забыли. Дело в том, что Горький мечтал поехать в Италию, но именно туда до 1924 года его не пускали из-за «политической неблагонадежности», проще говоря, из-за его связей с коммунистами. В Берлине же, одном из центров русской эмиграции, Горький чувствовал себя неуютно. Тем более невозможно было бы для него жить в Париже, другом эмигрантском центре, куда более сурово настроенном против Горького. И вообще, в «сырой», «гнилой» Центральной Европе ему не нравилось. Другое дело — Капри, Неаполь! Там, кроме России, была «прописана» его душа. Когда итальянская виза была получена, вопрос о поездке в СССР отпал... на неопределенное время. На Капри Муссолини его не пустил. Но и в Сорренто было хорошо!

С 1923 по 1928 год Горького методично «обрабатывают» с целью возвращения. Для Страны Советов Горький — это серьезный международный козырь, так как его авторитет во всем мире был все еще очень высок. Вариант возвращения постоянно держится Горьким в голове и обсуждается семьей. Но он не торопится. На эпистолярные предложения о хотя бы ознакомительной поездке в СССР отвечает вежливым молчанием.

Ждет.

Присматривается.

Вообразите две огромные чаши весов. На одной чаше — культурные достижения СССР, частью мнимые, но частью и действительные, как, например, расцвет русской советской прозы, возникновение новых литературных журналов взамен закрытых старых — «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни» и др.

На этой же чаше весов — отсутствие перспективы получения Нобелевской премии, злоба эмиграции, доходящая до абсурда. Бунин открыто матерится на эмигрантских собраниях, о чем сообщают Горькому. Здесь же Бенито Муссолини, явно не испытывающий уважения к Горькому, не выгоняющий его из Италии только потому, что пока еще вынужден считаться с мировым общественным мнением. Здесь же подлинная тоска по России, по Волге, по русским лицам. Здесь же интересы сына Максима, которого Горький очень любил. Здесь же финансовые затруднения, все более и более досадные.

На другой чаше весов — понимание того, что, как ни крути, речь идет о «продаже». Горький слишком хорошо понимал природу большевистского строя и, как человек необычайно умный и зоркий, не мог не знать, что свободы ему в СССР не дадут, что большевизм и свобода несовместимы. В секте (а его заманивали в секту) не может быть личной свободы. В ней даже лидер не свободен. Цена возвращения —

это отказ от еретичества. Можно быть еретиком в эмиграции, но в СССР быть еретиком невозможно. Разве что на Соловках.

На этой же чаше весов, думается, лежал и непонятный Горькому характер Сталина. Во время встреч с Рыковым в 1923 году и в переписке с ним, а также во время встречи с Каменевым в Сорренто в конце двадцатых между ними и Горьким несомненно шел разговор о Сталине. Часть писем Рыкова, Каменева и Бухарина Горький, возвращаясь в СССР, оставил вместе с частью своего архива М.И.Будберг, жившей в Лондоне. Эту часть архива вместе с письмами Рыкова и Бухарина Сталин впоследствии страстно возжелал получить и, по всей видимости, получил от Будберг. Сталин как человеческий тип не мог нравиться Горькому. От Сталина разило восточной деспотией, а Горький был «интеллигент», «западник». Но Сталин ценил литературу и, в отличие от Ленина, не «отсекал» Горького, а, напротив, «заманивал». Это хотя и льстило, но настораживало. Тем самым облегчало груз на второй чаше весов.

Но эту же чашу весов давил продолжающийся в стране террор, уже не такой наглый и откровенный, как в первые годы революции, но ничуть не менее страшный. И, пожалуй, более масштабный. Разорение деревни ради «индустриализации». Процессы над «вредителями». Планомерное истребление всяческой «оппозиции». Только Сталин, в отличие от Ленина, не бежал с утра в женевскую библиотеку, чтобы собирать материал для книги «Материализм и эмпириокритицизм». Сталин расправлялся с «оппозиционерами» физически. Он их уничтожал, как волк режет овец. Как турки вырезали армян, бежавших в Грузию и оседавших в том числе и в родном Сталину городе Гори. Впрочем, старых большевиков Сталин пока не трогал. Он сделает это немедленно после смерти Горького.

А пока, в 1927 году, внезапно исключается из партии Лев Каменев, наиболее культурно близкий Горькому человек из большевистской верхушки. Еще раньше, в 1925 году, он был объявлен одним из организаторов «новой оппозиции», в 1926 году выведен из Политбюро.

Казалось бы, это был очень весомый груз на второй чаше весов. Но здесь-то и проявилась хитрость Сталина, которой даже умный Горький не разгадал. Сталин сделал так, что его борьба с «оппозицией» и выдавливание старых большевиков из властной верхушки послужили как раз в пользу возвращения Горького. Восточный деспот легко карает, но и легко милует. В 1928 году, когда Горький первый раз приехал в СССР, Лев Каменев был восстановлен в партии. В 1932 году его снова исключили и отправили в ссылку, как в царское время. Но в 1933 году благодаря заступничеству Горького Каменева вернули в Москву и сделали директором издательства «Академия», созданного по желанию Горького.

Сталин был безупречен в исполнении просьб Горького. Он не называл, как Ильич, эти просьбы «пустяками» и «зряшной суетней». Неожиданные на первый взгляд взлеты и падения Томского, Бухарина, Радека объясняются именно хитрой сталинской игрой, в которую, как король в шахматах (самая слабая, но самая важная фигура), был втянут Горький. Сталин использовал его, а Горький думал, что обыгрывал Сталина.

Видный советский чиновник, один из создателей Союза писателей, автор термина «социалистический реализм», И.М.Тройский потом вспоминал: «Сталин делал вид, что соглашается с Горьким. Он вводил в заблуждение не только его, но и многих других людей, куда более опытных в политике, чем Алексей Максимович. По настоянию Горького Бухарин был назначен заведующим отделом научно-технической пропаганды ВСНХ СССР (затем главным редактором газеты «Известия». — П.Б.), а Каменев — директором издательства "Академия"».

После смерти Горького обоих казнили.

Свой шестидесятилетний юбилей в марте 1928 года Горький отмечал за границей. Его чествовали писатели всего мира. Поздравительные послания пришли от Стефана Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Герберта Уэллса, Джона Голсуорси, Сельмы Лагерлёф, Шервуда Андерсона, Элтона Синклера и других литераторов с крупными именами.

И в то же время во многих городах и селах Советского Союза точно по мановению волшебной палочки открылись выставки, посвященные жизни и творчеству Горького, состоялись лекции и доклады, шли спектакли и концерты, посвященные юбилею «всенародно любимого писателя».

20 мая в Риме Горький, как уже говорилось, встречается с Шаляпиным и безрезультатно уговаривает

его ехать в СССР. 26 мая в 6 часов вечера из Берлина он поездом выезжает в Москву. В 10 часов вечера 28 мая он сходит на перрон станции Негорелое, где для него уже организован митинг. Горький вернулся. Но «условно».

Одним из главных условий соглашения между Горьким и Сталиным был беспрепятственный выезд в Европу и возможность жить в Сорренто зиму и осень. В 1930 году Горький даже не приехал в СССР по состоянию здоровья. В 1931 году он «как бы» вернулся окончательно, но на том же условии. Сталин соблюдал его до 1934 года, пока окончательно не понял, что использовать Горького в полной мере ему не удастся. С другой стороны, Горький понял политику Сталина в отношении себя и «оппозиции». Отношения между ними натянулись. И тогда Горького «заперли» в СССР.

Фактически посадили под домашний арест.

Конец Горького

О последних годах жизни Горького, о его роли в культуре и внутренней политике в СССР и, наконец, о его отношениях со Сталиным написано немало. Не найдется ни одной серьезной книги о Сталине, где так или иначе не присутствовало бы имя Горького. И наоборот: говорить о конце Горького вне связи его со Сталиным невозможно.

Смерть Горького породила устойчивый слух о том, что Горький умер не естественной смертью, а был отравлен по приказу Сталина. Версий «отравления» существовало множество, начиная от версии, согласно которой Горький был отравлен конфетами, которые Сталин презентовал ему, и кончая последней на сегодняшний день версией, высказанной горьковедом В.И.Барановым, утверждающим, что Горького по заданию Сталина отравила возлюбленная писателя М.И.Будберг.

Одним из первых заговорил об отравлении Горького революционер-эмигрант Б.И.Николаевский. Затем эта версия претерпевала различные изменения, но суть ее оставалась неизменной: Горький был опасен для Сталина, и тот поспешил его «убрать». Загадочные смерти Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе, жены Сталина Надежды Аллилуевой и весь контекст начала сталинского правления как будто говорят в пользу этой версии.

Но именно здесь следует быть предельно осторожным. Обстоятельства смерти любого великого русского писателя всегда важнее обстоятельств его рождения, хотя бы в силу того, что «пасхальное» начало в православной культуре доминирует над «рождественским», о чем замечательно написал пушкинист В.С.Непомнящий. Случай с Горьким не исключение. Горький мог писать о России гневно и несправедливо, но он весь, как верно отметил после его смерти Шалапин, имел один главный исток — «Волгу и ее стоны». Горький при всех сложных хитросплетениях его разума всегда был глубоко русским человеком и исконно русским писателем. Отсюда и особое отношение к его смерти.

Слухи о том, что Сталин убил Горького, по сей день остаются бездоказательными. Версия с конфетами не выдерживает никакой критики. Горький не любил сладости, зато обожал угощать ими гостей, санитаров и, наконец, своих горячо любимых внучек. Таким образом, отравить конфетами можно было кого угодно вокруг Горького, кроме него самого. Только идиот мог задумать подобное убийство. Но ни Сталин, ни Ягода не были идиотами.

В версии В.И.Баранова есть что-то почти шекспировское. Если Горького действительно отравила женщина, которую он любил едва ли не больше всех в своей жизни, которой он посвятил свое «закатное» произведение «Жизнь Клима Самгина», то есть от чего вздрогнуть. Но в версии В.И.Баранова видны, как минимум, две существенные нестыковки. Да, Будберг была одной из немногих, кто оставался с Горьким наедине перед его смертью. Да, она была заинтересована в том, чтобы доходы от посмертных зарубежных изданий Горького поступали ей. Собственно, этого она и добилась, неотлучно дежуря возле Горького. Но о том, что Горький выплевывал какую-то таблетку, которую давала ему Будберг (что в качестве доказательства ее вины приводит В.И.Баранов), мы знаем из воспоминаний самой же Будберг, продиктованных А.Н.Тихонову через несколько дней после смерти Горького. Какой смысл убийце рассказывать о том, как она убивала Горького? И по письмам М.И.Будберг к Горькому, и по книге о ней Нины Берберовой «Железная женщина» можно судить о незаурядном уме этой удивительной спутницы

Горького.

Не может служить в пользу этой версии об «убийстве» Горького и тот факт, что Будберг после смерти писателя отпустили из Москвы в Лондон. И Ягода, и Сталин прекрасно знали, что Будберг с давних времен связана с английской разведкой и что ее вторым возлюбленным является Герберт Уэллс, чья книга «Россия во мгле» не устраивала сталинский режим. Будберг была женщиной умной, но склонной к алкоголизму и непредсказуемой в своем поведении. Если она действительно устранила Горького, то выпустить ее из СССР мог опять же только идиот.

Явных доказательств убийства Горького, как и его сына Максима, не существует. Между тем даже тираны имеют право на презумпцию невиновности. В конце концов, Сталин совершил достаточно преступлений, чтобы «вешать» на него еще одно — пока недоказанное.

Реальность такова: 18 июня 1936 года скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить его рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) кремировано, урна с прахом помещена в Кремлевскую стену. В просьбе вдовы Горького Е.П.Пешковой отдать ей часть праха для захоронения в могиле сына коллективным решением Политбюро было отказано.